25 к.

24-14

70782

РОМАН ГАЗЕТА

№11(359)·1966

ИБРАГИМ РАХИМ

СУДЬБА

ИБРАГИМ РАХИМ

Когда едешь из Ташкента по железной дороге обширными степями, замечаешь поставленные на определенном расстоянии друг от друга невысокие серебристо-серые столбики — контрольные точки газопровода Бухара — Урал. Они оживляют лицо степи, вносят новые черты в ее пустынную монотонность, — ведь эти вешки свидетельствуют о победе человека над природой, о широких замыслах его, о силе человеческого труда. На тысячи километров протянулись под песками трубы, по которым течет „голубой огонь". Это одно из многих чудес, созданных за последние годы трудом советских людей, живущих в республиках Средней Азии. Книга узбекского писателя Ибрагима Рахима „Судьба" прославляет этот труд, рассказывая о тех, кто искал и добывал газ в пустыне и создал удивительную трассу.

Ибрагиму Рахиму в этом году исполняется пятьдесят лет. Он участник Великой Отечественной войны. Коммунист, человек большого общественного темперамента, Ибрагим Рахим долгое время находился на ответственной партийной работе, неоднократно избирался депутатом Верховного Совета республики.

Литературная деятельность его началась в конце 30-х годов. Талантливый журналист, он редактировал республиканскую газету, писал очерки, дал несколько интересных сценариев для фильмов узбекского кино. Его перу принадлежат романы „Преданность", „Настоящая любовь", повести „Хилола", „Капитан голубого корабля", „Огнероб" и другие произведения. В романе „Преданность" он создал привлекательный образ молодой женщины — секретаря райкома Саодат Мурадовой, одной из новых героинь советской узбекской литературы.

Несколько лет назад, задумав сценарий для фильма „Люди голубого огня", писатель много ездил по Кызылкумам, где шла газовая разведка и где потом проводили трассу. Он стал другом смелых изыскателей, техников и рабочих, узнал их труд, отважный и увлекательный, полный опасностей и неожиданностей. Строители жили такой интенсивной жизнью, что для писателя, жаждавшего быть певцом современности, это было настоящим открытием, источником новых ярких впечатлений.

Фильм имел успех. Но в него вошла только часть материала, собранного автором, и, естественно, у Ибрагима Рахима возникло желание написать книгу. Так появился роман „Судьба".

В этом произведении много судеб людей разных поколений. Представитель старшего поколения узбекских коммунистов — Бобир Надиров, отец которого впервые увидел в пустыне „голубой огонь" и был повешен за это имамами Бухары, — становится теперь начальником промыслов.

С особенной любовью написаны Ибрагимом Рахимом молодые герои — инженеры Дадашевы, муж и жена, и рабочие на промысле — Куддус, Рая, Хиёл. Новый быт, новые отношения, новые идеалы характерны для этой молодежи: она — будущее Узбекистана.

Есть в романе и образ приспособленца, бюрократа и карьериста Хазратова. Разоблачение и поражение его воспринимается как закономерное явление в наше время.

Интересна фигура современного муллы — Халима-ишана, который старается приспособиться к новым порядкам, ездит собирать дань со своей паствы на „москвиче", с „правоверным" шофером, вместе с бумажными молитвами подсовывает больным настоящие лекарства. Он смешон и жалок, он трус, и попытки возмутить „верующих" против „голубого огня" кончаются его посрамлением.

В романе Ибрагима Рахима есть кое-где скороговорка, недостаточно раскрыты характеры некоторых героев. Но горячая заинтересованность в больших делах республики, вера в ее людей, созидателей новой жизни, делают роман интересным и значительным произведением современной узбекской прозы.

Вера **СМИРНОВА**

РОМАН-ГАЗЕТА

№11 (359)
1966

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА

ИБРАГИМ РАХИМ

СУДЬБА

РОМАН

От автора

Три года назад я опубликовал роман о людях, добывающих газ под Бухарой... Так пишут в кратких аннотациях, но на самом деле это, конечно, не совсем так. Я писал и о любви, и о разных судьбах, ибо, что бы ни делали люди — добывали газ или строили обыкновенные дома в кишлаках, — они ищут и строят свою судьбу. И не только свою.

Вы встретитесь с героями, для которых работа в знойных Кызылкумах стала делом их жизни, полным испытаний и радости. Встретитесь с девушкой, заново увидевшей мир, и со стариком, в поисках своего счастья исходившим дальние страны. И с ветрами пустыни. И с самой Бухарой.

Недавно я снова побывал в этих краях.

Время и раздумья многое подсказали мне, и я дополнил и переработал роман, который и предлагаю сейчас русскому читателю.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

Утренний луч дрожал на золоченой стрелке стенных часов, словно подгоняя ее. Часы торопились и тикали на всю квартиру. Стоит наступить воскресенью, как время бежит быстрее. Не успеешь оглянуться — день пройдет. И опять пыль, опять жара, опять пустыня...

Бардаш сонно потер глаза, зевнул и так повел плечами, что хрустнуло в лопатках. И тут он заметил, что смятая подушка рядом с ним пуста, и крикнул, повернувшись к полураскрытой двери соседней комнаты:

— Ягана!

— Соня! — ответил ему смешливый женский голос. — Какие сны снятся, пока жена бежит на базар?

— В следующее воскресенье на базар иду

я! — ответил Бардаш так уверенно, что Ягана рассмеялась.

Больше всего ему хотелось, чтобы она сейчас вошла в комнату. Ему хотелось увидеть ее глубокие черные глаза, которые казались бы пугающими, если бы в самой их глубине все время не играли светлячки. Черные скобки ее бровей. Водопад таких же черных, льющихся на плечи волос. Да, известно, что восточная красавица смугла. Это не поэты придумали, Восток славен брюнетками — да простится мне совсем невосточное слово. Но у Яганы и глаза, и брови, и волосы так черны, что рядом с ней сама ночь может показаться бледной.

Люди называли Ягану то Каракаш, то Каракуз, то Карасач — Чернобровая, Черноглазая, Черноволосая. А Бардаш звал ее просто-напросто Угольком.

Конечно же, он любил ее не за черные глаза. Они сводили его с ума, но со временем ум стал — нет, нет, не спокойней, а проницательней, а сознание счастья прочнее, основательней, капитальней, что ли. В самом деле, у каждого человека есть два глаза, два уха, две руки и две ноги.

Но природа не повторяется. Природа дала людям разные сердца, и тут уж не спутаешь человека с человеком, как ни приукрашивайся, ни хитри.

— Вставайте, Бардаш!

— Сейчас. Я уже давно сказал себе: «Подъем!»

На стене против окна все ярче, до рези в глазах, белел прямоугольник света, словно экран. На нем началось теневое кино. Сначала на длинную ветку персика, протянутую из одного угла до середины экрана, села крошечная птаха. Скорее всего воробышек. Потом к ней подлетела и храбро присоседилась другая, такая же. И сразу обе зачирикали.

Ну, птицы, о чем вы разговариваете? Сплетничаете или объясняетесь в любви? Не увлекайтесь ни тем, ни другим. Это опасно. Вот по ветке крадется тень с хвостом. Шасть! — кошка сорвалась вниз и жалобно замяукала, а птицы улетели.

Бардаш зажмурился. Затряс головой. Ослепительный блик ударил ему в глаза под смех Яганы. Это она распахнула дверь комнаты и направила ему в глаза солнце, повернув зеркальную створку шифоньера. Вспышка была оглушительной, как взрыв снаряда.

Бардаш вскочил и в одних трусах закружился по комнате, то приседая, то разбрасывая руки. Это означало физзарядку.

— Музыку, музыку! — кричал он. — Сегодня наш день! Сегодня мы идем куда глаза глядят и делаем что хочется!

— Умываться! — крикнула Ягана. — День такой короткий!

Малиновый край зеркала кидал на одну ее щеку отсвет, и щека горела. Как будто Ягане было двадцать...

— Вы уже нарумянились?—пошутил Бардаш.

Он подошел, провел рукой по ее волосам и спросил, как давным-давно, когда они еще не были мужем и женой:

— А волосы у вас собственные или вы носите хвост вороного коня?

— Да ну вас! — застенчиво отвернулась Ягана.

Она повесила на плечо мужа чистое полотенце, и он побежал умываться во двор, под кран, к которому присоединяли шланг для поливки деревьев. Он любил брызгаться, хлопать себя мокрыми ладонями по бокам, забрасывать воду на спину. И ужасно громко фыркал при этом, как напившийся вволю конь.

Ягана начала застилать постель и вдруг присела на краешек и задумалась. По странному стечению обстоятельств она думала о Бардаше, как Бардаш несколько минут назад думал о ней. Ей никогда не было скучно думать о нем, и она радовалась этому. Когда брови его сходились над переносицей, она ждала неожиданностей. Он вдруг придумывал что-то веселое или серьезное, и никогда она не знала наперед, что будет. И это было интересно.

В сущности, если подумать, она все время шла за ним, как овечка за вожаком, и не жаловалась. Что ж, раскрепощенная женщина тоже нуждается в заботе... Уж никак не меньше, чем раскрепощенный мужчина.

Как она скучала без него в пустыне!

Они оба были газовиками, бурили землю. Бардаш возглавлял контору бурения, Ягана работала у него начальником участка. Выберись за Бухару — и начинаются пески. Скоро все исчезает с глаз — городские дома, дувалы глинобитных окраин, шапки деревьев над ними, телеграфные столбы, кустики придорожных колючек и сама дорога... Остаются только пески, пески... От горизонта до горизонта... Пески, да ветер, да солнце...

Пустота...

Но она обманчива, эта пустота.

Земля прикрыла песками свои клады — нефть и газ. Неохотно отдает их природа, точно бережет добро для самых мужественных и смелых, которые не ждут подарка, а сами ищут и берут.

Поди поищи. Ветер вздымает песок смерчами, смерчи затевают хоровод, как адские братья, и вот уже плотная стена песка занавешивает небо, и солнце становится черным пятном без лучей, зловеще висящим в беснующемся воздушном океане, и тень ложится вокруг, тоже от горизонта до горизонта...

Подолгу разделяют Ягану и Бардаша пески, ветры, ночи, душные, как дни, и дни, черные, как ночи, от черного солнца... Соскучишься!

Птицы вернулись на ветку под окном и зачирикали еще звонче.

— Брысь! — крикнул Бардаш во дворе.

Ягана щелкнула ручкой приемника. Закиров пел длинную и красивую арабскую песню. Когда-то они бегали в ташкентский городской сад слушать Закирова... И промокли под дождем. Как он лил, как хлестал, этот ташкентский дождь, а они хохотали, накрывшись одной газетой, и дождь играл на ней, как на барабане. В тот раз Бардаш и сказал:

— Знаете что? Меня направляют в Бухару.

Она прижалась к нему плечом, словно укрываясь от струй, летящих с газеты. На языке юной Яганы это означало то, о чем храбрая женщина сказала бы словами: «А я? Я с тобой».

Сначала они искали и нашли нефть, а теперь газ...

А нашли ли они свое счастье? Вот она сидит, и сердце ее окатывает волна тепла оттого, что она слышит голос мужа и целый день они будут вместе...

Вчера он заехал за ней на пыльном газике и сказал:

— Домой!

Ягане хочется задержаться дома подольше.

«Это оттого, что сердце у меня маленькое, как воробышек», — так думает Ягана. Она еще не знает, какая это хитрая штука — человеческое сердце. Маленькое, как воробышек, вдруг вместит в себя целый мир.

Ягана думает о том, что она счастлива. Это знают все друзья и соседи. Одного не хватает в доме — детского голоса, топота детских ног...

В первые годы семейной жизни им хотелось погулять... Но и погулять-то не пришлось! Сразу началась разведывательная работа, жизнь в пустыне... Ягана сказала себе, что стала инженером не для того, чтобы рожать детей, и от самого первого, о котором часто вспоминала теперь, отказалась... Вспоминала она о нем ночами... Вспоминала, когда выходила вот в такой свободный день во двор и причесывала соседских девочек на скамеечке, заплетая мелкие косички... На вопросы подруг отвечала: «Дети будут, когда придет время!» Что делать! Погрустит-погрустит — и опять за работу.

Ягана встает и поворачивает ручку приемника, чтобы песня и музыка зазвучали громче. Ей не хочется жаловаться на жизнь. Мудрые люди, которые больше нашего сносили рубашек и обуви, не зря сказали: «Что сладко? Жизнь сладка! Что горько? Жизнь горька!»

Бардаш вошел в комнату в белой рубахе, которую она успела выгладить ему.

— Значит, так! — скомандовал он, причесывая мокрые волосы. — Мы идем в кино — раз! Мы идем в театр — два! Мы...

Она прикрыла ему рот ладонью.

— В гости, — договорила она, зная, как он любит встречаться с друзьями, а их у него в Бухаре чуть не вся Бухара.

Он улыбнулся ей.

— Конечно, — сказал он, почесывая висок. — Кино, театр, гости...

— Мужчина любит праздновать среди людей.

— Мужчина любит показывать людям свою жену. Ведь они все страшные хвастуны — мужчины.

— Неужели?

— Разве вы этого не знали?

— Первый раз слышу.

— Есть идея! — сказал Бардаш, стукнув кулаком по ладони. — Для оригинальности проводим весь день дома. Не идем никуда.

Зазвонил телефон.

— Даже позавтракать не дадут! — рассердилась в шутку Ягана.

— Трубку не берем, — сказал Бардаш. — Нас нет.

Телефон звонил все настойчивей.

— А вдруг что-нибудь случилось в отряде?

И Бардаш неохотно взял трубку и отозвался.

— Здравствуй, здравствуй! — сказал он приветливо и, выслушав, повторил: — Хорошо, хорошо...

— Бобомирза зовет на охоту? — спросила Ягана.

— Нет. Хазратов просит приехать. Сейчас же. Нас обоих.

— Что случилось?

— Не знаю. Вызывает секретарь обкома.

— Ведь сегодня воскресенье.

— Тем более надо ехать. Из-за пустяка в воскресенье не позвали бы.

День начался не так, как задумывался.

2

Вы не знаете Бухары? Смотрите, а то потом пожалеете.

За зеркальным стеклом витрин самые современные модели радиоприемников сверкают полированными боками, манекены, кокетливо отставив ладошки, предлагают короткие платьица и туфли на гвоздиках, узкие брюки и такие яркие галстуки, что, наверно, от некоторых зарябило бы в глазах у старых бухарских золотошвеев. Мелькают широкие окна новых домов, и балконы роняют сверху на асфальт тротуаров косые тени. А из-за крыш поднимаются минареты мечетей, как века выглядывают из-за обложек сказочных книг... Присмотритесь, спросите, послушайте, и башни оживут.

«Пу Хо», — говорили приезжавшие издалека древние китайцы. «Бут-оро», — поправляли их такие же древние самаркандские купцы — согдийцы. Бухара... Среди песков, по которым

ползали змеи, шныряли тушканчики и шакалы, стоял город, торгующий и украшенный идолами... Бут-оро... Кому угрожали свирепо стиснутые рты, что таили слепые глаза и во что звали верить?

Верблюжья кавалерия арабов принесла сюда на своих копьях исламские знамена, и с вершин первых, не доживших до нас минаретов зазвучали первые голоса во славу аллаха. Видно, прочней минаретов народные легенды, потому что они рассказывают, как, не считаясь с величием ни аллаха, ни его пророков, непокорные пустынники восстали и разрушили первые мечети, а потом, стиснутые захватчиками, обескровленные, развели костры и сами бросились в них, словно зная, что отблески их жизней окажутся долговечней, чем отблески пламени.

Бухара всегда умела сражаться.

Трещат мотоциклы на ее улицах, как пулеметы. Молодые люди парочками и в одиночку обгоняют газик, на котором Бардаш и Ягана спешат в обком. Бардаш за рулем то и дело поглядывает в переулки, из которых под самым его носом выскакивают бесстрашные мотоциклисты и проныривают в щели между домами и машиной, уносясь вдоль улиц города.

Может быть, кто-то из этих юношей или девушек студент и скажет вам, сколько раз то бухарские ремесленники, то рабочие и красноармейцы поливали своей кровью эту пыль и эти камни, чтобы стать теми, кем они наконец стали, — хозяевами...

Они дрались за свою землю с аллахом и его слугами. Дрались с песчаными бурями за каждый сантиметр зеленых бульваров, за каждый росток, дрались с солнцем за каждую каплю воды. А Бардаш и Ягана мчатся и даже не замечают, что едут не по городу, а по живому музею этой битвы, раскинутому под сверкающим, уже выгоревшим до белизны куполом майского неба.

Девочки со скрипками в футлярах бегут из-под мрачных сводов тяжелостенной мечети Дуван-беги — сейчас там Дом народного творчества. Они приостанавливаются, пропуская машину, и минутку с завистью смотрят, как мальчишки бултыхаются в зеленой воде Ляби-хауза, прыгая туда с мокрых ступеней.

Над просторным прямоугольником Ляби-хауза, проще говоря, бассейна, склонились ветви тутовых деревьев. То ли от тесноты, то ли от старости они клонятся низко-низко, к самой воде. Нет во всей Бухаре, наверно, деревьев старше этих тутовников... Кажется, что и вода Ляби-хауза покрыта желтой цвелью столетий... Но это не цвель, это ягоды тутовника толстым слоем легли на воду, ссыпаясь с ветвей от ветра и перезрелости... И мальчишки ныряют в воду, пробивая покров из ягод, и потом разгребают их руками, когда выбираются на каменный берег, чтобы нырять снова...

Когда-то Ляби-хауз поил весь город... Тонкая подземная нитка арыка Шахрут связывала яму с рекой Зеравшаном, спасительницей здешних мест, и вокруг Ляби-хауза весь день толклись водоносы — машкобы... Это были самые нужные и самые нищие люди в Бухаре. Капли Ляби-хауза разносили они в своих бараньих мешках по богатым и бедным дворам Бухары... Где покупали мешок, а где — пиалу воды...

Теперь в Бухаре есть водопровод, и Ляби-хауз только для прохлады заполняется зеравшанской водой. Да, конечно, для прохлады и красоты... И даже мальчишкам не разрешается в нем купаться, потому что есть и другие купальни... Но разве удержишь мальчишек, если вода под ногами, в центре города?

Самый старый тутовник на берегу Ляби-хауза давно высох, но неохватный — шесть и семь человек, взявшись за руки, не смогут обнять его — ствол мертвого дерева еще стоит накренившейся колонной. Весь в обрубках ветвей, в наплывах коры, похожей на магму, он вечен, как и сама Бухара. Вершина спилена, и безжизненную колонну венчает высокое, метра в полтора, гнездо аиста. Старики в белых и черных чалмах, коротающие дни в тени соседних акаций, скажут вам, что еще деды их дедов видели аистов на этой голой верхушке...

Аисты никогда не возвращаются в свои гнезда, уступая родовую жилплощадь детям. А дети улетают, оставляя на дереве своих детей. Никто не обижает птиц, священных по преданию и чтимых по любви. Молодые аисты укрепляют для себя и потомства древнее гнездо свежими веточками и соломинками, вот оно и выросло, как небоскреб. Его отовсюду видно...

Машет чернополосыми крыльями аист, несущий корм аистихе, щурятся на них старики, сидящие на скамейках под акациями, и поджимают под себя коричневые босые ноги, как птицы, а остроносые их тапочки стоят под скамейками на жаркой земле.

Земля, как печь, а вода в Ляби-хаузе холодна от проточных струй, от тени, от камня, и мальчишки выскакивают все в пупырышках и прыгают за афишными щитами, выжимая трусы. Красные и зеленые буквы со щитов, аршинно разевая рты, приглашают в городской сад и клуб хлопкозавода на танцы «при участии джаз-оркестра».

Но молодежи в эти дни, кажется, не до танцев. В глубине рощицы, среди акаций, обступивших Ляби-хауз вслед за тутовыми гигантами, на самых дальних и самых тихих, хоть и не столь затененных скамейках сидят девушки и юноши, уткнувшись глазами в раскрытые на коленях книги. Читают толстую «Ботанику» или еще более толстую «Механику». Завтра сдавать... Студентов здесь много, больше, чем стариков и мальчишек, потому что музейные,

крепостного вида стены бывших медресе прячут вовсе не музеи, а общежития...

Сколько смотрел на Бухару Бардаш, столько ей удивлялся. Нигде старое и новое не мешалось так в самой гуще жизни, как в этом городе.

Во внутреннем дворе медресе, возле которого ненадолго остановил своего «козла» Бардаш, голые до пояса студенты-строители делали зарядку, а на балконах бывших келий — полутемных худжр жарили на электрических плитках яичницу и играли в шашки, там, где их предшественники усердно учили молитвы.

Не все жарили яичницу. Некоторые перебегали замкнутый глухим, тяжелым камнем квадрат двора и прямо со сковороды, прямо из печи покупали пирожки и лепешки, дуя на них и перебрасывая в руках. Сюда, во двор общежития, выходил черный ход большой, занимавшей треть парка у Ляби-хауза чайханы, и студенты пользовались привилегией, а возможно, и кредитом у доброго чайханщика, иногда дарившего девушкам розу в придачу к лепешке.

Бардаш знал этот ход, где можно было получить парочку горячих пирожков без очереди, и сейчас уговорил Ягану перехватить что-нибудь на ходу, потому что неизвестно, что ждет их впереди, а позавтракать не успели.

У чайханы на подмостках три огромных самовара разводили пары, как три парохода. И целая флотилия крутобоких чайников окружала их. Ягана вылезла из машины и полюбовалась на самовары и усатого их капитана в бархатной тюбетейке, разносившего чайники. Для нее эта чайхана в областном городе выглядела парадно, как столичный ресторан. В стеклянной банке стояли розы, отражаясь в самоварах, во всех сразу, будто нарисованные на их сверкающих, надраенных боках.

Народу полно... Воскресенье!.. Нет лучшего отдыха, чем скинуть обувь, полуприлечь на ковре под зеленой сенью с пиалой и чайничком чая и, потягивая пахучую влагу, дышать прохладой, долетающей с Ляби-хауза от мальчишеских брызг, и смотреть, как вокруг тебя течет жизнь.

Вот уличный фотограф повесил черное полотно на ослепительно солнечной стене. На его фоне ваша красота будет ярче. Рядом витрина непревзойденного мастера. Тут и девушки в бескозырках с надписью «Балтфлот», — возможно, эта бескозырка сохранилась у фотографа от службы, которую заменил артельный промысел, возможно, сшили для эффекта, но девушкам почему-то очень нравится сниматься в ней, и она им правда к лицу... Тут и ребята на паспортных карточках — это самые бесхитростные и симпатичные лица, каких много у Яганы в отряде... Вероятно, и тот, и тот уже где-нибудь в Кызылкумах, ведь она, пустыня, в ста километрах... Ищут нефть, ищут газ, бурят, строят... А может быть, еще дальше... Им нужны расстояния, сто километров для них не прыжок...

Парикмахер вывесил на улице плакат «Добро пожаловать!». В дорогу надо прихорошиться... На стекле написано «Маникюр». Смешно... Давно она уже не делала маникюра...

Между парикмахерской и фотографией сидит за лотком аптекарь с вислым носом и таинственными глазами, как у Авиценны. Торгует снадобьями от всех болезней, изредка повторяя: «Покупайте антибиотики!» В сорока километрах отсюда в кишлаке Афшана родился его великий предок, философ и медик Абу-Али-ибн-Сина, и за углом, на площади, камень оповещает, что скоро ему соорудят памятник.

Может быть, Абу-Али-ибн-Сина, прозванный Авиценной в европейском мире, сидел на том камне, которым отмечено место его будущего памятника, или на том, что лежит сейчас под вислоносым бухарским аптекарем. Здесь повсюду — у домов и бульваров — камни заменяют скамейки, на которые никогда не хватало дерева, и у иных ворот увидишь в камнях глубокие ямки — безмолвный след поколений.

Ягана тоже любила Бухару за то, что века тут не соседствовали, а переплелись... Жизнь творилась без пауз, без передышки...

— Пожалуйста! — сказал кто-то за ее плечом.

Она оглянулась. Усатый чайханщик предлагал ей розу. Она поблагодарила и тут же услышала какой-то нарастающий гул. Все встали из-за столиков и с нар и смотрели на дорогу. И аптекарь встал со своего камня. И фотограф вылез из-под темного покрывала. И парикмахер с ножницами в руках выбежал поглазеть.

По улице шла техника: экскаваторы, бульдозеры, еще какие-то машины с короткими хоботками... Их было много. Парень рядом с ней сказал:

— Трубоукладчики...

Эти люди на машинах будут строить газопровод от сердца Кызылкумов к Бухаре, а потом от Бухары к Ташкенту... Они будут рыть траншеи и класть трубы для газа, который еще не только нельзя добывать, потому что скважины не пробурены, но и не разведан до конца...

Знали, что его много... Это знали давно и твердо...

Улица гремела. Ягане пришлось переставить машину.

Бардаш протолкался к ней сквозь толпу, неся несколько штук горячей, густо перченной самсы. Он и Ягана переглянулись, молча поняли друг друга и стали смотреть, как все.

Потом Ягана заказала чаю. Бухара не такой город, чтобы запросто обогнать колонну. Сразу за центральной площадью Ляби-хауза начинался лабиринт узких щелей, куда заезжали только велосипедисты.

Чайханщик охотно прибавил к розе пузатый чайничек и стал смотреть на газопроводчиков, обмахивая себя бархатной тюбетейкой, расшитой золотом.

О, здесь, в Бухаре, расшивали золотом тюбетейки, как нигде, прославляя город на весь Восток, здесь хранились рукописи Навои и Фирдоуси, воспевших свободу и любовь, Марко Поло называл Бухару просвещенной, но будущее ее было богаче ее истории.

Это будущее таилось в ее недрах, где бродили нефть и газ. Газ... Голубое пламя... Голубое топливо... Оно уже просилось из подземных потемок наружу, в топки еще не выстроенных электростанций, в сталеплавильные печи далеких и близких заводов, в старые котельные, в новые квартиры...

— Сначала я подумал, где-нибудь авария... — сказал Бардаш жене. — На какой-нибудь буровой...

— Хазратов сказал бы сразу... Закричал бы...

— Ну да... А теперь... Видите? — Допивая чай, он кивнул головой в хвост колонны.

Земля еще подрагивала... Запрудив улицы Бухары, газопроводчики шли в пустыню.

Было понятно, что их вызывали в связи с этой новостью.

3

В кабинете секретаря обкома Сарварова почти бесшумно вращался потолочный вентилятор. Он как бы летал, не улетая... Мужчины закурили, и вентилятор задул спичку в руке Бардаша, но это заметила только Ягана.

— Хотите чаю? — спросил ее Сарваров.

— Спасибо, Шермат Ашурович. Напились.

— Машины газопроводчиков задержали нас у самой чайханы, — сказал Бардаш.

Сарваров понимающе улыбнулся и извинился, что пришлось побеспокоить в выходной день. Узнали, что они в Бухаре... В другое время их дома не застанешь...

Кроме него, в кабинете уже были заведующий промышленным отделом обкома Хазратов и управляющий трестом Надиров. И то, что чайник стыл перед ними, а пепельница была полна и в кабинете крепко пахло табаком, подсказывало, что тут уже произошла нервная беседа.

— Да, — сказал Сарваров, — газопроводчики подходят, а мы...

Надиров перестал мять свою щеку, отмеченную глубоким шрамом.

— Сколько мы еще будем ковыряться? — напролом спросил он Бардаша и, увидев, что у того сошлись толстые брови и смешинка проснулась в глазах, добавил, выбросив вперед, в его сторону, свою мясистую ладонь: — Вот, Шермат Ашурович, противник глубокого бурения. А почему?

Он приготовился сам объяснить это, но Сарваров незаметным жестом перебил его.

— Я хотел бы послушать Дадашева, раз уж он пробился к нам через колонну газопроводчиков.

Все, конечно, было в этом... Пришли газопроводчики, а промысел еще не имел границ, он лежал в проектах, в спорах, и всему теперь наступал конец — спорам, раздорам, разговорам, близилась пора, когда требовалось сказать два коротких слова: «Берите газ!» Они знали, что этот день рано или поздно придет, однако никогда еще за все годы их нелегкой жизни не был он так близко...

Надирова это ощущение наполняло дерзостью, силой.

— Я еще раз говорю: хватит мне разведки! — Бобир Надирович пристукнул ладонью по столу.

— Но не вы командуете разведкой! — усмехнулся Бардаш.

— В том-то и беда! Ищут газ одни, добывать будут другие, а сдавать для транспортировки третьи... Если бы я командовал разведкой, я давно бы уже прикрыл ее.

— Почему? — спросил Бардаш со своей всегдашней усмешкой, которая задевала начальственное и властное сердце Надирова.

— А потому, что хватит сорить деньгами. Дали бы их лучше нам на одну промышленную скважину.

— У них свои деньги.

— Они пробурят еще десять, еще двадцать скважин, а потом забьют их цементом и скажут: «Вот вам границы залежей... Мы нашли, мы ушли... Бурите промышленные выходы за свои денежки...» А денежки, между прочим, одни, из одного кармана, и вы не забывайте этого сейчас, когда будете философствовать... Про карман!

— Хорошо, — сказал Бардаш.

Сарваров терпеливо ждал. Дипломатично помалкивал и Хазратов, оглаживая голову, круглую и голую, как шар уличного фонаря.

— Газ спросят с меня! — кричал Надиров, распираемый изнутри беспокойством и злостью. — А разведчики не спешат!

— Зато про нас они говорят, что эксплуатационники торопятся, — поправил Бардаш.

— Да! Я тороплюсь! И я сам буду разведывать.

Хазратов осторожно прикусил губу и еще осторожнее заметил:

— Они вам не простят, если вы исследуете месторождение раньше их.

— Вот! — Надиров потряс сжатым кулаком в воздухе. — Что руководит людьми? Этот самый... приоритет! Кто открыл? Господин рабочий открыл. Инженер открыл. Для народа. И хватит! Я предлагаю немедленно начать глубокое бурение.

Бардаш, побледнев, сказал:

— Если вы, Бобир Надирович, прикажете мне переходить на глубокое бурение без достаточных данных разведки, я ни за что не выполню приказа.

Хазратов на всякий случай поглядывал в окно. Ягана смотрела на мужа.

— Конечно, Шермат Ашурович, — сказал Бардаш, с виду спокойно раскатывая сигарету в темных пальцах, — все мы чувствуем, какая это беда, что лошадь у одного хозяина, арба у другого, а поедет третий... Разные комитеты, разное подчинение, сразу и не разберешься, и все сыплют деньги в одно и то же место...

— Как крупу сквозь гороховое сито, — буркнул Надиров. — А толку нет!

— Полный ералаш, — согласился с ним Дадашев. — Есть один выход: ставьте вопрос о том, чтобы дело объединили в одних руках...

— Поставим... — вздохнул Сарваров. — Пока решат вопрос, придет время давать газ...

— Тем более нельзя допускать, чтобы дело делалось вслепую, — тихо проговорил Бардаш. — То, что предлагает Надиров, — это авантюризм.

— Ты трус! — грубо сказал Надиров.

Все знали, что он ничего не хотел лично для себя — ни ордена, у него их было уже немало, ни статьи в газете — из этого возраста он вышел, он хотел успеха для дела, в этом видел свое счастье и поэтому частенько срывался на грубость, зная, что ему простят.

— Бобир Надирович, — сказал Сарваров. — Нам вместе работать...

И то, что он как бы объединил себя и Бардаша, сказав не «вам», а «нам», подкупило Ягану.

Но почему Бардаш так сопротивлялся? Неужели он перестраховывался, прятался за спину разведчиков? Этого она не понимала...

Надиров бросил на нее взгляд искоса, уловил что-то, похрустел пальцами и спросил:

— Ягана Ярашевна! Что вы скажете? Могли бы мы пробурить хотя бы одну глубокую скважину без разведчиков?

И, сама не зная как, не зная почему, может быть, для того, чтобы защитить мужа, она сказала:

— Могли бы.

Коричневый глаз Сарварова впился в нее. Надиров не сдержал самодовольной усмешки. Она не хотела этого, но она и не хотела, чтобы ее мужа считали трусом.

— Это опасно, — повторила она, — но можно.

— Учитесь мужеству у жены, Дадашев, — сказал Надиров.

Он не знал, что и Бардашу не приходилось занимать откровенности, когда требовалось.

— А если ваша скважина окажется пустой?

— Я отвечаю.

— От вас ждут газа, а вы хотите пустить пыль в глаза.

— Ну вот и оскорбление! — вмешался Хазратов торопливо.

— Я же не обиделся на «труса», — улыбнулся Бардаш.

— Все мы сейчас оберегаем друг друга от дутых показателей, от пыли в глаза, — с некоторой досадой сказал Сарваров, — но это вовсе не значит, что у нас нет сроков, нет темпов. Надо только, чтобы они стали реальностью... Как эта колонна газопроводчиков... Время не дает нам больше, чем может дать...

Он говорил и все время искал пепельницу, которая стояла рядом.

— Но быстрота — не горячка, — ответил Бардаш, пожав плечами. — А мне предлагают горячку. А я инженер. Я знаю, что горячка несовместима с наукой.

Ягана вздрогнула: Бардаш наступил на больное место Надирова, которому не пришлось доучиться или, лучше сказать, приходилось учиться урывками. И если он сделал это, то, значит, решил беспощадно, до конца стоять на своем. Он стал и Сарварову доказывать, что степень разведанности района неважная, что сам район сложен, но — странное дело — чем больше он говорил, тем менее убедительной казалась его речь. Первым это заметил Хазратов и спросил:

— Скажите проще, Дадашев, вы хотите вовремя пустить газ хотя бы в Бухару? Я уж не говорю о Ташкенте.

Бардаш не ответил ему, склонив голову. А Сарваров неожиданно налил всем чаю, извинившись, что он остыл, и спросил:

— Скажите лучше о другом, Бардаш Дадашевич. Не хотели бы вы поработать в обкоме? Заведующий промотделом не газовик. — Он показал рукой на Хазратова, вежливо улыбнувшись ему. — Я сам, вы знаете, хлопковод... Газ буквально ворвался в нашу экономику... Нам нужен инструктор, понимающий все — и то, что бухарский газ действительно должен быть самым дешевым в стране, и то, как быстро надо дать его промышленности, людям... Говорят, что и воробья должен резать мясник. Если боитесь, скажите. Вы ведь честный человек...

— Я не боюсь, — сказал Бардаш.

Зачем, зачем это делалось? Ягана ничего не понимала. Может быть, чтобы прибрать к рукам строптивого инженера? Может быть, чтобы заставить Бардаша торопить других?

— Я боюсь другого, — сказал Бардаш. — Я не буду поддакивать ни Надирову, ни Хазратову.

— Поддакивать и не нужно. Если бы вы поддакивали, опять пришлось бы думать за всех кому-то одному. А дело сложное...

— Я не кабинетчик.

— И это хорошо. Кабинетчиков у нас хватает. Зачем нам еще кабинетчик по газу?

— Кто примет контору бурения?

— Ягана Ярашевна, — пробасил Надиров. — И тут же начнет глубокую разведку...

— Если все же разведку, то я не возражаю, — сказал Бардаш. — Своя разведка в дополнение к чужой не помешает...

— Да! Нашу скважину, по крайней мере, не придется закупоривать. Уж если мы откроем выход газу, то оставим эту дырку в земле на веки вечные, чтобы эксплуатировать ее, пока есть газ, а его тут хватит! Конопатчики! — выругал он разведчиков.

А Ягана поняла одно: и ее судьба переменилась. Она станет вместо Бардаша заведовать конторой и, по существу, уже сейчас перейдет на бурение промышленных скважин. Хитрый ход Надирова был ей ясен.

— Я прошу вас только не спешить, — предупредил Бардаш. — Вы слышали про американский метод дикой кошки, Бобир Надирович? Они бурят сразу наудачу, по следам геофизических пророчеств...

— Ну и молодцы, если, конечно, геофизики пророки, а не болтуны.

— Но ведь они рискуют деньгами не из того кармана, о котором говорили вы. А риск велик...

— Но и выигрыш велик! — бесстрашно сказал Надиров, приподняв над головой палец.

— Случайный выигрыш...

— Ладно, я не дикая кошка... — проворчал Надиров.

Сарваров начал прощаться. И только тут Ягана заметила, что она все время вертела в руках розу, которую ей подарил чайханщик.

4

— Он погубит себя! — сказал Ягане Хазратов, взяв ее в коридоре под руку и увлекая вперед. — Просто сует голову под паровоз... Кто он и кто Надиров? И самое главное — надо же давать газ!

Хазратова Ягана знала давно. Они с Бардашем были из одного зеравшанского кишлака Бахмала, неподалеку отсюда. И поэтому нередко встречались. Она знала, что муж недолюбливал Хазратова, но детство есть детство, воспоминания были воспоминаниями, и в таких случаях на многое закрываются глаза.

Бардаш догнал их уже в хазратовском кабинете. По лицу мужа бродила смущенная улыбка. Ягана знала эту его особенность — в споре помнить только о сути спора, а уж потом, чуть позже, осмысливать, чем же, собственно, для него самого кончилась баталия и чего ждать... А чем? Она не понимала, победил Бардаш или нет. «Он себя погубит», — звучали в ее ушах хазратовские слова.

Хазратов, наклонив блестящую лысину, пожал руку Бардашу.

— Поздравляю. И вас, Ягана Ярашевна.

Теперь его лысина наклонилась к ней, и в самой макушке отразилась потолочная люстра и даже шнур. Никогда она не видела такой ухоженной лысины — без единого волоска, точно ее с утра натирали бархаткой до глянца. От загара лысина стала медной...

Был он плотный, Хазратов, невысокий, крепкий. Казалось, с годами становился все крепче, добрел телом и распирался вширь, но не дряб. Сколько помнила его Ягана, он ни на что не жаловался, один раз только сказал печально, что в аквариуме умерла его любимая рыба-красноперка, и ее поразило тогда, что у Хазратова есть что-то живое в душе.

— Ну что ж, — сказал он, — надо обмыть ваше выдвижение, друзья. И Джаннатхон будет рада.

— Скажите, Азиз Хазратович, — спросила Ягана, — а как вы сами относитесь к делу?

Бардаш засмеялся.

— У него трудное положение! Сарваров не дал никаких указаний! Странный секретарь обкома! А? Как жить, Азиз?

— Ты подскажешь, — отшутился Хазратов. — А я буду жить твоими молитвами...

— Слыхали? — улыбнулся Бардаш Ягане. — Как я вырос!

И дружески похлопал Хазратова по спине.

Если бы он знал, как ненавидел Азиз Хазратов это дружеское прикосновение, это насмешливое похлопывание еще со студенческих времен, когда он исписывал толстые тетради в стенах Ташкентской промакадемии, а Бардаш заглядывал в его конспекты, опираясь рукой о спину товарища, смеялся, что тот переписывает все учебники, хлопал вот так же по спине... Если бы знал Бардаш, какие приливы ярости, может быть несправедливой, удушающей, поднимались тогда к самому горлу Азиза, он был бы поосторожней... Но Хазратов только улыбался.

— Учти, ты вырос не без моего участия.

— Тогда я тебе хочу ответить, пока меня еще не назначили, — серьезно и как-то грустно сказал Бардаш и покачал чуть склоненной набок головой. — Ты спросил, хочу ли я вовремя дать газ Ташкенту? Нет, не хочу...

— Ладно, ладно... Успокойся.

— Я вообще думаю, что весь газ надо использовать для производства газводы на месте.

— Без мальчишества! — предупредил Хазратов, приподняв руку, словно показывая, что у него тоже есть терпение.

— А я прошу без демагогии... Если мы будем спрашивать друг друга, хотим ли мы выполнять государственные задания, за коммунизм мы, за Советскую власть или нет, то нам лучше разойтись...

— Почему?

— Потому что я могу дружески дать тебе по морде. И готов получить то же самое за любой свой демагогический вопрос. Это мешает делу.

— Между прочим, — сказал Хазратов, — давай договоримся, Бардаш, на работе называть друг друга на «вы».

«Он себя погубит», — снова подумала Ягана о муже.

С каждой минутой она чувствовала, что ответственность, которую взваливал на свои плечи Бардаш, куда больше ожидаемой. Нет, они оба даже и представить себе не могли ее величины...

— Ты вел себя глупо, — сказал Бардаш. — И выглядел глупо... По-дружески говорю. По случаю выходного дня...

— Я сейчас, у меня личный разговор с Надировым, — сказал Хазратов и вышел, а Бардаш засмеялся:

— Надиров это Надиров. Азизу сейчас очень важно сообразить, за чей хвост держаться...

— Бардаш, — пощелкав замочком сумочки, сказала Ягана. — Если даже вы запретите мне перейти на глубокое бурение, я все равно начну бурить.

— Помолчите, пожалуйста, — ласково попросил он и достал сигарету.

Неужели он не слышал, сколько небрежности было в его добром голосе?

— Вы уже не мой начальник.

— Но я муж, — сказал он, закуривая и помахав спичкой в воздухе, чтобы сбить с нее пламя. — Это больше. Особенно если учесть магометанский обычай...

Как всегда, он говорил с ней усмешливо. И вдруг она подумала, что так было всю жизнь, о чем бы они ни говорили. Она для него оставалась ребенком, все еще ребенком. А он для нее? Он был на двенадцать лет старше, и столько же они прожили вместе. Почти столько же, но первый раз она думала о нем, как о человеке, у которого была своя жизнь... Отдельная от нее. Она бегала в школу, когда он взрывал мосты на войне. Он воевал в саперной роте, водил бойцов ставить мины, иногда в тыл врага, в его руках все время была взрывчатка... Когда ему бинтовали раненую голову, она заплетала себе косички и даже не знала, что он где-то живет на свете... Потом они впервые переглянулись на студенческом вечере самодеятельности, устроенном в честь фронтовиков. Все смотрели на сцену, а он на нее... Потом он первый раз надел рубашку и галстук и пришел за ней в общежитие... Воротничок давил ему шею, галстук сползал, подруги смеялись...

Оттого, что она сейчас думала о нем отдельно от себя, он становился ей еще дороже. И что-то беспомощное в нем требовало ее участия, а он все относился к ней, как к ребенку, и это было несправедливо. Ну что ж, это можно стерпеть... Не обязательно было словами доказывать свою любовь. Слова — воздух, о них не обопрешься. А ей хотелось протянуть ему руку для опоры. А то, что он все еще считает ее ребенком, только говорило о его любви... Пусть! Значит, он не замечает, что она постарела на двенадцать лет...

Она смотрела в окно. Ей было видно, как скакали воробьи в пустой чаше фонтана среди молодых и уже кривеньких акаций. Фонтан очнется к вечеру, сейчас бесполезно раскидывать жалкие брызги на жаре. Они высохнут на лету, как ничтожные капли на жаждущих губах, без пользы. Чтобы утолить жажду, нужно много воды. И много решимости, чтобы предотвратить беду. Пришла твоя пора, Ягана...

От подъезда отошла потрепанная надировская «Волга» и, оставив хвост пыли, скрылась за акациями.

— Дайте мне ключи от машины, Бардаш.

Он поднял на нее вопросительно глядящие глаза.

— Зачем?

— Я поеду к Надирову.

— Это можно сделать завтра утром.

— Завтра утром я начну работу, Бардаш.

— Тише, Уголек, — сказал он.

— Вы правда боитесь? — спросила она.

— Но ведь я прав. Нельзя и ручей переходить наобум! Утонешь!

— Легко быть правым, когда ничем не рискуешь.

Он замял в пепельнице сигарету, потом положил ключи на край стола. И тут же прикрыл их ладонью.

— А кино?

Она взяла ключи.

— Ягана!

Она пошла, но он загородил ей дорогу.

— В конце концов это мужское дело.

— Ну так не будьте женщиной! — сказала она, понимая, что сейчас его надо задеть, обидеть, чтобы он никогда не боялся: ведь дело требовало не только ума, размышлений, сомнений, знаний, оно требовало еще и надировской отваги. Всего этого она ему не сказала. Все равно он ее переспорит. А споры не кончаются... Только что в кабинете секретаря обкома она подумала, что время требует от них дел, и спорам конец... Но спорам, видно, никогда не будет конца, даже между ней и Бардашем... Так лучше молчать... Разве спорят только на словах? Он подумает без нее и поймет. Вон как уже сдвинулись складки меж его родных, изогнувшихся от напряжения бровей.

В обкоме было пусто, тихо, и стук ее каблуков донесся с лестницы. Удивленное лицо Хазратова смотрело на Бардаша из-за приоткрывшейся двери. Увидев Бардаша одного, он понял, что они поругались, но все же спросил:

— Ну, так у меня? В шесть, а?

— Ягана! — крикнул Бардаш и толчком раскрыл окно.

Она не услышала его сквозь шум заведенного мотора.

5

Возле его дома на скамеечке сидели три человека, разодетых, как на свадьбу. Они не были похожи на бухарцев. Бухарцы не носят среди бела дня ни темных пиджаков, ни шелковых галстуков. И чубов таких русых у них не бывает.

Отпустив такси, Бардаш присмотрелся к ним внимательней и развел руками.

— Бог мой! Ваня! Анисимов!

— Салям алейкум, — сказал самый маленький из трех и пошел к нему навстречу.

Они обнялись.

— Подожди, я что-то никак не соображу, — говорил Бардаш. — Откуда ты? Какими судьбами?

— Вот приехали подлить вам скипидарчику...

— Газопроводчик? — обрадованно догадался Бардаш, тряхнув нежданного гостя. — Уже подлили!

— Знакомься... Сергей Курашевич...

— Из Белоруссии? — спросил Бардаш.

— Давненько я оттуда.

— У меня в саперной роте был Курашевич...

— Не, мой батя артиллерист.

— А это Коля Мигунов, рентгенолог... Врач по трубам...

— А сам-то ты кто?

— Иван Андреевич — начальник колонны, — сказал «врач» Мигунов, долговязый парень с длинными руками, сильно вылезающими из рукавов парадного пиджака. Парни разоделись в честь прибытия.

— Начальник колонны? — переспросил рассеянно Бардаш. — Не разыгрывайте!

Анисимов знакомо улыбался быстрыми восторженными глазами. В институте он всегда был заводилой, он не мог без купаний, походов, танцев и первый получал от этого бездну удовольствия. И всегда всему удивлялся: смотри, как Жора плавает, смотри, как Анвар танцует, смотри, как Зухра поет... И за всех радовался без зависти.

Ах, Ташкентский политехнический! Сколько чудесных людей раскидал ты по свету. Хорошо, что они встречаются.

— Что же ты не зовешь домой?

— Как не зову? Идемте!

Курашевич — богатырь, с плечами, на которых бревна носить, — застенчиво вынул из кармана бутылку, даже не вынул, а показал.

— Жена не заругается?

— Ее дома нет.

Дом встретил их сиянием новой мебели, до которой почти не дотрагивались, разве что восковым утречком Ягана успевала стереть с нее пыль. Дом лучился, как именинник, который ждал-ждал гостей и наконец дождался.

— Смотри, как Бардаш живет! Во как живет! Видали?

— Садитесь, ребята.

— А где же Ягана?

— Там, — Бардаш неопределенно махнул рукой, — по делу... А ты-то где живешь?

— Иван Андреевич все кочует... Вел трубопроводы на Кубани, в Ставрополье... А вот и в свою Азию вернулся и нас прихватил, — сказал Курашевич нараспев.

Подумайте! Был Ваня Анисимов, стал Иван Андреевич...

— Да ты что, всерьез начальник колонны?

— Если здесь не снимут...

— Нет, Ваня, правда?

— Ты скажи, откуда я нитку начну?.. Говорят, у вас куда ни ткни — зашипит... Просто море газа под песочком-то. А?

— Океан...

Бардаш назвал цифру предполагаемых запасов газа, и Анисимов опять воскликнул:

— Астрономия!

— Времени маловато для освоения, — осторожно сказал Бардаш. — Залегания на разных горизонтах, газ кочует, меняет давление, уходит, вдруг появляется там, где и не ждешь. Есть разломы...

— Ничего, — успокоил Анисимов, — пока мы ниточку до Ташкентских курантов доведем, глядишь, и вы обустроитесь.

— Обустраиваться-то надо с умом.

— А для чего же здесь такие парни, как ты? Для чего здесь наши парни, я спрашиваю? Бардаш! Вы смотрите, какой он кислый!

Ваня Анисимов огорчался так же быстро и искренне, как и радовался. И вслух. Эх, Ваня, если б ты знал, отчего друг кислый... Но надо держать себя в руках... Ты прав, пришло наше время, для того мы учились, для того мечтали, чтобы теперь...

— Ну, за встречу, Бардаш! — перебил Иван его мысли.

— Стойте, подождите!

Бардаш кинулся на кухню и позвал с собою Колю Мигунова. Известно, что медики способные кулинары. Если вам это не известно, то запомните... Медики, как правило, быстро соображают, что к чему. Может быть, потому, что привыкли к рецептам? А ведь тайны кулинарии именуются рецептами. Недаром же! Долговязый Коля хоть и был медиком по трубам, но все же... Он скинул пиджак, засучил рукава и пошел орудовать, едва Бардаш вывалил перед ним все утренние покупки Яганы.

Закуска вышла отменная.

— Выпьем, — солидно сказал Курашевич. — Чтоб не спотыкаться.

Они чокнулись по-студенчески громко. И дружно принялись за еду.

— Я же говорил вам, что это хлебосольный дом! — шумел Анисимов. — А где же Ягана?

— Ешь, начальник колонны...

— Ну что ж, поедим, легче будет ждать, мы ее дождемся.

Потом они расселись на диване, а Курашевич открыл крышку пианино и неожиданно прошелся по блистающей клавиатуре грубыми пальцами.

— А ну-ка, ну-ка, Сережа, — подбодрил Анисимов, — изобрази что-нибудь своей мозолистой рукой.

— Давненько я уже не трогал... — сказал сдавленным голосом Курашевич.

Он присел, покашлял, подержал руки на весу, потер их и заиграл... Если бы у них была дочка, с мыслями о которой втайне Бардаш покупал и помогал ставить сюда это пианино, Ягана не посмела бы вот так уйти, уехать ни с того ни с сего... В самом деле, черт знает что! Где она сейчас пропадает? «Завтра я начну бурить!» Пожалуйста! Но почему надо уходить... И знайте, Ягана, что никаких прощений и поблажек вам не будет, если дело кончится пшиком. Не может быть... Ребенок! А отвечать придется по самому взрослому счету... Что вы улыбаетесь с пианино своими темными глазами, в которых играют светляки?

Бардаш смотрел на фотографию, а Курашевич играл...

— Чайковский! — восторженно прокричал Ваня Анисимов.

— Нет, — сказал, опустив руки, Курашевич, — это был Мендельсон, «Песня без слов».

— Слыхал бы ты, какие песни они на трассе поют! — сказал Иван, положив руку на плечо Бардаша, и в его голосе, и в этом жесте послышалась почему-то виноватая грусть. — Нам, старичкам, вставят перо...

Да, эти молодые, выросшие после войны, умели больше, чем люди их поколения, чем Жорка, который сгорел в воздухе над Сталинградом, чем Анвар, который остался лежать на берегу Одера в братской могиле... Далеко от дома... Но потому они успели больше, узнали больше, научились большему, что Жорка и Анвар не прожили даже своей юности...

— По совместительству этот Ван Клиберн сварщик и машинист трубоукладчика, — пошутил Анисимов, все еще не снимая руки с плеча Бардаша.

Курашевич застеснялся и перестал играть, почтительно прикрыв пианино, а Иван перехватил взгляд Бардаша и, кажется, начал догадываться о чем-то, но ничего не сказал.

— Посмотрим Бухару? — предложил Коля Мигунов. — А то день-другой, и прости-прощай! Больше не увидим... Были и не были, а все же город редкий... Как говорится, городов на земле много, а Бухара одна...

— Нет, нет, не уходите! — стал удерживать их Бардаш.

Он не хотел оставаться наедине с мыслями о Ягане, он не знал бы, куда деть себя, а то, чего доброго, еще побежит разыскивать ее. Уехала и уехала! Хоть в пустыню! Все, он не станет больше терзать себя из-за этой глупой выходки жены и проведет веселый день с другом, с новыми друзьями.

Кажется, Анисимов понял его и сказал:

— Покажи город ребятам! Бухара это Бухара... Он-то знает! — кивнул он на Бардаша, обращаясь к Курашевичу и Мигунову. — И его каждая собака знает. Он тут и улицы подметал, и воду таскал... Было дело...

— Правда? — спросил Курашевич.

— Побудьте нашим гидом, Бардаш Дадашевич, если можно.

— С одним условием, — согласился хозяин дома. — Называйте меня просто Бардаш...

— Хорошо, Бардаш Дадашевич.

Им это еще было трудно... Молодые... А он — Дадашевич... Нет, как подпирало время, как подпирало! Однако не сдаваться. Это хорошо, когда время и тебе подмазывает пятки — шагай быстрее. А ведь, кажется, совсем недавно еще таскал мешки с водой из Ляби-хауза, поливал дорожки вокруг чайханы, прибивая пыль пригоршнями воды, чтобы потом получить из рук чайханщика заработанную горячую лепешку — первую еду за весь день, самую сладкую еду...

Ну что ж, гидом так гидом...

— Мы стоим у минарета мечети Калян, самой большой в Бухаре. Во дворе и под ее куполами, а их больше двухсот пятидесяти, молилось сразу десять тысяч человек. Ну, а высота минарета, видите, какая... Около пятидесяти метров...

— Ого! — сказал Коля. — Двадцатиэтажный дом.

— Да, хорошая телемачта-а... — протянул Курашевич, задрав голову.

Башня минарета вонзалась в душную пустоту неба.

— Сколько же лет она стоит? — спросил Коля, заслоняясь белой девичьей ладонью от солнца.

— Восемьсот с гаком...

— Ого!

— Ты, Бардаш, гордишься, как будто сам ее строил! — засмеялся Анисимов.

— А что! — усмехнулся Бардаш. — Люди строили... Обыкновенные люди...

— Нет, не обыкновенные... — заспорил Анисимов. — Из одного кирпича, из одной жженки, смотрите, сложили такую красоту. А? Это были мастера!

Безвестные мастера действительно сложили чудо. Суживаясь, башня улетала ввысь, вся

увитая орнаментальной вязью, с узкими, как бойницы, окошками для освещения внутренней лестницы и с большим фонарем, увешанным сталактитами из того же кирпича. Из окон фонаря, венчающего столб башни, когда-то раздавались гнусавые от невероятного напряжения голоса муэдзинов, призывавших правоверных на молитву. Зажав уши, они кричали во все стороны:

— Алла-ах акба-а-ар!

О великий аллах, все тут говорило о твоем могуществе и ничтожестве человека, но человек все реже вспоминает тебя и еще реже зовет на помощь, утверждая свое собственное торжество над голой землей, которую он одевает садами. Не скажешь ли ты только, аллах, где сейчас моя жена? Не скажешь... И что ей вздумалось? Молчишь, великий...

— Тут, где мы стоим, может быть, стоял Чингис-хан.

— Где?

— Вот тут.

— Когда?

— В тринадцатом веке.

— Он и здесь побывал, этот захватчик? Смотри! Ну и что же?

— То же, что и везде. Бухара лежала в развалинах. «Все, что сотворили здесь человеческие руки, снести!» — приказал Чингис. А эту башню даже он пожалел. Посмотрел и сказал: «Этого человеческие руки сделать не могли». И она осталась стоять.

Бардаш и не заметил, что их окружили какие-то люди, гости Бухары, а за ними уже толпились вездесущие мальчишки, и все слушали. Да, башня осталась среди города, разоренного до основания. И лихорадку многих землетрясений она перенесла, не дрогнув, не покосившись, не дав трещины... Фонарь ее часто и взаправду становился фонарем, когда там разжигали костры, чтобы путники не заблудились в песчаных бурях или среди ночи. Башня служила маяком для дальних караванов, ходивших без компаса... А последний эмир бросал оттуда узников...

Она была башней жизни и башней смерти.

— Действительно, аллах уберег ее! — пошутил кто-то из незнакомых.

— Не аллах, — возразил Бардаш. — Мастер, который заложил фундамент на глубину тринадцати метров, закончил работу и сбежал... на два года, чтобы дать затвердеть основе... Ведь его торопили...

— Начальство всегда торопит!

— А мастера знают свое дело.

— А ганч, по-нашему алебастр, что ли, замешивали на верблюжьем молоке...

— Дяденька! Расскажите еще что-нибудь! — попросил ушастый мальчишка, когда Бардаш замолчал.

Уши у него торчали, ну прямо как граммофонные трубы.

— А больше я ничего не знаю! — улыбнулся Бардаш.

Ягана, конечно, уже дома. Может быть, сидит и плачет. А он даже не догадался оставить записки. Вот чучело!

У тяжелой и мрачноватой стены напротив с такими же тяжелыми и темными деревянными воротами висел зеленый флаг. Коля Мигунов пошел туда, прочитал табличку у ворот и крикнул, удивленный:

— Братцы! Тут духовное училище мусульман... Семинария!

Ворота приоткрылись и выпустили в узкую щель старика, белого с ног до головы, даже борода у него была такая же белая, как чалма и халат. Ну, снежный дед с умными и проворными глазами. Щупленький, юркий, он быстро зашагал по площади, не зашагал, а молодцевато, вприпрыжечку побежал, ни на кого не обращая внимания. Возле Бардаша он вдруг приостановился, приложил руку к сердцу, отвесил легкий поклон.

— Здравствуйте, Халим-ишан, — ответил Бардаш.

— Знакомый? — еще более удивленно спросил Коля Мигунов.

— Я же говорил, у него вся Бухара — знакомые, — засмеялся Анисимов.

— Это Халим-ишан... Профессор медресе...

— Дела-а! — пропел Курашевич вслед старичку.

Незаметно подобрался вечер, и на углах улиц зашуршали, зашелестели фонтаны. Приподнятые на каменных подставках до высоты человеческого плеча, они разбрызгивали свои маленькие освежающие дожди. Газопроводчики намочили платки и вытерли лица.

У Ляби-хауза пахло акацией и еще чем-то зеленым. Слетевшие с деревьев соцветия лежали вокруг стволов ароматными тенями. По улице добрым драконом ползла поливальная машина, расправляя белые усы и окатывая водой цветы, скамейки, ноги прохожих... Никто не возражал... Все, кажется, даже были рады. Дети, глазастые, как лягушата, бежали за ней, чтобы искупаться в струе... Вода студила землю.

Сели почаевничать в чайхане. Ребята, по обычаю, сбросили туфли, запыленные и горячие, как автомобильные скаты.

— Бардаш, — тихо спросил Анисимов, — ты чем-то озабочен? Вы с Яганой поссорились?

Бардаш смотрел на воду Ляби-хауза, засыпанную тутовником, и вспоминал утро. Теперь он перевел глаза на аистов...

— Что ты, что ты, Иван!

У самой чайханы остановилось такси с зеленым глазком.

— Я сейчас вернусь, — сказал Бардаш и побежал к машине.

Женщины — все же они невозможные созданья! Ну, а что касается Яганы... Что касается Яганы, разве не он сам научил ее быть такой? Разве он не сердился, когда она обходилась без собственного мнения? «Что это за человек без собственного мнения?» — кричал он ей.

Такси подкатило к дому. Бардаш толкнул калитку, взбежал на порог, ударился плечом о дверь. Дверь была заперта. Он долго не мог найти ключа в карманах. Нет, ее не было дома... На спинках стульев висели пиджаки Курашевича, Мигунова и Вани... На столе — следы их дневного пиршества...

Бардаш вернулся к машине и назвал адрес Надирова. Из дома, за воротами которого густо лаяла собака, не сразу выползла старуха.

— Где Бобир Надирович?

— Уехали они. В Газабад!

— Уехали? С кем?

— С молодой начальницей... Дадашевой, — неожиданно бойко крикнула старуха.

Бардаш посмотрел на звезды. Где-то под ними катился сейчас «козел» Яганы, выщупывая фарами трудную и долгую дорогу в песках. Хорошо, если за рулем сидел Надиров. «Волга» туда не проберется, и, конечно, он сам вел машину, старый пустынный волк... Он не доверял ничего делать другим, когда был рядом, тем более вести машину сквозь ночь в пустыне...

В пустыне, где недавно отгорели маки... Ковры маков, накатываясь на пески, полыхали яростно и неудержимо, словно знали, что времени отпущено им немного. И такие же, как маки, звезды опускались с неба и, словно порхая, мерцали на лету низко-низко...

Бардаш почувствовал, что теперь он как-то отрезан от всего этого. И сердце его вдруг сдавила нестерпимая тоска.

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

В этих песках не только бушевали ветры, по ним сновали банды басмачей, и текучие барханы заметали следы копыт, но все же над безжизненными и безводными далями, над верблюжьей колючкой в погоне за басмачами от колодца к колодцу шли полки красной конницы... Именно шли, вязли в песках... Нельзя было сказать — проносились... В седлах и без седел, отвоевывая будущее себе и детям, пересекали пустыню рабочие и батраки Бухары...

Тогда, в девятнадцатом году, в крепость эмира привели двенадцатилетнего мальчика с руками, связанными за спиной.

— Еще один сын Надира...

Эмир стоял перед мальчиком с нагайкой в кулаке. Эмир Алим-хан сам вышел посмотреть на этого, еще одного...

Повелителю Бухары пришлось выслушать историю мальчика.

Его отец был вздернут на виселицу в Уртачуле за то, что рассказывал людям, будто «выдул пламя из воды». До ушей эмира и раньше долетали слухи о синем пламени, которое струилось из песчаных трещин где-то посреди пустыни. Кто-то порол вздор, что чабаны и путники иной раз кипятили чай в своих кумганах на этом огне. Эмир призвал к себе имамов, ученых мужей из лучших медресе Бухары, и они в один голос объявили, что под землей может быть только один огонь — адский, и всякий, кто увидел его и тем более прикоснулся к нему, достоин смерти. Храбрецы, смущавшие умы правоверных, быстро исчезли...

А Надир из Уртачулы не испугался страшной судьбы. Он поехал в сторону Карши, погоняя ослика, пока не добрался до солончаков. В их оправе зеленели гнилые озерца, и в одном озерце, из которого нельзя было напиться, потому что его заполняла не вода, а вонючая жижа, Надир увидел пузыри... Они пугающе вздувались и лопались, из них шел пар... Надир прилег на берег, подполз поближе... Пузыри продолжали лопаться... Озеро точно закипало...

Он вошел по колено в грязь и огляделся... Со всех четырех сторон были пески и свет солнца... Ни души не было вокруг... Кулаки Надира сжимали камни... Он вздохнул, ударил раз и другой камнем о камень, искра упала как раз тогда, когда грязь чавкнула, и на месте только что лопнувшего пузыря задрожал прозрачный огонек. В страхе Надир подул на него, но огонек не исчез, а перескочил на соседний пузырь, а когда Надир что есть силы стал дуть, чтобы согнать с невыносимо вонючей жижи пламя, оно пошло прыгать и вспыхивать по всему озеру...

Он помертвел от ужаса, из последних сил выбрался на твердую землю и побежал, пока не свалился, забыв о своем ишаке. В жаркой пустыне его долго колотил озноб... Однако то ли Надир пожалел своего единственного ишака, то ли был чересчур любопытным, но он вернулся... Изумленный, долго смотрел он на дело своих рук... Да, он выдул пламя из воды... Оно горело, как керосин... Как солнце! Можно было обжечь руки... Он пялил глаза и торжествующе хохотал, сам не слыша себя.

А потом его повесили. Как яблоки недалеко падают от яблони, так и грешники плодятся от грешника... Старший сын Надира, старший брат этого мальчишки, застывшего перед священными очами Алим-хана, показал дорогу в глубь песков, к пламени ада, дерзкому иноверцу, подлому гяуру, который явился в пустыню искать то, что якобы дала людям природа...

Люди эмира кинули проводника в тюремное подземелье, а потом скатилась с кровавой плахи его голова... Два других брата бежали,

вступили в Красную Армию и вернулись на родную землю в ее рядах. Одного из них, по слухам, проникшего в Бухару, и разыскивал эмир.

— Где твой брат? — спросил он мальчика. — Ты слышишь?

— Я сам хотел бы его увидеть, — сказал мальчик, — но если вы, могучий эмир, не знаете, откуда мне знать?..

Эмир ударил его плеткой — этот удар и оставил белый шрам на правой щеке, мальчик зажал ладошкой кровавую рану, и до сих пор чуть что, если приходится нервничать, сам того не замечая, хватается он за свою щеку, теперь уже в глубоких складчатых морщинах и с этим гладким рубцом...

— Как тебя зовут? — спросил эмир.

— Бо-бир, — ответил мальчик, облизнув окровавленные губы.

— Кто тебе дал имя великого святого и поэта?

— Вы, — с трудом сказал мальчик.

Эмир неожиданно засмеялся, поняв, что мальчишка использовал игру слов... Бо-бир... Еще один... Еще один сын Надира должен был через мгновение умереть по знаку его руки, но эмиру были нужны другие сыновья неграмотного еретика и бунтаря из Уртачулы, и, подумав, он отпустил Бобира, чтобы послать своих псов по его следам, потому что Бобир, без сомнений, пойдет по следам братьев...

И он пошел.

Не так, как думал эмир. Всю дорогу своей жизни он шагал и будет шагать по их следам, отмеченным кровью. Как всегда и всюду, великое и новое начиналось с крови...

Жаль, что эмир Алим-хан покинул свет на чужбине, под афганскими звездами, не попрощавшись с Бобиром. Он узнал бы, что последний, единственный оставшийся в живых сын Надира в тот самый год, когда эмир отдал душу аллаху, повел в пустыню поисковую партию ученых и буровиков. Они искали бухарский газ...

И вот теперь немолодой человек, оставивший за плечами полвека, смотрел на пески с птичьей высоты. А пески, покрытые расползающимися ежами серого янтака [1], расстилались так далеко и так широко, что захватывало дух, как в полете, и земля, как в полете, казалась беспредельной.

Верхняя площадка буровой вышки чуть подрагивала, потому что шла выемка труб. Верховой на мостике, привязанный к нему поясом, как монтер к столбу, ловко подхватывал очередную свечу проволочной зацепкой.

Из подземных глубин трубы выползали грязные, вытряхивали из себя остатки глинистого раствора, и, чтобы всплесками не сшибло рабочих с ног, на трубу надевали железную юбочку, прежде чем она выпрыгивала вся и оказывалась в людском обществе.

Грязь стекала под ноги, гремя о стены юбки, и рабочие мыли струей из шланга трубы и буровую площадку...

— Майнай! — покрикивал верховой.

Утром стояла такая жара, какая в других широтах не случается и в самый душный полдень. Верховому же, поднятому еще ближе к солнцу, было жарче всех, и в паузы он стирал жестким рукавом брезентовой куртки пот со скуластого лица цвета жженого кофе, хотя от этого ему не становилось легче. Быстрее бы кончить... Начальство ему мешало.

А Бобир Надирович любовался пустыней... Безбрежье... Вот что в ней самое манящее... В ночи легко отыщешь любую звезду, и все небо точно тюбетейка на твоей голове. А сейчас его не охватишь взглядом — желтое, раскаленное... Чем еще можно измерить беспредельность пустыни? Только небом...

И он тут хозяин.

У каждого в молодости бывает какое-то увлечение, но не каждый хватает его, как строптивого коня за поводья. А он схватил. Спроси его, был ли он верховым на вышке? Был. Мыл ли трубы внизу? А как же! Стоял ли у дизеля, где барабанные перепонки в ушах лопаются от гула? Стоял. А потом впервые взялся за рычаг бура... Вот почему ему подчиняется пустыня. Здесь люди обжигают ноги на ходу, а птицы — крылья на лету... Все тут гордое, непокорное... Но он поставил в этих песках первый город — Газабад. Он!

Он поставил барак, одну половину которого заняла контора, а другую — кухня, но виделся ему город... И сейчас туда уже вели аму-дарьинскую воду... А когда газопроводчики протянут руки: «Давай!» — он не встретит их отговорками, он ответит: «Берите!»

Газ был под его подошвами... Газ — новая энергия, веди куда хочешь, делай что хочешь, топи, грей, крути, режь, вари, шей... Он его достанет из-под земли, и он его даст! Что ему какой-то Дадашев! Пусть скажет спасибо, что у него такая жена. Хрупкая, а защитила, как скала.

— У меня есть нюх, — говорил он, постукивая себя пальцем по груди, — и я ему верю. Я уже побывал под землей. Слышишь, Шахаб?

— Я знаю, что вы тут много бурили, товарищ управляющий, — отвечал буровой мастер Шахаб Мансуров, неповоротливый человек с головой, похожей на тыкву.

— Мало, — резко сказал Надиров. — Нам предстоит здесь столько пробурить, что если мы будем ждать, пока дядя подскажет, где да как, поседеют волосы у следующего поколения.

Шахаб почесал затылок.

«Ах, эти молодые, зеленые... Чего-то им не хватает, какой-то самозабвенности, любви до дрожи, поэзии... Песни поют хорошие, а как

[1] Верблюжья колючка.

дойдет черед до дела... Если твоя мечта не связана с практическим делом, она так и останется пустой мечтой, что там ни кричи, ни пой, а конь ускачет...» — думал Надиров.

Ночью, когда новый конь пустыни — крепкий газик, похрустывая песком, пробирался сюда, он разговорился с Яганой Дадашевой. Он внушал ей простые мысли, казавшиеся ему самому такими понятными. Если бы во время гражданской войны полководцы говорили, что сначала им нужно окончить академии, а потом уж сражаться с белыми, разве ехали бы они сейчас по этой пустыне? Нет, не ехали. А они едут, потому что появились Фрунзе, Чапаев, Щорс. Если бы летчики, которые первыми перечеркнули Северный полюс тенью советского самолета, говорили, что не полетят, пока у них не будет точного графика обледенений и надежных средств борьбы с внезапной тяжестью на крыльях, разве бы мы были первыми? В небе. В космосе! Нет, но, к счастью, у нас родились Чкалов, Беляков, Байдуков.

А сейчас... Сейчас уж слишком много молодежи, умной, сверхумной, образованной, сверхобразованной, мыслящей молодежи, которая перед каждым подвигом вынимает логарифмическую линейку и начинает измерять и высчитывать, взвешивать на аптекарских весах все «за» и «против» и сыплет оговорками, вставляя палки в колеса своей же телеги... Они хотят бескровного геройства? Так не бывает... Геология не открывает карт до конца, она требует подвига в душе и на деле...

— Крюк! — крикнул Шахаб, поглядывая на верхового. — Эй, Куддус!

И погрозил ему пальцем.

Считая, что начальство заговорилось, Куддус повесил на борт мостика свою проволочную зацепку и подтягивал трубы голыми руками.

— Саданет разок и вышибет зубы!

— Золотые вставлю! — крикнул Куддус. — У меня деньги есть! — и засмеялся, но, после того как мастер потряс в воздухе увесистым кулаком, снова взял крючок.

Ушли бы уж скорее, что ли! Этот толстяк-то забрался на вышку и не боится, не слезает. Голова седая, как в чалме, а не кружится. Чудак какой-то... Хлопнет его сейчас солнечный удар, и до свиданья.

Так думал Куддус, а Надиров думал иначе. Можно бы поговорить и в вагончике, колеса которого наполовину утонули в песке, вон он, серебристый вагончик буровиков, стоит возле вышки, и там тенисто, и нет вокруг горячего железа, как будто в другой стране, но здесь, наверху, наедине с мастером, Надиров хотел заразить его тем неуемным чувством всепоглощающего азарта, уверенности, силы, которое всегда овладевало им на высоте. Все земное казалось подвластным...

А буровой мастер махал мальчишке кулачищем.

— Я вас слушаю, товарищ Надиров, — опомнился он.

Они стали спускаться. Узкая, теснее корабельного трапа лестница круто сбегала к песчаной желтизне. Буровой мастер тяжело и солидно грохал над головой, приговаривая:

— Сита быстро изнашиваются, Бобир Надирович. Сами пробиваем жестянки, делаем взамен. Но самое главное — трубы, трубы. Наше дело, как говорится, без трубы — труба!

— Это не рай, — подтвердил Надиров. — Я с тобой согласен.

Они остановились где-то на промежуточной высоте. Буровая привычно полязгивала и скрипела. Вышка, она всегда живая, если идет работа...

— Начнешь борьбу за звание бригады коммунистического труда! — крикнул Надиров.

— Хм!

— Что?

— С ребятами поговорить бы...

— А ты думаешь, кто-нибудь будет против?

— Нет... Но... Хорошо, если бы они сами зажглись...

— Сама и спичка не зажигается. Потереть надо.

— Я не о том...

— Напиши плакат. Я материю привез.

Солнце еще не поднялось в зенит и тень не пряталась под вагончик, а лежала сбоку от него, хотя подбиралась все ближе. Там, в тени, на собственном чемоданчике, кинутом в песок, сидел высоколобый парень с блестящей черной шевелюрой и курил, скучая. Он поднял ждущие, тоскливые глаза на Надирова, вставать ему не хотелось. Лицо его окутал дым.

— Да! — вспомнил о нем Надиров. — Вот тебе еще один герой. Между прочим... Между нами... — Он помедлил, не зная, стоит ли говорить это. — Племянник Хазратова, — добавил он тише, — ну, того, из обкома партии... Смотри... Дядя просил приобщить его к жизни... Я обещал.

Шахаб покосился на новенького и пожал плечами.

— Майли...

Это почти «ладно», но все же капельку добродушней и капельку безразличней.

— Ягана Ярашевна! — крикнул в окошко вагона Надиров. — Я поехал!

Он твердо знал, что если начальство задерживается на вышке больше положенного, то дело утонет в мелочах. А сейчас оно только и получало долгожданный размах...

2

Напрасно подумали начальники, что новичок скучал.

Все было интересно — высокая буровая, не-

даром называется вышка, и дизеля, большие, как паровозы, а там, как у железнодорожной станции, громоздились баки с водой, он хотел напиться, но долговязый казах в лисьей шапке крикнул: «Техническая!», а питьевая оказалась в бетонном цилиндре с крышкой, который, наверное, перевозили вместе с собой и зарывали в песок, и этот вагончик... Из него все время раздавались негромкие голоса Яганы Дадашевой и русского, ехавшего с ними ночью из Бухары.

Возле вагончика стояло два газика, один присоединился к ним в Газабаде. Теперь он увез Надирова, а другой остался. Новенький хотел было попроситься на шоферскую работу, за руль, но Надиров уже уехал... Сидеть было неудобно, он бросил в песок окурок и поднялся.

— А ружья опять не привез! — сказал Шахаб, посмотрев туда, где пылил газик.

— Зачем? — спросил новенький, чтобы не молчать.

— Волков гонять.

— Тут есть волки?

— А как же? Где есть овцы, там есть и волки... Ты овец видел?

— Мы ночью ехали...

— А, черт возьми! — непонятно почему выругался буровой мастер.

Он держал в руках свернутую в трубку красную материю.

— Лозунги писать умеешь?

— Нет.

Шахаб пошел к вагончику. Парень снова сел и, вытряхнув из разорванной пачки последнюю сигарету, сломал ее пополам. Шахаб вдруг остановился, спросил сердито:

— Надеюсь, ты сюда не курить пожаловал?

Парень бросил свою только что зажженную половинку в песок, придавил ногой и опять поднялся.

— Возьми лом, отнеси вон тому, в лисьей шапке, он тебе покажет, что делать... Эй!

Шахаб не успел предупредить новенького, как он уже схватил голыми руками лом, валявшийся в песке неподалеку, и тут же уронил его и, тиская руки в кулаки, зажал их между ногами и пошел раскачиваться и кусать губы. На лбу его тотчас выступили крупные градины пота.

— Дурак! — закричал Шахаб. — Кто же так хватает? Перчатки!

Рядом с ломом в песке валялись брезентовые перчатки, серо-желтые, без привычки не заметишь.

— Покажи!

Парень протянул руки, пытаясь согнать гримасу боли с лица. На красных ладонях вздулись белые волдыри.

— Рая! — крикнул в сторону вагончика Шахаб. — Пациент!

К вагончику вела довольно высокая лестница, и на ее верхней ступеньке появилась ладная девушка в выгоревших стиляжных джинсах. Она держалась за косяки двери руками, а сама наклонилась вперед, как бы вываливаясь из вагончика. И без того узкие глаза сощурились в две полосочки: что она видела?

— Заклей! — скомандовал Шахаб. — Наработался!

И пошел в вагончик.

Рая тоже исчезла там, а потом сбежала по лестнице в своих трепаных джинсах, мужской рубашке в крупную клетку, с засученными до острых локтей рукавами и белой косыночке на голове. Ноги у нее были в мягких синих кедах и протопали по ступенькам бесшумно. Теперь новичок разглядел ее всю.

Он смущенно держал на весу перед ней свои обожженные руки, а она принялась нашлепывать на волдыри бактерицидную бумагу и бинтовать.

— Что же ты, чудилка, — сказала она, как маленькому. — Это тебе не на дутаре играть.

— Откуда вы знаете, что я играю на дутаре?

— Руки-то...

— Между прочим, я на заводе работал, — обиделся парень.

— Не молотобойцем, — уверенно засмеялась Рая.

Да, конечно, он сидел в клетушке учетчика цеха. А ну их всех! Удивительно легко люди смеются друг над другом...

— Как тебя зовут?

— Хиёл.

— А меня Рая.

— Слышал. Вы кто, санитарка?

— Нет. Ну, до свадьбы заживет... Хочешь есть?

— Вы повар?

— Лаборантка.

— А где же ваша лаборатория?

— Успеешь, покажу.

Хиел смотрел наверх. Там парень, пользуясь отсутствием начальства, свесился с мостика, как обезьяна, встав на прут обрешетки, и орудовал руками, как фокусник. Он легко подводил к себе концы послушных труб и так же легко отталкивал их от себя, горланя во все горло что-то бессмысленное, просто озорное:

— Ла-ля-ля!.. Ла-ля-ля!..

— Куддуска! — завопила Рая. — Куддуска, шайтан!

Она схватилась за голову, зажала уши и повторяла без конца его имя, не слыша больше ни его «ла-ля-ля», ни чего другого, словно так ей было легче кричать самой.

А Хиел про себя подумал: «Так, понятно, это не случайно».

— Муж? — спросил он.

— Какой муж? — удивилась Рая. — Кому нужен такой обормот в мужья? Куддуска!

Может быть, парень упивался работой, может быть, выхвалялся перед ней, но он не обращал внимания на крики, и Рая побежала к вышке. Хиел невольно потянулся за ней, проваливаясь в песок по щиколотку. Узкие городские полуботинки были не для этой земли. Он набрал в них песку по завязку.

На втором витке лестницы Хиел внезапно для себя остановился, и Рая заметила его замешательство.

— Тебе же держаться трудно... Руки!.. Слезай!

Хиел отрицательно покачал головой.

— Куддуска! — крикнула Рая вверх и оглянулась на Хиела. — Слезай, пижон! Один там, другой здесь!

— Ла-ля-ля! — уже било в самые уши.

— Живой? — спрашивала Рая то ли Куддуса, то ли Хиела.

— Привет! — сказал небрежно Куддус.

— Пристегнись сейчас же! — велела ему Рая. — Стань на пол!

Пристяжной пояс Куддуса висел на борту мостика, белые зубы сверкали на скуластом запыленном и загорелом лице. И глаза, как две черные пули, пронзали Раю и смеялись.

— Раз, — сказала она, — два...

Хиел увидел в ее руках милицейский свисток, но Куддус не дал ей сосчитать до трех.

— Тревога отменяется, — сказал он, спрыгивая с обрешетки на пол мостика. — Работа закончена... Куддуска целый, не надо плакать.

— Глупый! Вот глупый! — все еще распаленно крикнула Рая. — Кто о тебе будет плакать? Очень надо! Не жди...

— Зачем тогда так кричать? — спросил Куддус, растопырив руки, черные от мазута и глины.

— Расшибешься, тогда тебя пластырем не склеишь.

— Вай-вай! — сказал Куддус.

— Ну ладно, — ответила Рая. — Ладно. Больше я с тобой не разговариваю.

— Тогда я уезжаю... — горько сказал Куддус. — Куплю мотоцикл, сяду и уеду... Деньги есть.

Хиел смотрел, как отлетали от дизеля сизые облачка выхлопных газов. Вслед за ними ветер гнал невесомую пыль... И оттого, что пыли тут было много и некуда ей было скрыться, вся пустыня дымилась...

Вдруг дизель стих.

— Лучше уезжай, Куддус, — вздохнула в тишине Рая. — Все равно я доложу о тебе Ягане Ярашевне. Или самому главному инженеру...

Куддус приторачивал какой-то свой высотный инвентарь к стропилам вышки. В изогнутых губах его бродила усмешка. Кнопки жгучих глаз нацелились на Хиела.

— Я уеду — другой будет, — сказал он.

— Сказала бы я тебе, Куддус, — покачала головой Рая, — да лучше не скажу...

Она стала спускаться, задев Хиела плечом.

Куддус, свесившись, долго смотрел, как ее фигура становится все меньше и меньше.

— Боевое крещение? — спросил он, показав глазами на руки Хиела.

— Случайность...

— Здорово! — язвительно поцокал языком Куддус. — Быстро успел. Теперь мы будем работать, а ты смотреть?

— Я и так смогу, — как бычок, наклонив голову, бросил ему Хиел и попытался сжать перебинтованные ладони в кулаки.

— Так не сможешь, — сказал Куддус, покрутив головой, а рот его неожиданно расплылся до ушей.

— Увидим.

— Ты что, подвиги приехал совершать? — спросил Куддус: глаза его заинтересованно блестели. — Ну, давай, давай!

3

Главный инженер Корабельников вышел из вагончика и пошел к лаборантке Рае под козырек, устроенный на одном крыле вышки, договориться о качестве раствора. Шахаб остался наедине с Яганой за чайничком остывшего чая. Пиалушки стояли среди раскрытых вахтовых журналов и раскиданных по столу бумаг.

Уже все было перелистано, Ягана отложила карандаш, прикинув возможную скорость проходки... Шахаб ждал, уперев ладони в круглые колени. Все в нем было крупно, основательно, от кепки на голове, большой, как таз, до солдатских ботинок. И молчание тоже.

— Как это понимать, Ягана? — спросил он наконец.

— Что, Шахаб?

— Глубокое бурение.

Ягана ждала вопроса, но все же сказала не сразу:

— Это понимать надо так, что управляющий трестом Надиров не хочет больше ждать дополнительных сведений разведки и отдал приказ о бурении промышленных скважин.

— А вы?

— А я с ним согласна.

Шахаб оторвал от колен непомерные ладони, согнул их и сыграл костяшками пальцев какой-то марш на краю стола. Он слышал и крики Раи, и песню Куддуса, но то, что удерживало его здесь, было важнее.

— Так, — сказал он, — так...

Опершись о стол локтями, Ягана сплела пальцы рук и ткнулась в них лбом.

— Шахаб! — воскликнула она. — Вы можете сказать определенней?.. Или уже нет решительных мужчин?

— Будем стараться, — сказал Шахаб.

— Почему вы не сказали Надирову, если против?

— Вот то самое... — проворчал Шахаб. — Овечий характер.

— Возразить вы не можете!

— И Бардаш не смог?

— Бардаш смог. Но ведь возражений мало... Надо что-то утверждать... Надо решаться! А у вас, — Ягана оторвала руки от лба и положила на них подбородок, — у вас не идет дальше предостережений!

Шахаб по-новому вглядывался в жену товарища. Красивую женщину нашел себе в спутницы Бардаш. Ничего не скажешь. Но, оказывается, видеть в ней следовало не только красоту. У Яганы была своя жилка, своя крепкая косточка. Неужели они...

— Из-за этого мы впервые поссорились с Бардашем, — видно, прочитав интерес в его глазах, то ли пожаловалась, то ли призналась Ягана.

Шахаб неловко, по-медвежьи потоптался, прочнее уселся на табуретке, не зная, что сказать.

— Надеюсь, дело не дойдет до развода? — пошутил он.

— Нет... — улыбнулась и Ягана, и сережки в ее ушах задрожали, касаясь щек. — Но боюсь, что это еще хуже.

На ней были праздничные сережки, наверное, она забыла их снять вчера. В окошко вагончика сквозь линялую зелененькую занавеску сочилось солнце и дробилось в золотых колечках, прицепленных к мочкам ушей Яганы, играло в них. Ну, нелегкий день был вчера у Бардаша!

— Пс-пс! — только и сказал Шахаб. — Производственное столкновение в семейном кругу. Кажется, это литературный пережиток...

— А вы не смейтесь, — еще грустнее и откровенней улыбнулась Ягана. — Я рассказываю вам, как другу.

Шахаб потер кулаком под носом и глотнул холодного чая.

— Какой тут, к черту, смех? Бурить глубокую скважину, не имея геологического разреза... Не до смеха...

— А вы бурите ее, как разведчик.

— А кадры? — спросил Шахаб. — Кадры, которые хватают лом голыми руками?

Ему захотелось взорваться, крикнуть, но все же перед ним сидела Ягана, и он стерпел. А она сказала:

— И вы не герой.

— Если все станут героями, то герои вообще исчезнут. На каком же фоне они смогут выделяться?

Ягана стиснула губы. Ее раздражала рассудительность этих мужчин и чем-то даже пугала. Она не хотела рассудительности, похожей на трусость.

Они вышли на улицу. Солнце калило, и ветер сдался ему, сник. Все остановилось. Пустыня лежала, как закаменелая. Ягана посмотрела на затихшую вышку. Завтра ей предстояло под лязг тракторных гусениц перекочевать на новое место, которое они уже выбрали. Медленно Ягана пошла туда, где под фанерным козырьком замерщицы Раи собирались покурить ребята. Когда-то она командовала этой самой вышкой, и кое-кто из них работал с ней... Шахаб шагал рядышком, чуть сзади, поглядывая на ее короткую тень.

Возле вышки, опустив голову, стоял Куддус, Корабельников отчитывал его.

— Вы знаете, — говорил он, — полагается иметь заградительную стенку в полтора метра. А у вас? Семьдесят пять!

Он размахивал перед Куддусом складным метром.

— У меня рост маленький, — сказал Куддус, не поднимая головы.

— Рост ростом, а техника безопасности остается техникой безопасности... И вы прекратите, пожалуйста, свои выкрутасы. Можете приваривать повыше мостик.

— Скажите монтажникам.

— Все равно! — крикнула Рая из-под козырька. — Он на мостике подставки делает. Из деревяшек!

— Вот видите! — опять помахал сложенным метром Корабельников, точно собирался ударить им Куддуса по носу. — За вас никто отвечать не хочет. У нас хватает забот... Глина... Трубы... А тут еще!.. Рая! — позвал он. — Подойдите сюда.

Рая подошла.

— Хотя я знаю, как у вас много хлопот без этого акробата, — сказал Корабельников, — все же... я вам поручаю... Вы будете проверять установку мостика. Вот вам складной метр. В подарок.

— А мне зачем? — вскрикнула Рая, чтобы все слышали. — Да пусть он сорвется!

Но метр все же взяла.

4

Может быть, кто-то и приехал в Кызылкумы, чтобы прославить себя подвигами, но только не Куддус. Он забрался в этакую даль за велосипедом.

Мальчишкой Куддус не мог спокойно гулять по улицам Ферганы — его привораживали велосипедисты. По ночам ему снилось мелькание блестящих спиц... Он подолгу простаивал у стеклянной витрины универмага и у магазина спорттоваров, где были выставлены велосипеды. Кого-то еще надо было уговаривать их покупать! Велосипеды красовались и просили: возьмите нас! Куддуса соблазнять не надо было. Его мучила другая проблема: где взять деньги на покупку?

Рос он без отца и после школы покинул свой родной Катартал, самый зеленый кишлак на свете, поблизости от Ферганы, и пошел неизведанными дорогами... Вы спросите — куда? Вы не знаете, а он знал — за велосипедом.

Но тут появилась другая беда — на работу его не брали, потому что Куддус был несовершеннолетним. Как с этой бедой бороться, никто не мог подсказать Куддусу, никто не мог посоветовать ему другого средства, кроме ожидания. Но на ожидание требовалось время, а велосипед ему хотелось сейчас. Так Куддус впервые узнал, что жизнь полна противоречий.

Однако свет не без добрых людей, и они не дадут пропасть ни человеку, ни его мечте. И вот один человек сказал Куддусу, что надо податься на большую стройку, где не очень спрашивают, сколько тебе лет, и если накинешь парочку, не заметят. Ну, а дорогу на большую стройку в наши дни и слепой покажет. И вот Куддус очутился в большом кишлаке Кермине, который так же мечтал стать городом Навои, как юноша мечтал о велосипеде.

В Кермине, то есть в Навои, должны были строить и химический комбинат, и электростанцию. По всем дорогам, ведущим к Кермине, вместо деревьев росли плакаты, зовущие на стройку. Куддус почувствовал себя нужным человеком и уже на велосипеде, хотя и въехал в будущий город всего-навсего на попутном самосвале.

Но скоро сказка сказывается... Пока говорят — все легко, а начнешь делать — так трудно... Документы у него спросили и не то что два, а и одного года прибавить не позволили. И все же не прогнали! Ура! Куддус уже держался за велосипедный руль. Пока же он стал помощником водовоза... Что делать! Люди всегда немножечко приукрашивают действительность и свою судьбу как в рассказах, так и во снах... На Куддуса надели комбинезон, и он в нем утонул.

— Э, парень! — засмеялись вокруг. — Придется тебе вырасти для этой одежды.

Но пришлось ушивать штаны.

Разрастался Кермине, и все больше становилось разговоров о газе... Газ должен был прийти сюда и для химического гиганта, и для электростанции. Газом бредил еще не родившийся город, что же говорить о населявших его строителях и юном Куддусе? Честно говоря, к тому времени Куддус уже отложил деньги на велосипед, но ведь он подрос и вместе с ним подросла его мечта. Молодые люди в Навои раскатывали на мотоциклах. На мотоциклах они подвозили своих прекрасных подруг к танцплощадке, на мотоциклах уносились в пыльные дали после работы.

Гордый треск мотоциклов раскалывал утреннюю тишину, дневной шум и вечерний покой молодого города. Перекроил он и план Куддуса. Еще не покатавшись на собственном велосипеде, наш дерзкий всадник перескочил на более могучего и громкого коня, с сердцем от семи до четырнадцати лошадиных сил, без коляски, по кличке «Ижевск» или «Ява». Этот конь унес его в Кызылкумы. Конь был в мечтах, а Кызылкумы наяву...

Да будет вам известно, что от Навои до Кызылкумов рукой подать. Навои стоит на пороге пустыни. Между ними лежит Бухара. И Куддус, не останавливаясь, миновал Бухару. Он прошел сквозь город не как паломник, искавший утехи в этой цитадели ислама, а как целеустремленный практический человек двадцатого века, верящий в свои собственные силы и успевший заметить, что под небом этого города имеются мотоциклы обеих марок, и цена их... Но не будем говорить о цене, Куддуса она не смутила, а мы ведь не собираемся покупать мотоцикл.

Впрочем, уже и он не собирается. Он копит деньги на «москвич». Что ему мотоцикл, два колеса, девушка сзади, как багаж, когда он собственными глазами видел, как один щупленький ишан, отмирающее существо с реденькой и седенькой бороденкой, раскатывает на собственном «москвиче», а он, молодой человек, надежда будущего... Нет, это было решено твердо: четыре колеса и девушка рядом.

О, человеческая неудовлетворенность! Ты начал свои шаги по земле пешком, человек, а скоро тебе мало будет ракеты. Ишан начал сразу с того, на чем Куддус пока остановился. Так что времени предстояло решить вопрос, кто кого.

Как видим, биография Куддуса уже имела свою историю. Так всегда бывает, когда жизнь набита событиями, как кошелек монетами. Но монеты можно высыпать и растратить, а события — они остаются с тобой. Какие события, такая и жизнь... Назревали новые события на вышке, где он был выше всех...

Ягана села под фанерным козырьком «лаборатории». Здесь обычно Рая колдовала над раствором, ревниво замеряя его вязкость и удельный вес, потому что глинистый раствор — это кровь буровой. Вместе с трубами он подается под землю, чтобы забить все щели и не дать вырваться ни газу, ни нефти, ни даже воде без команды человека и не по указанному им пути. Хочешь вырваться — вырывайся по трубам. Уходят в невидимую глубь недр трубы, циркулирует раствор из особых, издалека привозимых сортов глины, он то как клей, то как вода, то как резина, в зависимости от пластов, проходимых долотами, их твердости и температуры... Вот так... Рая и следит, чтобы раствор все время был таким, какой нужно... Это очень важно, иначе авария!

Место замерщицы — это также и клуб. Тут можно обсудить все — от международного по-

ложения до поведения начальства, можно всласть покурить и попить чайку. Такое уж это место, особенно когда им заведует Рая.

Обговорили предстоящую работу, поругали монтажников, после которых приходится заделывать «хвосты», но, как водится, настоящий разговор начался, когда уехало начальство.

Сбив на затылок лисью шапку, защищающую от жары, и открыв свое угловатое лицо, казах Пулат, помощник бурильщика, восхищенно сказал о Ягане:

— Женщина! Кино может сниматься. Детей может учить. Не хочет! Давай ей пустыня!

— Она ученая, — с завистью обронила Рая.

Бурильщик Абдуллаев устало заметил:

— Если бы ты учился, Пулат, сидел бы дома в своем колхозе и уже был бы председателем. А ты ленивый, учиться не хочешь. Учись!

— Зачем учись? — засмеялся Пулат. — Учись не надо. Надо много водка пить. В нашем колхозе председатель самый неграмотный.

— А где же грамотные? — спросил Абдуллаев.

— Грамотные все уехали.

— За что же его выбрали председателем?

— Друзья много, водка пьет. Все в порядке.

— Это не порядок, — возразил Абдуллаев.

— Не порядок, — согласился Пулат.

Все знали, что он скучал о колхозе, каждый раз, когда не клеилось дело или им были недовольны, грозил сбежать домой, он любил землю и как-то, отпросившись в больницу, привез из культурной зоны ящик земли и теперь выращивал зеленый лук, к радости Раи, которая заправляла им еду.

Они заспорили о делах колхозных — Абдуллаев, рабочий человек, говорил, что там не хватает дисциплины, а машин много, и поэтому должен быть рабочий порядок, тогда и техника много даст, а Куддус в разговоре не участвовал, он только посматривал на Раю, и Рая чувствовала это, смущалась и все время поправляла косынку.

Шахаб же думал, что у него побывали два крупных начальника — один оставил складной метр, а другой — кусок красной материи, и, докурив, сказал:

— Абдуллаев прав, друзья. Техника может дать больше, чем дает, а это зависит от того, как ее использовать. Не только в колхозе. У нас тоже. Начнем борьбу за звание бригады комтруда?

— Начать давно пора, — сразу согласилась Рая. — Может, хоть ругаться перестанете. То люди как люди, а то запустят... хуже, чем пещерные жители.

— Откуда ты знаешь, как ругались пещерные жители? — спросил Куддус.

— Ладно! — махнул на него Абдуллаев, человек серьезный, отец троих детей, читавший по вечерам при аккумуляторной лампочке техническую литературу. — Помолчи.

— Ты тоже слова пускаешь, «инженер»! — ехидничал Куддус.

— Так речь о всех и идет. — Абдуллаев оправил черные усы. — Как я понимаю, на вышке ругань бывает, потому что громкая техника. Тихо говоришь — не слышно.

— Ругаешься — не слышно, — возразил Пулат. — Тихо говоришь — всегда слышно. Ругаться очень легко. Не ругаться очень трудно.

— Ладно, замолчи, философ, — опять перебил Абдуллаев. — Понято и принято.

— Значит, начали? — обрадовалась Рая.

— Все за одного, один за всех, — внушительно изрек Абдуллаев.

— Это как? — спросил Пулат, который не всегда понимал все сразу.

— А так! — смешливо сказал Куддус. — Один за всех будет ездить в кино по воскресеньям.

— Слыхали! — возмутилась Рая, а буровики засмеялись.

— Не смейтесь! — остановил их Куддус. — С работой мы справимся, а как с культуркой? Бобомирза сегодня молился...

— Я? — удивился самый старый из них, низкорослый, но очень крепкий человек, с лицом, так густо изрезанным морщинками, что казалось, оно все состояло из одних морщин и все время смеялось. Это был дизелист Бобомирза. Просто трудно было придумать из-за этих морщин лицо веселее, чем у него. И сейчас оно лучилось смехом. — Я молился? Что ты, Куддус! Я делал гимнастику!

— Пять раз в день намаз, мировая гимнастика!

— А ты не смейся. — Абдуллаев дал ему подзатыльник.

— Я о чем говорю? Развлечений у Бобомирзы никаких. Водки он не пьет.

— Узбеки раньше никогда не пили, — степенно сказал Бобомирза, — Коран запрещал. Написано, даже водки не было.

— Раз Коран запрещал, значит, была, — заметил Шахаб. — А то зачем запрещать?

Пулат прыснул, а Бобомирза растерялся. Потом с силой стукнул по коленкам.

— Лживая книга! Еще одно подтверждение!

— Радио будем слушать, — не сдавалась Рая. — Новенький на дутаре играет...

И тут все вспомнили про новенького. Где же он?

— Эй, Хиел!

Он укрылся в вагончике и грустил. Далеко остались бухарская квартира дяди, бухарские девчата и бухарские вечера.

В вагоне были широкие деревянные лавки и табуреты с полумягкими прорванными и продавленными сиденьями. Между двумя отсеками помещались кухонная плитка и умывальник. И еще были полки с книгами и журналами и грязные полотенца на гвоздях... Все это становилось и его жизнью.

— Слушай, Хиел, — сказал ему Бобомирза. — Мы тут решаем, чтобы все вместе... И труд и отдых...

— Бригада коммунистического труда? — спросил Хиел, и теперь от них не утаилась его усмешка, совсем не такая, какими только что были полны их собственные речи.

— А что? — спросил Куддус.

— Я не гожусь.

— Почему?

— Я не комсомолец.

— Ну что же... Встанешь на вахту с завязанными руками, отличишься, мы тебя и в комсомол примем.

— Не примете, — мрачно сказал Хиел.

— Скажи-ка! — удивилась Рая. — Что у тебя за причина? А ну!

Хиел все ниже опускал голову, но молчал.

— Хиел, — сказал ему Шахаб. — Тут пустыня. Тут прятаться некуда. Тут мы всё друг про друга знаем. Теперь тебе с нами жить...

Но Хиел поставил пиалу на сиденье, сооруженное из двух досок, поднялся и пошел с вышки, показывая им сгорбленную спину.

5

Ночью, когда все спали, а он сидел на ступеньках вышки и слушал, как возится ветер в пустыне, не в силах остудить ее, к нему приблизился огонек папироски. Это был Шахаб.

— А ну, парень, — сказал он, присаживаясь рядом. — Давай знакомиться... Без молчанки.

— Мне и рассказывать-то нечего, — ответил Хиел. — Два слова.

— Хоть четыре.

— Я внук бая и сын расстрелянного человека, которого считали врагом народа.

— Теперь не считают?

— Нет.

— Ну так все утряслось!

— Мой дед бежал за границу и где-то там и сейчас скитается, если не протянул ноги.

— А ты в глаза его видел?

— Никогда. Если б я его увидел, я бы... Из-за него отца посадили...

— Невеселая песенка.

— А меня из-за деда недавно не приняли в комсомол. Я про него ничего не знал... А они откуда-то узнали...

Хорошо жилось Хиелу... до поры до времени. Умерла мать, которую в колхозе называли дипломированной кетменщицей — так она работала, и Хиел переменил адрес. Он переехал в Бухару к сестре отца, тетушке Джаннат. Вернее, его перевезли. Прощай, поле, прощай, раздолье, прощай, и школа. Дядя отдал его в ФЗО при комбинате, где он сам был начальником цеха ширпотреба, там Хиел и остался работать. Дядя же постарался, чтобы от станка Хиел сел за учетную книгу.

А Хиел заплатил за все черной неблагодарностью!

Его избрали в редколлегию молодежной стенгазеты, потому что он рисует немного, и он изобразил нового начальника цеха Мусулманкулова убегающим от молодежи. Дядя к тому времени уже работал в обкоме. Вы же знаете его — Азиза Хазратова?

Но вот... Вечером после ужина Азиз Хазратович прогнал детей и попросил жену уйти, чтобы наедине поговорить с Хиелом.

— Нельзя плевать в пищу человека, который тебя кормит, — сказал дядя. — Мусулманкулов сделал тебе много добра...

— Он вор! — сказал Хиел.

Рабочие поговаривали, что Мусулманкулов сплавляет бракованную посуду через магазины, зато искусные мастера делают по его заказу бесплатно для начальства и подносы и тарелки. На этих подносах цветы, гранаты, виноград. А для колхозников — голова барана с надписью: «Увеличим поголовье скота».

Все это рассказывал Хиел своему родственнику из обкома и вдруг увидел, что и у них дома на столе лежит новый расписной поднос с гранатами, нарисованными ярко горящей, пламенной краской. Так рисовал в их цехе уста Кудрат.

Говорил, говорил и замолчал...

А дядя стал кричать. Сопляки, мол, критикуют Мусулманкулова. Нападают на старшего товарища, вместо того чтобы у него учиться.

А Хиелу все уже казалось в доме не так. Привезли трубы, чтобы проложить в саду для поливки молодых абрикосов и роз, Хиел стал думать: откуда? Дядя был связан с газовиками, а газ — это трубы... Где еще взять трубы в Бухаре?

Стало ему страшно за тетю, сказал ей, а она заплакала. Тетю понять можно. Она женщина.

— Как ты смеешь! — плакала тетя. — Он тебе заменил отца! Он приласкал тебя своей рукой... Он мой муж, он отец моих детей...

Все, что говорят женщины в таких случаях, она ему сказала.

— Помнишь свою сиротскую жизнь? Хочешь, чтобы и моим детям было так же? А я хочу, чтобы у меня дома был покой!

— Эх, тетушка, — ответил он, — что годится для дома, то не годится для улицы.

— Еще ты будешь учить меня уму-разуму!

— Хватит, тетушка, хватит, — уговаривал он ее. — Я вас послушаюсь...

Но все же он не послушался. На собрании в цехе он выступил против Мусулманкулова, и

пришлось ему из дома уйти в общежитие. Тетушка опять плакала. Как-то она пришла его проведать. У нее были красные глаза, опухли веки, даже голос изменился. Видно, дома была большая перебранка.

— Помирись с ним, вернись домой... Если ты один раз воспользуешься гостеприимством человека, должен тысячу раз посылать ему приветы. Так говорят в народе...

— Я не устану посылать дяде Азизу приветы!

Это прозвучало как угроза.

— А я-то думала, верну тебя домой, успокоюсь, помирю вас, — сказала тетушка. Она ушла, оставив кашгарские серьги — единственный предмет, напоминавший Хиелу о матери. Эти серьги подарил ей отец... Мать никогда их не надевала, в поле выходила без серег...

А скоро Хиела принимали в комсомол и не приняли. Один из подхалимов Мусулманкулова спросил:

— А где твой дед Сурханбай?

— Не знаю.

— У него дед за границей. А он даже не написал...

Вот и все. Хиел сидел, перекладывая из ладони в ладонь кашгарские серьги, вырезанные в виде полумесяца на длинных крючках.

— Н-да, — с усмешкой сказал Шахаб. — хорошенький у тебя дядя! Однако ты молодец!

Шахаб не питал особого почтения к баям. Да и откуда? Детство его началось с того, что он гонял овец на пастбища Бахмала и донашивал одежду старшего брата. Старший брат — он погиб на войне — золотого сердца был человек, старался нарочно порвать или испачкать одежду, чтобы она скорее досталась Шахабу.

Овец они гоняли вместе с ровесником Бардашем. И вот однажды начали падать овцы.

Это было в ту пору, когда баи изо всех сил пытались вредить первым ширкатам, союзам бедноты. Они выпускали воду из арыков, открывая плотины, резали племенных кучкаров, самых сильных баранов, они отправили отару на зимнее пастбище, туда, где росли ядовитые травы... Овцы их не ели и, обессиленные, падали на снег. Страшно вспомнить!..

Виноваты были баи, а били старшего пастуха Шахаба. И он бежал от горя и позора в Бухару, а вместе с ним бежал и Бардаш.

Бухара, Бухара... Многих она манила, да немногих жаловала... Откуда начинался путь к работе? С базара. На базарах Бухары толпилось много народу, жаждавшего получить дело. Шахаб и Бардаш пополнили ряды этих поденщиков. Люд был разный... Одни держали в руках кетмени, серпы, кисти... Это были сельскохозяйственные работники, проще сказать, батраки... Другие — молотки, пилы и теши.

— Ты видел когда-нибудь тешу? У нее острое лезвие насажено, как у кетменя, поперек рукоятки. Это были строители — бинокоры. А мы ничего не держали с Бардашем — мы продавали свои руки.

Прервав рассказ, Шахаб порылся в карманах.

— Куришь?

Хиел взял из пачки Шахаба папироску и затянулся. А Шахаб, шумно выдохнув пахучий дым, продолжал...

Людей без инструментов называли презрительно — хоммол. Это, проще говоря, скот. Последняя профессия. Чаще всего они были носильщиками, тащишками, как тогда пренебрежительно говорили: «Эй, тащишка! Поднеси!» И они носили — ящики и мешки, багаж и покупки. Стоили они дешевле ишака.

И все же они были молодыми и весело смотрели вперед.

Они накопили денег на бурдюки из овечьей кожи и сделались водоносами. Не так уж далеки те времена, когда по Бухаре шныряли водоносы от Ляби-хауза во все концы. Было их превеликое множество, и поэтому все они бедствовали. Стало ясно, что бурдюки лучше продать.

А тут случилось чудо! Биржа набирала грузчиков на станцию Каган. Силы им было не занимать, и они сразу завербовались. Каганский вокзал, такой крошечный, показался им громадным. Через него в пустыню хлынул поток товаров: соль, сахар, рис, уголь, ткани... Все, в чем нуждалась пустыня, привозили для нее на станцию Каган. И все это проходило через руки Шахаба и Бардаша, вернее, побывало на их плечах.

Ящики и мешки грузили из вагонов на спины верблюдов, связывая канатами и укладывая на войлочные подстилки с дырами для горбов.

Приобщились к рабочему классу два юнца и осмелели. Подались в Ташкент...

Ташкент — это не Бухара! Улицы широкие. Бухарские переулки показались тропинками для ишака. В Бухаре был такой принцип: две арбы на улице разъехаться не могли, и дорогу уступал тот, кто хуже одет, а если оба рваные, то младший по возрасту. Он слезал с лошади, брал ее под уздцы и осаживал назад до самого угла... А в Ташкенте! В Ташкенте трамваи ездили и даже женщины на них катались. В Бухаре вечером темно, разве где-то горит-коптит огонек возле мечети... А в Ташкенте! В Ташкенте полыхали фонари на улицах... В Бухаре ничего не ломали, она казалась вечной. А в Ташкенте ломали старые лачуги, строили новые трехэтажные дома, которые казались небоскребами... В Бухаре стирали белье корнями травы ишкор, она давала пену, белую, как снег, а в Ташкенте было мыло...

Они работали на текстильном комбинате, они учились... Денег на лепешку всегда хватало, шурпу, похлебку продавали на улицах, перехватишь миску по дороге в институт и сыт весь день.

И вдруг война.

Правда, его, Шахаба, война застала в армии. Он служил в городе Грозном, где добывают нефть. И после войны он туда вернулся, а кто захочет узнать почему, так поймет, когда познакомится с его женой. Сейчас она живет в Бухаре, рвется в Газабад с дочкой и сыном.

В Грозном он работал на вышке и учился. Там бы ему и жить, если бы не письмо от Бардаша, что на родной бухарской земле нашли газ. Буровые мастера требовались. Вот он и приехал... Газ! Большое дело!

Ничто не располагает так людей друг к другу, как откровенная беседа ночью, да еще в пустыне, где они, кажется, на тысячи верст одни. Нет, не одни, а вдвоем.

— Вот мы и познакомились, — сказал Шахаб.

И мы тоже, читатель, познакомились с теми, чьи руки достанут бухарский газ из таинственных кладовых пустыни.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1

Всякий, кто бывал в Бухаре, слышал о газе и встречался с газодобытчиками. Это не так трудно. Зайди в гостиницу — ни одного свободного номера, а кто в ней живет? Газовики... Ими полон терем-теремок, накрывшийся дряхлой крышей бывшего медресе — одного из многих... Перейди через дорогу, наткнешься либо на штаб разведки, либо на их лабораторию, либо на табличку треста Бухаранефтегаз, где заседает сам товарищ Надиров... Весьма вероятно, что когда-нибудь ее заменит мемориальная доска, потому что для треста уже строится новое здание... Бетон, стекло...

А всякий ли встречал в Бухаре Халима-ишана?

Мы с вами столкнулись с ним, когда газопроводчики Анисимова рассматривали минарет Калян. Видел и Куддус, как Халим-ишан, хлопнув дверцей, укатил куда-то на своем сверкающем «москвиче». Так что, если присмотреться к жизни повнимательней, окажется, что Халим-ишан — профессор-муддарис и шейх, почти святой человек, фигура, мелькающая то тут, то там...

Сев в «москвич», Халим-ишан не уехал в прошлое. Представьте себе, он помчался той же дорогой, которую проложили газовики, но мысли у него были в это ясное утро одна мрачнее другой...

Прежде чем маленький автомобиль растворился в песках, таких же серых, как он сам, слева и справа проплыли странные сухие овраги. Весной они бывают пушистыми и зелеными, все в траве и цветах. Ветры, гуляющие по ним, клонят траву, качают цветы. Иногда, заблудившись, ветры начинают спорить друг с другом, и тогда, ничего не щадя, затевают такую драку, что трава с корнями летит в воздух, камни поднимаются со дна оврагов и, сшибаясь, высекают искры, как молнии. Конец цветам...

Всем известно, что овраги рождает вода. Она их протачивает и углубляет, она их роет с неустанностью самого усердного землекопа, но здесь никогда не было воды. Даже зимние снега таяли тут, проваливаясь в преисподнюю и не оставляя лужицы на дне ущелий. Животноводы, которые пригоняли сюда отары с надеждой напоить их, теряли скот. Землепашцы не приближались к скупой и странной местности на десятки верст.

Она лежала сморщенная, как скорлупа ореха, эта земля. Она словно была побита черной оспой.

И только аллах мог ответить почему. Не желающий ничего знать о тектонических сдвигах земной коры, аллах говорил: «Здесь двери ада. Мусульмане, не делающие преподношений мечетям, уйдут туда и будут жариться там весь свой загробный век».

Это говорила им религия устами многих таких святых прохвостов, как Халим-ишан...

Не было и нет на земле религии более жестокой, чем ислам. Кто не верил Халиму-ишану и его «двойникам», тех казнили: ставили у стен и обрушивали на них эти стены, бросали с башен, сжигали. Потом не у кого было спросить, верно ли, что дорога в ад ведет через знакомые овраги: грешники молчали. А Халим-ишан продолжал говорить и складывать в сундуки добро... Ибо не было религии и более жадной, чем ислам. В дом ишана вели баранов, несли рис, изюм и деньги. А таких домов было много...

Счастливая Бухара лежала, как чистилище, на границе ада и рая, и грешники откупались у порога своих мучений, как могли. Счастливая Бухара! Для ишана счастливая...

Вот об этом-то он сейчас и думал, поглядывая на вышки буровиков. Вокруг оврагов тоже искали газ. Проходят счастливые времена...

Ишан включил радиоприемник в «москвиче». Из Ташкента передавали выступление ансамбля «Бахор», девушки пели веселые весенние песни, и Халим-ишан, теребя реденькую бородку, начал в лад музыке, не разжимая губ, издавать гортанные звуки, подпевая девушкам.

Шофер его, немолодой правоверный, обросший густыми черными волосами, как индус, молчал, не меняя сосредоточенного выражения лица. Ишан мог сердиться, мог спать, мог петь — его дело было вести машину.

А ишан все скрипел, изредка тяжело вздыхая. Потому что вышек вокруг было уж очень

много. И становилось все больше и больше... Эти вышки не давали ишану покоя.

Сказано было давно: адский огонь скрывается под раскаленными песками пустыни. И что же? Адский огонь придет теперь в дома горожан и — страшно подумать — в кишлачные кибитки, и на нем будут варить плов и греть воду.

На какое-то время ишану удалось убедить верующих, что приближается светопреставление. Рай и ад были рядом с Бухарой, но чем больше удалялись мусульмане от веры, тем дальше оказывался рай, ад же приближался. Вот-вот его огонь ворвется в их дома. Что оставалось делать? Надо было задабривать аллаха и всех святых пророков через руки ишана, чтобы огонь, ворвавшись, все же не сжег ни домов, ни людей.

И верующие опять несли ишану дары.

Так газ, еще не пришедший в Бухару, уже работал на ишана. Это, я вам скажу, хитрейшая бестия! Может быть, потому он все же чувствовал, что и у него под ногами земля если еще не горела, то дымилась... Молодежь смеялась над словами стариков, что газ превратит их в шкварки. Молодежь верила себе. А молодежи, как известно, на земле всегда больше, чем стариков.

Ехали навстречу солнцу, но при его ярком свете вдали скоро засеребрился серп луны. Чем быстрее катилась машина, тем быстрее катилась к ней и луна. Дорога уже давно стала трудной, «москвич» шнырял по верблюжьей колючке, и серп то исчезал, то появлялся снова, а когда остановились, то и он повис совсем неподалеку...

Он был выбит из жести и нацеплен на флаг, высоко поднятый над каменной оградой, окружавшей могилу святого. Если правду сказать, то не весь святой, а только голова его покоилась здесь, и то по словам Халима-ишана...

Флаг поднимался на высоком и толстом шесте, обвязанном цветными тряпочками. Каждый, кто приходил сюда, оставлял свой знак. Тряпочек было много... Халим-ишан остался доволен, это значило, что его люди, стерегущие могилу святого, наполнили кувшины монетами...

За мазаром виднелась кое-какая зелень. Нелегких трудов стоило развести ее. Три-четыре акации, изламываясь от натуги, все же тянулись вверх, чуть выше глиняного дувала. Закопченный дымоход тандыра, в котором пекут лепешки, темнел над крышей, а окон видно не было, как и полагается в мусульманском доме, все окна и двери которого выходят в глухие дворы.

У ишана были в Бухаре и дом и сад, но преданность святым делам требовала, чтобы ему и здесь построили крышу. И верующие постарались. Ишан мог при нужде коротать здесь дни и ночи с женой и дочерью своей Оджизой.

Святая обитель показалась ему надежной, как крепость. Он вылез из машины. И состояние его духа несколько улучшилось. Но тут же, увидев газик за забором, с досадой крякнул.

Из-под газика торчали чьи-то ноги в желтых тупоносых ботинках, а сам газик был такой же серый, как и «москвич». Пустыня все красит в один цвет.

Халим-ишан приблизился и обомлел. Задранный капот газика опустился, и ему открылось лицо старого знакомого — Бардаша Дадашева.

Халим-ишан церемонно прижал руку к сердцу и поклонился.

— Вы приехали на паломничество?

— У нас не паломничество, а поломка, — засмеялся Бардаш.

— Кто там? — крикнул из-под машины тонкий голос. — Шофер?

— Нет, ишан, — ответил ему Бардаш. — Может быть, он тебе поможет?

Чумазая голова парня, обсыпанная песком, вылезла наружу. На ишана он не обратил внимания, а шоферу, загонявшему «москвич» во двор, крикнул:

— Эй, дружок! Помоги!

Тот не ответил, отмахнувшись.

— Как иностранцы, — зло сказал парень. — Даже не разговаривают.

Вся стена у мазара обросла шалашами, сооруженными на скорую руку и кое-как защищавшими людей от солнца. До приезда ишана паломники занимались кто чем. Одни жевали лепешки, другие спали, третьи ощипывали ку́р, готовясь к обеду. Сейчас они все повскакали, выползли на свет, каждый старался коснуться хоть кончиками пальцев одежды ишана. Много было больных.

— А вы все обманываете несчастных? — спросил Бардаш ишана.

— Я им помогаю.

— Вы их обираете.

Главным источником его доходов был колодец, тоже обнесенный камнями и накрытый тяжелой железной крышкой с замком. Больные ждали ишана, чтобы искупаться в колодце.

— Мирза! — крикнул ишан. — Подойди сюда!

Быстрый человек в рубище, один из подручных ишана, протиснулся сквозь толпу больных и оказался перед ишаном и Бардашем.

— Покажи свое тело.

Мирза мгновенно выполнил приказ, сдернув с себя рваный халат и уронив его на песок. По коже его ползли рубцы зажывших язв. Вздох облегчения, изумления, почтения раздался вокруг.

— Я ходил ко всем врачам, мне давали всякие мази, ничего не помогало, — привычно сказал Мирза. — Только купание в святом колодце у могилы Ходжи Убони спасло меня.

Он вертел корпусом, показываясь всем, как в демонстрационном зале.

— Во-первых, — сказал Бардаш, — никакой могилы святого Ходжи Убони здесь нет. Во-вторых, он даже и не святой...

Толпа настороженно загудела.

— Больше тысячи лет назад Ходжа Убони прибыл на нашу землю для распространения ислама... И утопил Бухару в крови. Как может быть святым такой головорез?

Его усмешка не очень понравилась людям.

— Ты не задевай Ходжу Убони!

— Если вы так хотите, — сказал Бардаш, смеясь, — можете поклоняться палачам наших предков, но пусть Халим-ишан скажет, что могила Ходжи Убони совсем в другом месте.

— Да, — подтвердил Халим-ишан, — разбойники отрубили голову Ходже Убони, и тело его похоронено в одном месте, голова здесь, а душа вознеслась на небо.

— Сынок, — сказал тихим голосом тощий, едва живой старик, дотрагиваясь пальцами до спины Мирзы. — Но он вылечился!

— Да, дедушка, — согласился Бардаш. — Он вылечился.

И теперь гул вокруг него стал одобрительным. В конце концов что им за дело до того, что творилось больше тысячи лет тому назад, когда рядом стояло живое подтверждение чуда.

— Он вылечился, — продолжал Бардаш, — потому что в этой воде есть примесь серы... Вы знаете, что в нашей пустыне нашли газ. А где газ, там сера... А серой лечат... Это минеральная вода. Киньте в колодец спичку — пойдут гулять мотыльки огня.

Это все знали, поэтому и мазар назывался Огненным.

— А создал его самый гениальный творец. Природа, дедушка.

Старик согласно кивал трясущейся головой на такой тонкой шее, что она, казалось, вот-вот переломится, а потом сказал:

— Все на свете создал аллах. Природу тоже.

— Преданные душой да исцелятся! — подхватил Халим-ишан и удалился.

Вот ведь как вывернулся, черт! А кто не исцелится, тот, значит, душой не предан аллаху.

— Вот вам говорят, что газ — это огонь ада, — сказал Бардаш. — А я грешник, правда? Я не верю ни аллаху, ни Халиму-ишану, ни Ходже Убони, никому. Алишер! Дай-ка мне баллон.

Алишер вынул из газика металлический баллон.

— Смотрите. — Бардаш зажег спичку, открыл краник на изогнутой трубке, и синий лепесток газового пламени послушно забился на ее кончике. — Эй, парень! Давай свою курицу!

Всем было интересно. Рослый парень поднес только что ощипанную курицу, и Бардаш ловко опалил ее в одну минуту.

— Ну? — засмеялся он. — Почему же я, грешный, не сгораю? Хочу — пущу больше, хочу — меньше. Несите все своих кур.

Он опалил с десяток кур, а потом еще вскипятил чай в кумгане.

— Я кудесник! А? Но это неправда. Никакого чуда нет. Это газ. Просто он горит очень жарко, с ним станет удобно жить.

Дед изумленно качал головой на тонкой шее.

Передавая пиалы друг другу, люди пробовали чай из кумгана, сваренный на адском огне.

— Аллах уже покарал тебя, — сказал Мирза, натягивая халат. — У тебя сломалась машина.

— Да, — тяжко вздохнул Алишер. — Что правда, то правда. Что же будем делать, товарищ Дадашев? Передняя тяга отказала. И чиниться негде. Пустыня. Плохо дело.

Бардаш и сам это знал. Дальше дорога была все хуже и хуже.

— Вернемся? — с надеждой спросил Алишер.

— Надо ехать вперед. Хочешь, я сяду за руль?

— Не ваше дело, — сказал Алишер.

Верующие исступленно молились в отдалении.

Бардаш долго думал о них. Он знал с добрую дюжину мазаров святого Сулеймана и не меньше двадцати мазаров святого Али. Если бы собрать все мощи, объявленные святыми, их хватило бы на целую роту Сулейманов и Али. И всюду стояли шесты с медными полумесяцами и конскими хвостами, обозначающими святость места. И всюду ишаны и муллы обманывали самых стойких верующих, которые еще кочевали от мазара к мазару.

Мекка была далеко, так далеко, что и во сне не снилась, а эти места близко. Раз верующие не шли в Мекку, святые наступали на верующих своими могилами.

Духовенство наловчилось фокусничать... Стоит вспомнить хотя бы святого Дукчи из Мархамата... Изобретательный ишан окружил себя слугами, которые имели свои тайные клички: Овца, Коза, Курица, Верблюд, Деньги... Слуги встречали верующих во дворе, принимали у них приношения, а потом вводили в дом к ишану, и в зависимости от того, кто вводил верующего, ишан говорил пришельцу:

— Спасибо за козу.

И пораженный его провидением набожный паломник падал на пол.

Дукчи имел огромное влияние на народ. Он поднял мусульман против царских солдат и повел их на Андижанскую крепость с одними палками в руках. «Палки будут стрелять!» — сказал чудотворец. Но палки не стреляли, восстание было подавлено солдатами...

Ишан Дукчи был, по крайней мере, фанатиком, а вот Халим-ишан! Этот, конечно, сам не верил в аллаха, а наживался, как мог. Безбожно наживался...

Что же, может быть, газ обожжет ему пятки?

В пустыне, ровной, как скатерть, уже тянулись к небу «чинары»... В ее жарких объятиях они не задыхались. Это были буровые вышки, которым про себя Бардаш дал такое ласковое прозвище. «Чинары» росли и росли на глазах...

2

Алишер считал, что ему не повезло.

Когда он сразу после автошколы поступил на работу в гараж обкома, никто не сомневался, что он будет ездить на черной «Волге» и вытирать тряпочкой ее зеркальное стекло, отражающее новостройки Бухары. А вместо этого ему попался какой-то инструктор и — пожалуйте в пустыню. На газике.

Да и газик-то затасканный. Передняя тяга полетела! А езжай! Интересная жизнь!

— Вот так поедешь и увидишь страсти-мордасти, — сказал Бардаш. — Не перевелись еще темные люди.

— Думаете, в Бухаре их мало? — спросил Алишер.

— Все же меньше, чем в кишлаках.

Алишер ухмыльнулся.

— У меня скоро братишка женится. Приходите на свадьбу. У них обязательно мулла будет.

— Родной братишка?

— Двоюродный.

— Верующий?

— Что вы! Родители требуют. Иначе не согласны. А он студент. Приходите. Будете почетным гостем. Может, и мулла сбежит, вот молодые обрадуются. А то невеста плачет, парень руки опустил, а родители не согласны без муллы и денег на свадьбу не дают. Придете?

— Если пригласят.

Алишер правил и косил узким глазом на Бардаша, — похоже, начальник у него ничего, вот только машина барахло... Ну, попотеем и пересядем на «Волгу», не все сразу...

Дорога терялась в верблюжьей колючке. Песок скрипел под колесами, казалось, насквозь пронзая резиновые покрышки! Не хватает еще, чтобы спустил скат. Покукуешь. Мелкие камушки с треском бились о днище. Иногда попадалась равнина, вся изрытая гусеницами тракторов. Глубокие колеи, песчаные насыпи... Заскочи на такую насыпь — и повиснешь, пойдут колеса крутиться вхолостую. Попади в колею — провалишься и не вылезешь, хоть зарывай. Да и зарывать не надо — сам себя зароешь. Стоит тормознуть, как окутывает вихрями песка и пыли, летящими из-под колес. Начальнику что! Он к жене едет. У него тут где-то жена... А ему, Алишеру, за что такие страдания?

А Бардаш ехал и думал о том, что вот где-то здесь пророет Анисимов свои траншеи газопровода, сварит трубы в бесконечную нить, по которой газ пролетит до Бухары, до Самарканда, до Ташкента и дальше, во все концы, возможно, очень далеко... На юг, на восток, на север... В пустыне появятся домики газообходчиков, так же как домики дорожных мастеров у шоссейных магистралей. И шоссе, наверно, пролягут. Будут ехать молодые узбеки на мотоциклах вдоль трассы газопровода, смотреть на контрольные манометры. Будут компрессоры подстегивать в трубах газ, устающий за сотни и тысячи километров пути... Будет где-то инженер сидеть у пульта, регулируя расход голубого топлива... Будут верблюды натыкаться на странные растения в пустыне — серебристые заглушки с манометрами. Вот что останется от буровых вышек...

О многом думал Бардаш. И о Ягане. И об Алишере. Забавный паренек. Сердитый. Сидит, чего-то дуется. А упрямый. Обмотал пораненные руки тряпками, а руль не отдает. Ну пусть закаляется...

Вдруг машина ухнула вниз и взревела. Газуй, Алишер, газуй. Эх, передней тяги нет!

— Я же говорил! — злорадно проворчал Алишер.

— Давай лопату.

— Сейчас посмотрю, взял ли...

— Другой раз смотри до выезда.

— Я нанимался не в пустыне работать.

— Ты работаешь в обкоме, а у обкома никаких границ нет. Сегодня в городе, завтра в пустыне, послезавтра в кишлаке... Нашел лопату? Давай сюда!

Но Алишер уже начал отрывать колеса, а Бардаш, разгребая ногами песок, пошел искать доску или палку, чтобы подложить под машину. Пустыня была теперь не такой голой. Люди обживали ее, а значит, потихоньку и захламляли. Там валялись железки, там доски от разбитого ящика, там хворост... Пока Алишер орудовал лопатой, Бардаш набрал кое-чего, а вернувшись к машине, увидел, что к ним идут люди от ближайшей буровой.

Их вел мастер, бывший подчиненный Бардаша. Увидел сверху. Ребята выталкивали газик, а они присели, заговорили.

— Ну как? — спросил Бардаш.

— Ноль.

— Ягана Ярашевна давно была?

— Вчера.

— Много вышек поставили на глубокое бурение?

— Четыре, кажется.

Бардаш закурил, положив пачку рядом с собой на песок. Мастер закурил тоже. Спичку зажгли от песка, сидели на скинутых куртках.

— Цементу мало, — сказал мастер.

— Видишь, какие дороги. Цемент подвозят тележками, трубы тоже. Тракторы... Три-четыре рейса и — в ремонт, сам знаешь. А предпочтение все же оказывается разведке. И правильно.

— Правильно, считаете?

Бардаш промолчал. С одной стороны, он не мог поощрять затеи Надирова, с другой — нельзя было расхолаживать людей. Две недели он толкался в штабе разведчиков, изучал данные, торопил, спорил, чтобы приехать в пустыню вооруженным. Но у них на все был резонный ответ:

— Поспешишь — людей насмешишь.

Когда речь шла о подземных процессах, люди были осторожны. Земля не раскрывала своих секретов сразу...

Машина Алишера уже стояла на твердом месте, на горке, а сам он щедро раздавал ребятам сигареты. Все дымили. В знойном воздухе сигаретные затяжки казались даже прохладными.

— Возьми с собой все доски, — велел Бардаш.

— Э! — сказал Алишер лихо, но дощечки покидал в машину.

Однако их подстерегала другая беда. Через полчаса от напряжения запарил, забулькал радиатор. Алишер устало лег головой на руль. Рано парень сдался. Бардаш толкнул дверцу...

Вышка, маячившая впереди, оказалась вышкой разведки. Едва Бардаш добрел до нее, как услышал сзади знакомый гул мотора. Устыдившись, Алишер догнал, дотянул за ним. Вода в радиаторе клокотала.

— А вот это уж ни к чему, — строго сказал Бардаш. — Запорешь машину. Это я запрещаю.

— Майли, — сказал Алишер и пошел просить воды.

А Бардаш заговорил с разведчиком.

Молодой башкир — тут, в разведке, было много башкиров и азербайджанцев, на земле которых буровые давно уже расселились, как дома, — прежде чем рассказать, вынул блокнот, открыл и, положив на коленку, нарисовал волнистую линию, уходящую по диагонали вверх, а под ней вторую такую же. Пространство между ними он быстро заштриховал. Это был глинистый раздел. Он всползал по листу горбами. Видимо, мастер привык, что многим начальникам дело приходилось объяснять с первой буквы, как азбуку.

— Вот как ловушки-то располагаются, — сказал башкир. — Газ уходит в те коллекторы, что повыше... Это ведь газ!

— Я знаю, — похлопал ладонью по его коленке Бардаш.

Он и раньше видел эту схему у разведчиков. Вода создавала давление, и газ путешествовал из коллектора в коллектор, газ уходил. Возможно, он собирался под самым верхним куполом, а возможно, уходил и в разломы, если вода или землетрясения разрушали подземные газохранилища. Где он собрался?

— Значит, можно идти вглубь, а найти шиш? — спросил Бардаш.

— Факт, — сказал башкир.

Там, внизу, лежал, как стальная плита, изверженный палеозой, непроницаемое дно, газ не мог провалиться, но он ускользал... Окружать, искать, искать умно, последовательно, а не играть в жмурки... Бардаш поднялся, потому что Алишер уже долил воды.

Девушки в спортивных костюмах в обтяжечку, сидя под фанерным навесом, заливали парафином керны — цилиндрики вынутой из глубин породы, готовили для отправки в лабораторию. Бардаш попрощался и с ними.

Девушки улыбнулись и помахали руками, очень бережно положив керны на стол. Порода должна была прийти в лабораторию в своей первозданной целостности, запечатанная в парафин, как мороженое эскимо в шоколад. Химикаты и чуткие щупальца умных приборов заставляли керны рассказывать о том, чего не видели люди с поверхности земли. Керны выдавали тайны потревоженных глубин.

— Проклятая работа! — сказал Алишер.

— Ты про них или про себя?

— Вообще.

— Поживем — привыкнешь.

Алишер испугался.

— Что значит — поживем, Бардаш Дадашевич? Когда мы вернемся?

— Не знаю, — ответил Бардаш. — Будем жить, сколько надо. Тут дела складываются не лучшим образом, а товарищей в беде оставлять нельзя. Как ты считаешь, Алишер? В пустыне за сто верст идут на огонек, — может быть, кому-то нужно помочь.

Это верно... Здесь, где пространства было много, людские отношения становились теснее.

— Ну дня три-четыре проживем? — добивался своего Алишер.

— Может быть, и три-четыре недели.

— Ого! — не сдержался Алишер. — На такое я не нанимался!

— А люди?

— А люди добавку получают. Пятьдесят процентов за пустыню, сорок пять полевых...

Пока башкир рисовал Бардашу разрез пластов, у Алишера была своя беседа с народом.

— Командировочные получишь.

— Я на свадьбу опоздаю!

Навстречу им, отчаянно ревя, перла цистерна с надписью «Молоко». В таких возили сюда воду, и Бардаш вспомнил, как буровики шутили, что пока довезут воду, она становится дороже молока. Он махнул рукой, цистерна остановилась.

— Давай слезай, — серьезно сказал Бардаш Алишеру. — Я не знаю, когда вернусь. Может быть, и через два месяца. Он едет в Бухару, доберешься.

Алишер посмотрел на Бардаша раздраженными, красными от песка глазами. Бардаш ждал. И шофер цистерны ждал, понимая, что в газике что-то происходит, требующее его терпения.

— Ну, поехал, поехал! — высунувшись, крикнул ему Алишер.

Остальную часть дороги они молчали.

«Ну и парень мне достался! — думал Бардаш. — Молодой, а ворчит, как старая баба! Странный какой-то парень...»

«Попал я в переделку, — думал Алишер. — Расскажешь ребятам, какая в обкоме работа, засмеют! Странный какой-то начальник!»

Над песками приподнялись крыши Газабада...

Их было уже немало. Облепляя тот, самый первый, надировский «особняк», они выстраивались в порядок, образуя улицы, вдоль которых протянутся асфальтированные тротуары, и площади, посередине которых захлещут фонтаны в круглых бетонированных бассейнах. И будут дети перепрыгивать через бетонные стенки и плескаться в бассейнах, а сварливый голос строгой тетки кричать им:

— Кыш! А ну, уходите! Уходите!

Детей почему-то всегда гонят от воды.

Подумав об этом, Бардаш захотел умыться. Лицо его было мокрым от пота и облепленным песчаной пылью. А сейчас он увидит Ягану... Не очень-то приятно вырасти перед ней в таком виде. Это Алишеру впору демонстрировать свой героизм...

Кстати, Алишер набрал в запас полную канистру воды.

— Алишер! Умоемся, — коротко сказал Бардаш.

Когда час не разговариваешь, это звучит как примирение.

Бардаш сдернул рубаху и подставил ладони под горлышко канистры, которую уже опрокинул над ними Алишер. Вода приятно потекла меж сухих пальцев. Он плеснул ее на лицо, потом на спину. Хорошо! Что за чудо — вода! Что за счастье, когда в этом пекле есть вода!

— Эй, эй! — остановил его наизлейший голос изо всех, какие он когда-нибудь слышал.

Пожалуйста! Не только детей гонят от воды.

Из барака вышла толстая женщина в белом колпаке и фартуке повара. Бардаш ее не знал. И она не знала Бардаша. Две недели прошло, а как будто бы целый век.

— Вы что это нарушаете закон поселка? — крикнула женщина. — Ах вы!

— В чем дело? — мирно спросил Бардаш. — Какой закон?

— Умываться разрешено только над саженцами. Конечно, без мыла! — грозно сказала женщина. — Сюда!

Она властно махнула рукой, и Бардаш и Алишер покорно перешли к прутику, торчащему из песка. Над ним и умылись.

— Вот так! — сказала женщина. — К кому приехали-то?

Подумать только, его уже встречали, как чужого!

Бардаш вытирался носовым платком, когда в уши ударил плотный и свирепый гудок. Женщина растерянно заморгала глазами. Алишер тоже не мог понять, в чем дело. Весь воздух заколыхался, стал одним нарастающим гудением. Гудело все громче и громче...

— Что это? — тревожно крикнул Алишер, опуская канистру к ногам.

Они не понимали, а Бардаш знал, что это. Это из какой-то скважины ударил газ. Он гудел, он ревел, как будто всему миру хотел заявить о себе. Постепенно его гудение начало стихать, оставляя звон в ушах. Хорошо... Значит, газом управляли. Стихия подчинялась руке человека. На вышке закрывали превенторы...

Когда они подкатили к конторе, возле нее толпился народ и стоял радостный шум. С Бардашем начали здороваться — ведь это были все свои люди.

Он вошел в длинную комнату с письменным столом и графиками работ на стенах и увидел Ягану. Она еще держала телефонную трубку в руке. Ягана была сейчас самой счастливой женщиной на свете, глаза ее, лицо ее были полны счастья, и, как после самой долгой разлуки, взволнованно и обрадованно она крикнула:

— Бардаш!

Она не скрывала и того, что рада была видеть его сейчас.

— Где? — спросил он, остановившись в нескольких шагах от стола.

— У Шахаба!

— Это он звонил?

— Да!

Все ее слова были еще не словами, а восклицаниями, и в глазах сиял восторг. Газ, газ, газ пошел! С улицы долетало «ура!».

— Судя по всему, очень высокое давление, — сказал он, садясь на табуретку.

— Ну конечно! — воскликнула она. — Вы понимаете? Успех! Большой успех, Бардаш!

— Это еще хуже, — сказал он.

— Почему? — не поняла она.

— Теперь Надиров развернется вовсю... А как можно опираться на случайный успех? Я боюсь...

Ничего страшнее для нее он сказать не мог, глаза ее потухли, как тухнут прожекторы, — они стали безжизненными.

«Вы завидуете Надирову!» — хотела сказать она, но только бросила трубку на рычаг телефона и обронила:

— Ах, вот как!

Все же и она рисковала... Она старалась для него, а не для Надирова. Мог бы и поздравить.

3

Во всех газетах писали о газовом фонтане Шахаба. Азиз Хазратов выступил по радио.

А Бардаш не ехал... Видимо, боялся показаться на глаза. Более того, он прислал письмо прямо на имя Сарварова, в котором говорил, что вся эта шумиха преждевременна и не принесет ничего, кроме вреда... Он даже написал — постыдная шумиха. И это про событие, которое позволяло мобилизовать все силы...

Хазратов вслух усомнился, может ли Дадашев работать в обкоме. Ему явно не хватало политического чутья...

Между тем другие скважины не давали газа, а в первой давление падало с каждым днем. Хазратов умолк. В коридорах треста тоже наступила тишина... Надиров вылетел в Газабад.

Еще в дороге, точнее, в воздухе, он понял, что́ надо делать. Требовалось решительно расширить фронт работ. Если хочешь поймать зверя, нельзя только бежать и бежать за ним по следу, надо было окружать, охватывать большие площади... Нельзя дать пошатнуться внезапно и ярко вспыхнувшей славе, потому что слава сама по себе ничего не стоила, она помогала делу...

От кишлака к кишлаку перебегали деревья тутовника, и от кишлака к кишлаку, петляя по пескам, тянулась река жизни — Зеравшан. Где-то у нее не хватило сил бежать вдогонку, и она ушла из-под вертолета, оставив его сиротливую тень одиноко скользить по пескам...

Да, да... Больше вышек, больше скважин... Вышки, показавшиеся внизу, редкой цепью шли в атаку на сильного невидимого противника... Надиров летел над песками, как полководец. Больше вышек! Телеграммы в Ташкент, телеграммы в Москву. Он-то хорошо знал, что́ сейчас его будет сдерживать...

Не Бардаш, даже не Сарваров, даже не пустые пески...

Верно говорил этот медведь Шахаб Мансуров, что вышка — труба... Трубы уходили в землю на расстояние в пять и шесть раз больше того, которое отделяло сейчас вертолет от песков. Трубы подавали вглубь глинистый раствор. Когда скважина была готова, в нее опускали длинную колонну обсадных труб, которые оставались в теле планеты навсегда, на всю жизнь скважины, защищая ее бока от всяческих непредусмотренных бед и выводя на поверхность найденный и отвоеванный у природы клад. Да что толковать! Даже столбы для электрических и телефонных линий нарезали из труб. Вгонишь такие стойки в песок, навесишь провода, и готово дело. Перекладинки для изоляторов и подножек, по которым забирались монтеры, приваривали тоже из кусочков труб малого диаметра.

Вышка — это труба, и образно и натурально. А где трубу раздобыть? Для широкого фронта работ нужны были тысячи километров разных труб. И еще глина. Ее возили из Кунграда, из Таджикистана.

Мозг Надирова лихорадочно работал. И как ни грандиозна была задача, он почувствовал себя увереннее. Он любил принимать решения и реализации их отдавал себя целиком. Хуже всего, когда не было решения. Все в нем тогда натягивалось, как тетива лука. Вот это было мучительно, как всякая неизвестность, а теперь он знал, в чем спасение.

Правда, еще не ясно было, где раздобыть такое неслыханное количество труб, так же нужных ему сейчас, как тяжелая артиллерия командующему войсками, нацеленными для главного удара, но он вез обещание... Личное, его, Надирова, обещание, которое должно было воодушевить людей.

Не застав никого в конторе, он подосадовал, что слова, приготовленные им в пути, не сказаны, и тут же распорядился созвать начальников участков, буровых мастеров, разыскать и немедленно доставить на вертолете директора конторы бурения Дадашеву, а заодно известить о предстоящем разговоре инструктора обкома Дадашева, раз уж он был где-то поблизости...

А пустыня распорядилась по-своему... Небо потемнело, и на горизонте встала серая стена. Она быстро росла. Люди Газабада почувствовали приближение бури, сразу словно бы померкло в глазах.

Шоферы подкладывали камни под колеса машин, сбившихся на окраине, как стадо испуганных животных. Где-то раскопали тросы с якорями и поставили вертолет на растяжки, как буровую вышку, не то его могло унести, словно козявку.

Ветер передвигал и поднимал пески... Ничто их не держало. Ни дерево, ни стена... Пески текут туда, куда их гонит ветер. Они текут, как вода, но быстрее воды, потому что они уже не текут, а летят. На земле и в небе песок.

Дождей тут не бывает, но песчаные тучи проносятся над пустыней, осыпая ее градом камней...

Бардаша ураган застиг на вышке Шахаба.

Едва подъехав, он увидел, что люди носятся вокруг буровой, что-то укрепляя, все, как на подбор, в красных выгоревших косынках, ни дать ни взять пираты или разбойники. Кое-кто из ребят пугливо сдернул косынки, когда Бардаш вспрыгнул с машины и начал деловито помогать людям. В такую минуту нет начальников и подчиненных, а есть лишние руки. И Алишер, привыкший за это время к испытаниям, увел газик в затишок и начал крепить подпорками из труб. Сильный порыв ветра вдруг сдернул с него замечательную рябую кепочку, на-

тянутую до ушей, поднял, как детского змея без нитки, высоко-высоко, и вмиг она растаяла, словно птица. Алишер некоторое время бежал по песку в надежде, что птица-кепка упадет в его руки, но ее и след простыл. Куддус засмеялся на буровой.

Бардаш подумал: какие молодцы ребята, что сообразили работать в косынках, туго перехватывающих лбы и затянутых в узлы на затылках с двумя забавными хвостиками. И чего стесняются, сдергивают? Боятся походить на барышень?

По дороге к вагончику он понял, в чем дело, и расхохотался. На вагончике висел крепко прибитый планками плакат: «МЫБОРЕМСЯ ЗА ЗВАНИЕБРИГАДЫКОМТРУДА». Слова на красном клочке материи были написаны экономно, без просвета. И Бардаш догадался, что половина сатинчика ушла на косынки.

Всю ночь секло по стенам вагона, всю ночь гудело и выло в воздухе, а они курили и разговаривали. Они все время были настороже, ожидая любой беды, но, как водится среди людей, для которых опасность стала привычной, еще и вспоминали о чем-то и шутили.

— Ну прекрасно, Шахаб! Из-за этого ветра просижу я у тебя на вышке до зимы! — радовался Бардаш.

— А ты еще человек, если приехал в пустыню поговорить с другом.

— А кем же я, по-твоему, должен стать? «Еще человек», — не без обиды передразнил Бардаш.

— Большим начальником.

Бардаш шутливо замахнулся на Шахаба. Но вместо того чтобы тузить друг друга, они обнялись.

Что бы ни случилось в жизни, они оставались друзьями. Как бы высоко ни вознесла одного судьба, как бы вдруг — ведь все бывает нечаянно — ни уронила другого, они оставались друзьями. Далеко ли, близко ли, они оставались друзьями. И как это нужно людям..

— Ну, герой! Ты доволен своим успехом?

— Нет. Да и какой успех, — печально сказал Шахаб. — В газетах?

— Что же дальше?

— Останови Надирова. Ты же можешь теперь это сделать?

— Не знаю. Со мной могут не посчитаться.

— Почему?

— Я молодой. Новенький.

— Не могу понять, — сказал Шахаб, — нужен газ или нужен шум? Когда это кончится!

— Ты почему молчишь о Ягане? — спросил Бардаш.

— А ты чего меня о ней спрашиваешь? Это я должен тебя спросить... Что у вас там стряслось? Неужели еще не помирились?

— Нет.

— Ого! Может быть, ты приехал, чтобы я вас помирил?

— Я приехал к другу.

— Удивляет меня Ягана. Ну у Надирова привычка — вперед, вперед, усеем телами дорогу к победе!

— Ты не смейся. Он и сам готов умереть.

— Ну, насчет тел я преувеличиваю, а деньгами-то он Кызылкумы усеет так, что самый дешевый газ станет дороже угля. Нет, Бардаш, хочешь, я приеду с тобой в обком и скажу кому угодно, что втемную бурить нельзя. Это глупо.

— Ну, а Ягана? Она глупая?

— Ягана дала себя втянуть...

— Нет, тут сложней, Шахаб! Люди торопят будущее, смотрят далеко вперед.

— Может быть, оттого мы и не видим непорядков под носом, — грустно пошутил Шахаб.

Ветер насвистывал, подныривая под вагон, злился, пытаясь сдвинуть его с места, а раз не удавалось, то норовил засыпать, окатывая волнами песка.

Бардаш думал о Ягане: а где она сейчас? Она пошла за ним в пустыню, и среди этого визга и грохота проходит ее жизнь, год за годом... А тут еще его назначение в обком! Он стал представлять себе, как она просыпается без него, как умывается над прутиком будущей чинары, как, прикрывая глаза руками, идет сейчас сквозь песчаный поток, тревожась обо всех разбросанных по пустыне буровиках и горюя, что не в силах остановить ветер... Ему стало боязно за нее. Его охватила нежность к ней, как к ребенку, одинокой и любимой...

Может быть, не только оттого Бардаш так долго вертелся тут, в пустыне, что дела не шли, но еще и потому, что не хотел, чтобы отчаяние охватило Ягану без него, когда его здесь не будет.

И когда на рассвете он услышал шум мотора, он подумал, что это она, и не удивился, увидев ее с порога вагончика.

Видно было, что и она не спала. Глаза ее опухли, воспалились. Соскочив на землю, он взял ее за руки и почувствовал, что даже пальцы ее похудели.

— Как же вы можете в такую погоду ездить без шофера? — сказал он.

— Ветер стихает.

Может быть, и правда ветер стал потише, а может, просто к нему уже притерпелись. Он дул и дул — и это было не один день. Но сейчас и ветер был кстати, он всех загнал в укрытия. Они были вдвоем в пустыне. Привалившись спиной к стенке вагона, Бардаш обнял Ягану, прижал к своей груди и стал целовать запыленные, но все равно черные-пречерные глаза. Только у нее были такие.

Он терся о ее щеку своей щекой, стискивая девичью талию жены, прижимался лбом ко лбу. У нее потекли слезы, он почувствовал это, и, когда приподнял руку, слезы упали на его пальцы. Тогда он стал целовать ее влажные глаза. Говорят, что слезы только солоны и не имеют вкуса, как дождь. Неправда. Неправда, что и дождь не имеет вкуса. Он всегда несет свои запахи, и навстречу ему поднимаются запахи земли.

— Оставьте, я такая пыльная, — говорила Ягана, не отворачивая лица.

Он снимал пыль с ее лица губами.

— Разве можно съесть всю пыль Кызылкумов? — спросила Ягана и отстранилась, потому что увидела Шахаба.

Шахаб протягивал ей веточку нежного исырыка — тонкой травки, усеянной снежинками белых соцветий.

— Это мой утренний привет вам. Его принес ветер.

— Рахмат [1], — поблагодарила она и всунула веточку в волосы.

— Ягана Ярашевна! — раздалось по соседству.

За ее спиной стоял тощий Ахмад Рустамов, бригадир монтажников, молодой инженер и щеголь, с прилипшей к губе сигаретой. Ну бывают же такие смешные люди даже в пустыне! Совсем неплохой парень, а отпустил волосы, как Меджнун, усы, похожие на хвост ящерицы, подбривал брови, носил цветные косынки на шее, заправляя их концы под воротник рубашки, и ходил на прямых, словно деревянных ногах, обтянутых узкими брючками. И конечно, не вынимал изо рта сигареты, беспрестанно обкуривая собеседников и собеседниц.

— Будем перемещать вышку?

— Конечно, Ахмад.

— Разве вы не видите, какой ветер?!

— А что — ветер? Обычный ветер. Он был и до нас с вами, будет и после нас. Никогда он не спрашивал у нас разрешения. Будем работать. Иначе нельзя.

— Хорошо, если свалит вышку, вы будете отвечать?

— Буду, буду, Ахмад. А если вы не хотите работать, зачем же вы приехали?

— Меня привез Надиров.

— Где Надиров? — быстро спросил Бардаш.

— В вагончике, — сказал Шахаб и кивнул через плечо.

Надиров смотрел на карту района, разложив ее на столе в штабном отсеке. Глаза его поочередно пробежали по лицам вошедших и снова опустились на карту. Он по-хозяйски предложил садиться.

— Бобир Надирович! — без обиняков начал Бардаш. — Я думаю, вы должны прекратить глубокое бурение.

Красные, как у всех, белки надировских глаз выкатились на него.

— Потому что это пустая трата времени, сил и материалов... Это бессмысленно.

— Потерпите малость, Дадашев, — спокойно сказал Надиров. — Не делайте скоропалительных выводов. На скорых выводах легко голову сломать.

Эти угрожающие нотки в его голосе были знакомы людям и обычно быстро остужали их пыл.

— Голова, конечно, вещь дорогая, — с усмешкой сказал Бардаш, — но и каждая скважина стоит миллионы.

— Геология любит упорных.

Уж кому, как не Надирову, было известно это. Он искал нефть сперва в Ферганской долине, затем в окрестностях Термеза. Про него говорили, что он совался во все норы грызунов, шел по муравьиным следам. Иногда бурили, бурили, а ничего не добывали, кроме камней, земли и желтых комков глины. Что же делать, такова судьба геолога...

— За цветком потянешься — и то наткнешься на шипы. Боитесь трудностей? — спросил Надиров.

— Нет, — ответил Бардаш. — Не хочу все сваливать на трудности.

— Вы мне развратите лучшего бурового мастера! — ушел от темы Бобир Надирович. — Как вы на него влияете?

— Это я на него влияю, — сказал Шахаб, положив тяжелые кулаки на край стола.

И теперь надировские глаза обратились к нему и замерли в ожидании. Шахаб медленно закурил, и Ахмад Рустамов постучал окурком по жестянке, заменяющей пепельницу, и тут же сунул в рот другую сигарету. Бардаш тоже протянул руку к его пачке. Назревал скандал.

— Все газеты сообщили, что мы проникли в газовый океан, — снова заговорил Шахаб, — но пока это прудик... Давление падает...

— Значит, надо идти в другие стороны! — чуть ли не у самого его лица махнул кулаком Надиров. — Идти, а не останавливаться! Вот что! Я вам обещаю бесперебойное снабжение трубами, глиной, всем, чем надо. Ясно? Мы будем расширять фронт работ.

— На авось? — спросил Бардаш.

— Что вы молчите, Ягана Ярашевна? — Шахаб повернулся к Ягане.

— Молодой директор, — ответил за нее Надиров, — растерялась немного от первых промахов... Но учтите, Ягана Ярашевна, что промышленные скважины обещали обкому вы, а не Бардаш Дадашев.

Ягане вдруг стало не по себе. Она поняла, что в любой момент в глазах всех людей и в глазах самого Надирова может стать виновницей всех бед, козлом отпущения, и у нее похолодело на сердце. Но теперь она еще крепче сжала губы. Бардаш знал ее упрямство. Она стыдилась просить у кого-либо помощи.

---

[1] Спасибо.

— Передвигайте вышки и продолжайте бурение, — сказал Надиров. — Это приказ. Бояться саранчи — не сеять хлеба.

Тут открыл рот и Ахмад Рустамов. Он впервые присутствовал при разговоре, когда возражали самому Надирову, и расхрабрился.

— Я отказываюсь производить монтаж в такую погоду.

— Ах, — сказал Надиров, — может быть, вам лучше поехать в Сочи? Тут еще волки водятся.

— А это, Бобир Надирович, скажите Вышкомонтажу. Я ведь подчиняюсь другому тресту, — не моргнув глазом, ответил Ахмад.

— Вот! — трахнул кулаком по столу Надиров, обращаясь к Бардашу. — Вы бы позаботились о том, чтобы все наконец свести в одни руки... Я должен раболепствовать перед трестом Вышкомонтаж, который расположен в Ташкенте. А я здесь! Но завтра я буду там, я лечу за трубами, и уж я постараюсь, чтобы вас отправили в Сочи, молодой человек, без обратного билета! Можете купаться в Черном море!

— Зачем в Сочи? — испугался Рустамов. — Мне здесь нравится. Пусть дадут телеграмму из одного слова: «Разрешаем». Я не хочу отвечать.

— Эх, сопли! — Надиров тяжело поднялся. — Кто боится, у того в глазах двоится.

Весь вагон забило сизым табачным дымом. За его пеленой в дверном проеме отсека маячили лица буровиков. Жизнь и работа всех зависела от того, что здесь так громко обсуждалось. Вошла Рая с чайником и стопкой пиал в руках.

— Бобир Надирович, а я чай принесла... Бобир Надирович, — повторила она, — вот вы сказали, трубы будут, а заварка будет?

— Какая заварка? — раздраженно спросил Надиров.

— Для чая.

— И об этом должен думать управляющий трестом? Нигде не записано, что вы должны снабжаться заваркой.

— Про газводу записано, — появляясь в дверях, сказал Куддус. — Давайте газводу. Хотя чай лучше.

Ягане стало стыдно.

— Этот вопрос мы сами решим.

— Этот вопрос решается просто, — сказал Надиров, грузной своей фигурой возвышаясь над столом. — Не надо крохоборничать...

Он сунул руку в карман, вынул десятку и положил на стол.

— Но это вовсе не решение, — сказал Бардаш. — Ведь в Кызылкумах не одна вышка и нет рядышком магазинов.

Рая вышла, не взяв деньги, и Надиров стыдливо скомкал их и спрятал.

— Из-за таких мелочей времени терять не стоит.

— Между прочим, — заметил Бобомирза, — стрелки у часов ходят, потому что там вертятся разные маленькие колесики...

Он стоял в тюбетейке, надетой на носовой платок, прикрывающий его морщинистое лицо от песка. Все буровики потихоньку набились в вагончик.

А когда разошлись по делам и Ягана и Бардаш остались вдвоем, он спросил:

— Милая, почему вы тогда, в обкоме, согласились с Надировым?

Она посмотрела на него широко раскрытыми глазами. Ей так много хотелось сказать ему. Он даже не подозревал, как много. И чего! Вот уже вторую неделю она замирала иногда в дороге или в конторе от головокружений. Все отчетливей стучало в сердце сладкое предчувствие долгожданного, запоздалого материнства. Бардаш что-то заметил в ее лице.

— У вас болит голова?

— Нет. Я хотела... Я боялась, — сказала она, взяв его руки и разглаживая жесткие кустики волос на ней, — что они... что они сомнут вас и будут правы. Я боялась за вас.

Она стала говорить, объясняя все, что казалось ей таким важным, это говорила одна ее любовь, а он ответил:

— Но ведь это же предательство! Это предательство!

И она испуганно замолчала. Сузившись, глаза его смотрели вдаль. Он был сейчас так далеко, что Ягане стало страшно...

В обкоме Бардаш доложил Хазратову о результатах своей поездки.

— Между прочим, — сказал Хазратов почти ласково, — почему письмо оттуда вы прислали не мне, а прямо Сарварову? Солдат протянул руку генералу... Вы имеете непосредственного начальника.

Хотя они были вдвоем, он обращался к старому другу на «вы».

— Я и сейчас пойду к Сарварову, — ответил Бардаш, — потому что это дело чрезвычайной важности, а ты такой нерешительный, что волосы встают дыбом!

Упоминание про волосы особенно задело Хазратова. Он снял руку со своей лысины, которую оглаживал по привычке, когда думал, и сказал:

— Не надо мелочной опеки. Многим путь Надирова кажется новаторским, а ты его очерняешь. Пусть категорическое мнение вынесут специалисты. Мы же предупредили...

— Но ведь я и есть специалист, — сказал Бардаш.

Кому-то надо было брать на себя ответственность.

— Впервые в жизни я жалуюсь на другого, — сказал он Сарварову. — Сам терпеть не могу такого, ненавижу жалующихся... Но — была не была... Пришел с жалобой ради дела. Люди подчиняются воле Надирова, он сильный человек, но газ может его желанием пренебречь...

Выслушав его, Сарваров долго думал, прикрыв глаза и потирая брови пальцами, которые сводил и разводил у переносицы. Наконец он спросил:

— Что же Надиров? Устарел? Он хороший управляющий трестом?

— Плов он хорошо готовит, — резко ответил Бардаш.

4

Плов Надиров готовил так... Сначала выжаривал в казане баранье сало до того, что на нем занимались огоньки. Он смеялся, что доводил казан до трех тысяч градусов. Это была не женская работа... В сало летел белый лук и тут же становился красным. Лук не давал салу выгорать. Вслед за луком подрумянивались кусочки мяса на косточках, а потом уж, разбухая на сале и воде, которая все время подливалась бдительным мастером, варился рис — зернышко к зернышку... Он впитывал в себя жаркие ароматы и желтел от моркови. Плов всегда удавался на славу!

Большое блюдо с остроконечной горой плова, усыпанной гранатовыми зернами, сам хозяин нес на вытянутых руках из кухни, лепившейся к углу двора, в сад, где отдыхали гости. В саду журчала вода, она лилась из резиновой кишки, надетой на кран колонки, распыляясь над кустами роз и декоративной зеленью. Солнце сверкало в каплях, испаряя их на лету, но все же на листочках вокруг все время висели росинки...

Самым большим деревом в саду был абрикос, который, может быть, первым поселился в этой части Бухары, когда вокруг еще не было белых и розовых особняков. Абрикос поднимался выше уличных тополей, он бросал тень даже на крышу надировского дома, и все лето, ссыпаясь с густых и длинных ветвей, зрелые плоды усеивали крышу, дорожки сада и грядки с редиской, морковью и помидорами, как семечки. Собрать их было немыслимо, и они засахаривались на земле, привлекая рои ос. Их старались поэтому быстрее вымести, но они падали снова.

Эти абрикосы были главной летней заботой жены и детей. Надиров хотел было спилить старое дерево, но тень от него, шапкой накрывавшая двор, стоила этой заботы, а еще, быть может, что-то значила и привычка. Как-то странно было представить себе двор без этого дерева с растрескавшейся корой и железным костылем в стволе для бельевых веревок.

В тени абрикоса был сделан деревянный настил на ножках, с тремя ступеньками, на нем стоял низкий столик, а вокруг, подоткнув подушки под бока, по восточному обычаю, располагались гости. От падающих плодов настил защищали виноградные побеги, прочно и густо перевившиеся вверху на стойках. Тут всегда было прохладно, а от брызг постоянно журчащей воды легко дышалось. И Надиров был счастлив, что гости могли отдохнуть у него.

Сейчас у ступенек настила стояли хазратовские ботинки, а сам Хазратов сидел у столика и попивал чай с фисташками в ожидании плова. Подошел хозяин, поставил тарелку с нарезанными приправленными помидорами, передоверив наблюдение за пловом, видимо, на этом уже менее ответственном этапе жене, заговорил:

— Надиров достал трубы, Надиров установил радиосвязь с Кунградом, чтобы обеспечить бесперебойное снабжение глиной, а Надирову вставляют палки в колеса...

Азиз Хазратович отхлебнул из пиалы, поправил хозяина:

— Почему вставляют? Бардаш Дадашев вставляет... Один человек...

Надиров присел, плеснул в пиалу чаю, обмыл ее, стряхнув теплую зеленоватую жидкость за бортик настила, налил снова и стал потягивать не спеша.

— А ты крепко не любишь этого Бардаша, Хазратов, — сказал наконец Надиров. — За что? Вы ведь из одного кишлака...

Хазратов знал, каким бывает хозяин. Крутые повороты надировской натуры многих заставали врасплох, но только не его.

— Да, — сказал он, — я давно знаю его, и если не люблю, то только за одно деловое, или, лучше сказать, неделовое качество. Он всегда хочет казаться умнее всех... А лично у меня с ним отношения, можно сказать, даже дружеские...

— А не боишься ли ты, Азиз Хазратович, что Бардаш подожмет тебя, если он и правда умный?.. Сегодня ты заведующий, а завтра — он. Ум завидное богатство. Хоть он и в голове, а не на груди, как орден, его за сто верст видать.

— Если Бардаш Дадашев станет заведующим отделом в обкоме, то Бобир Надиров может уходить на пенсию, — насмешливо, нет, пожалуй, шутливо сказал Хазратов. — У него найдется молодой ученый с дипломом на должность управляющего трестом. Он не верит практическому опыту Надирова. В этом вся суть дела. И не о Хазратове, а о Надирове говорил он секретарю обкома.

— Да, — согласился Надиров, — эти молодые сбрасывают нас, стариков, как объедки со стола... Куда они спешат, куда рвутся? Как будто мы не для них стараемся... Как будто нам что-то нужно!

Бобир Надиров и не заметил, что уже подчинился течению хазратовских мыслей.

— Я два месяца зарплаты не плачу. Штата нет, бухгалтерии нет. Люди приезжают, как туристы, и заворачивают хвосты! — говорил он

все злее. — Посидел бы этот Бардаш на моем месте! Я ему уступлю — пожалуйста! Да что из этого выйдет? Не для того мы устанавливали Советскую власть в Бухаре, чтобы дать теперь мальчишкам умничать и портить то, что мы начали... Нет, кукиш! Слишком много сразу захотели. Поучитесь сначала, если вы умные. А мы проверим! Мы! Легко рассуждать, труднее делать. Пусть рассуждает, а дела я ему не отдам. Спасибо тебе, Хазратов.

— Что вы думаете предпринять? — осторожно осведомился Хазратов.

— Сейчас придет Корабельников. Он принесет план широкого наступления на Кызылкумы. Мой главный инженер не менее ученый человек, чем Бардаш. Но это мой инженер, и он сделает то, чего хочу я, а не Бардаш!

Надиров слез с настила, сунул крупные ступни в расхоженные тапочки и пошел присматривать за пловом, запах которого доносился из кухни. А Хазратов подумал: если план Корабельникова удастся, то всякая дорога вперед Бардашу будет закрыта. А если не удастся, то ведь это план Корабельникова и Надирова, а не Хазратова... Можно будет еще и на Бардаша вину свалить, что он вовремя не разобрался в изъянах плана как специалист. Надиров вдруг обернулся, крикнул с садовой дорожки:

— А Сарваров поддержит нас?

— Все будет зависеть от Корабельникова. Насколько разумным окажется его план. И насколько послушным окажется сам Корабельников...

— За это не волнуйся!

Не отдавая себе в этом ясного отчета, Надиров любил опальных людей. Ну это, может быть, слишком громко сказано — «опальных» и «любил», но он питал слабость к однажды пострадавшим специалистам. Почему? Он, собственно, над этим не задумывался. Лишь бы специалист был толковым, а остальное он относил за счет своего доброго сердца. А задумайся он, пришлось бы признаться в другом. Они были послушны — эта змея Хазратов нашел точное слово. Испуганные кем-то однажды и подобранные Надировым, даже обласканные им в трудную для них минуту, они становились преданными помощниками и подчинялись ему безоговорочно. А ему это нравилось. «От хорошей растопки, — говорил он, — и снег загорится».

Так он взял Корабельникова.

Белобрысый, светлоглазый — глаза у него были не то зеленоватые, не то голубые, сухощавый, застенчивый, скорее всего, именно этим последним качеством Алексей Павлович Корабельников и понравился Надирову. Да и внешне невидный и внутренне сдержанный, он был из тех, кто вызывал молчаливую симпатию Надирова, кто знает, не своей ли полной противоположностью его облику.

Алексей Павлович занимался в научно-исследовательском институте глинами, способными быстро закупорить распоясавшуюся скважину. Первые испытания, выехав на место аварии, он проводил сам. Они прошли неудачно, ценой большого риска удалось спасти оборудование и людей. И хотя больше всех рисковал Корабельников и хотя были подозрения, что завод приготовил плохой цемент, институт пошел самым безопасным путем — во всем обвинили испытателя. Его цементы не получили признания и одобрения, зато сам он получил строгий выговор и глубокую душевную травму. Тогда-то Надиров и протянул ему руку, пригласив работать в трест, которого еще не было. Трест только создавался...

Бобир Надирович посмотрел на часы.

— Сейчас пожалует!

Между тем Корабельников по дороге к надировскому дому задержался. Он стоял возле уличного фонтана и смотрел, как посреди бассейна кувыркались и купались мальчишки. Образуя арки, над прямоугольником бассейна сплетались изогнутые струи. А в самом спокойном его углу два пацанчика в мокрых трусах пускали бумажные корабли.

Очень может быть, что это чепуха, но говорят, будто фамилия накладывает отпечаток на ее владельца. Не все Козловы, но многие похожи на козлов своими горбоносыми лицами и упрямым норовом, Петуховы бывают драчливы, как петухи, Сундуковы мрачны и скуповаты. Корабельников... В детстве он ничего не любил так азартно, как это бумажное кораблестроительство. Едва проносились дожди над родным Остаховом, как он наполнял лужи флотилиями, на которые уходили все тетради и даже листки с учительскими пятерками, за что особенно попадало от матери. Он умел сворачивать из бумажных клочков двухтрубные крейсеры и легкие парусники. Неудержимо скользили они через рябые уличные океаны.

Сейчас, купив газету в соседнем киоске, Алексей Павлович безуспешно пытался вспомнить, как это делается. Кораблики не получались. На одной газетной колонке, никак не желавшей свернуться в трубу, он прочел, что если каждые семнадцать дней бурения будут давать одну промышленную скважину, подобную шахабовской, то пока газопровод дойдет до Самарканда, к активной эксплуатации будет подготовлено более тридцати скважин. Еще одна надировская статья... Цифры сыпались, как из рога изобилия...

Статья надировская, а цифры его, корабельниковские...

Это шло параллельно: руки вертели кораблик из статьи, а мысли Корабельникова спорили с цифрами Корабельникова. Он осуждал себя за слабохарактерность, за то, что забыл,

как делается обыкновенная лодка с треугольной трубой. И сердился. Лодка расползлась на воде по швам... Она размокла и затонула. Шоколадные пацаны стали подгонять свой флот навстречу еще одной тонущей развалине конкурента.

Вдруг Корабельников перешел дорогу, зашел на почту и послал жене телеграмму: «Маша, приезжай».

До сих пор он жил один в гостиничном номере, неуютно и неприбранно, устав от казенной заботы, а недавно Надиров вызвал его и дал ключ от квартиры в новом трехэтажном доме. В двух пустых комнатах стало еще неуютнее и тоскливей... Сейчас Корабельников решился: Маша, приезжай. Мосты были сожжены. Он отважился на плавание по океану пустыни... Вот только на каком корабле? Не на бумажном же...

— Ну, где вы пропали? — встретил его Хазратов, сидевший под знакомым абрикосом. — Бобир-ака! Главный явился!

— Как раз и плов! — крикнул Надиров, вынося блюдо на своих огромных руках.

Корабельников снял синий берет и поклонился.

— Разве это главный инженер? — засмеялся Надиров, поставив блюдо на столик и вытирая руки о бедра. — Это кинорежиссер!

«Дурацкий берет и сверхинтеллигентская учтивость», — подумал Корабельников. Даже здесь, в Азии, где поклоны были не в новость, они делали его немножко смешным и старомодным. Бобир Надирович хлопнул его рукой по плечу.

— Прошу!

Алексей Павлович разулся и в носках, стесняясь, стал устраиваться на настиле рядом с Хазратовым.

— А где твой план? — вдруг спросил Надиров, когда, чокнувшись, они отправили «за воротник» первую рюмку пахучего узбекского коньяку. — Ты с пустыми руками? А мы хотели посоветоваться!

Он показал на Хазратова и налил по второй рюмке, начиная с Корабельникова, младшего по чину. Никогда Надиров не подчеркивал статуса своих гостей, не проявлял угодливости. Иногда самый скромный был самым дорогим.

— Бобир Надирович! — начал Корабельников. — Я хочу дать один совет...

— Подожди, — остановил его Надиров, словно почуяв недоброе. — Сначала выпьем по второй... До плова.

А плов зазывно дразнил мясными, морковными, рисовыми запахами...

— Так вот, Бобир Надирович. — Корабельников накрыл рюмку тонкой ладонью. — Глубокое бурение без структурной разведки не оправдывает себя. Это факт. И я советую прекратить его, пока не поздно.

— А зачем я летал в Ташкент? Всех тормошил. Получил сотни тонн труб. Зачем?

— Они пригодятся.

— Слышишь? — повернулся Надиров к Хазратову.

В душе его закипела ослепляющая ярость, как сало в казане, то самое, которое он доводил до трех тысяч градусов.

— Вы не правы, Бобир-ака.

— Алексей Павлович! — сказал он простодушно и откровенно. — Спорить некогда. Если вы со мной не согласны, мы расстанемся.

— А меня отпустят? — спросил Корабельников, как бы прицениваясь к этому варианту.

— Я вас сюда пригласил, — напомнил Надиров, — я и отпущу.

— Успокойтесь, успокойтесь, друзья, — попытался утихомирить и уравновесить беседу Хазратов.

Он подвинул к ним плов.

В другой стороне сада раздражающе ритмично и надоедливо звучали удары пластмассового шарика. Дети играли в пинг-понг.

— Перестаньте! Сейчас же перестаньте! — закричал им Надиров. — Джаным! Загони куда-нибудь этих бездельников!

Из кухни появилась жена, и дети, помахивая ракетками, на цыпочках бесшумно пробежали через сад.

— Корабельников, вы поняли меня? — спросил Надиров в тишине.

— Я уже вызвал жену, — ответил Алексей Павлович, побледнев.

— Приедет — уедет. Это частное дело.

— Но газ не мое частное дело, Бобир Надирович, — сказал Корабельников. — И не ваше.

— Что вы этим хотите сказать?

— Я не хочу уезжать.

Неизвестно, что ответил бы ему Надиров, если бы в это время тревожно и долго не забился звонок телефона на веранде. Тревожные звонки всегда отличаются от обычных. Они вздрагивают сразу на высокой ноте. Надиров босиком взбежал на веранду и крикнул в трубку:

— Я слушаю. Так. Где? Когда? Как люди?

На помосте встали Корабельников и Хазратов. Надиров сгорбился, и стало видно, что он седой и старый. Он смотрел на обоих со ступенек веранды.

— На вышке Шахаба Мансурова авария.

— Как люди? — повторил Корабельников вопрос самого Надирова.

— Жертв пока нет. Где его вышка?

— В районе Огненного мазара.

— Горит...

— Бобир Надирович! Я бегу в трест, мобилизую все возможные силы.

Надиров кивнул головой. Разговор сразу пошел по другому руслу. Комкая синий берет в руке, Корабельников скрылся, забыв завязать

шнурки. Хазратов суетливо втискивал ноги в ботинки.

— Все несчастья случаются в выходной день!

— У буровиков нет выходного дня! — закричал Надиров. — Они все время как на вулкане! Каждый час!

Хазратов подошел к Надирову вплотную, мягко положил руку на его плечо.

— Бобир-ака, — сказал он, прищурившись, — слушайте меня, Бобир-ака! Вот когда можно уничтожить его.

— Его? — Надиров соображал, о ком речь.

— Ну да! Ведь это он посоветовал жене передвинуть вышки к Огненному мазару. Он, Дадашев! Бардаш! И там авария.

— Бардаш Дадашев? — наконец дошло до Надирова.

— Конечно! Он вмешался не в свое дело. Теперь ему конец.

Надиров весь напрягся, как на трамплине перед прыжком. Крепко стиснутые кулаки его прижались к груди. Только глаза помаргивали тяжелыми седыми ресницами.

— А ты подлец, Хазратов! — вдруг заорал он. — Подлец, сволочь! Слышишь? Убирайся отсюда!

— Бобир Надирович, Бобир Надирович! — повторял Хазратов, как бы упрашивая.

— Вон!

Когда хлопнула калитка, он опять взялся за телефон и вызвал квартиру Дадашева. Прежде всего он подумал, что там ведь, где сейчас бушевал неудержимый огонь, от которого трескалась земля вокруг, была жена Дадашева, Ягана. Он их поссорил, но теперь все это стало далекой и неважной мелочью. Квартира Дадашева молчала.

Тогда, тяжело вздохнув и стиснув зубы до боли, он позвонил секретарю обкома Сарварову. И Сарваров ему ответил:

— Я все знаю, Бобир Надирович. Дадашев у меня. Сейчас он приедет к вам в трест, действуйте вместе. Спасайте технику и берегите людей. Ну да вы сами знаете...

Спокойный голос секретаря обкома вернул ему самообладание. Он подошел к настилу, увидел на ковре тюбетейку Хазратова, смял ее и швырнул через забор. А потом сорвал кишку с крана, отвернул его побольше и сунул голову под рокочущую струю...

Когда Бардаш десять минут назад вошел в квартиру Сарварова, он увидел на столе в гостиной глиняные игрушки. Лопоухие собаки, чересчур горбатые верблюдики, львенок, оседланный мальчиком... Бардаш пока ничего не сказал Сарварову, только попросил по телефону разрешения немедленно приехать... Сарваров был в белой рубашке и галстуке, может быть, собирался с женой в театр. Пока же он переставлял игрушки, любуясь ими.

— Нравится? — спросил он, выдвинув вперед ишачка с толстыми перекидными мешками-хурджунами до земли. Ишачок был меньше мешков. — Забавный ишачок!

— Да, Шермат Ашурович, — бездумно сказал Бардаш.

— А это разве львенок? Это же собака, только с большой гривой! Их лепит бабушка Хамро из моего родного Вобкента.

— Забавные... — проговорил Бардаш.

— А сейчас у меня был один ташкентский критик, сказал: формализм. Ну откуда у Хамро формализм? Черт знает что!

— Шермат Ашурович, — сказал Бардаш, — У нас авария.

Шермат Ашурович отодвинул игрушки в сторону, они сгрудились на краю стола у телефона. Некогда было ими заниматься. Бардашу вдруг показалось, что только сейчас он понял свою вину. У него не хватило настойчивости! Только сейчас он почувствовал, как много спрашивается с настоящего партийного работника. Он должен был стать поперек надировского анархизма, и не было бы сейчас беды. А он не сумел, он подвел людей, подвел Сарварова, который поверил ему...

Коричневые глаза Сарварова тяжело и даже как-то люто смотрели на Бардаша. Тысяча дел, больших и маленьких... Вода едва ползла по песчаным каналам, не проходя и километра в день. Хлопок задыхался в коробочках без воды, и они обугливались и сохли... На стройках не хватало то того, то другого. И все шли к Сарварову, к Сарварову...

— Огненный мазар! — повернувшись к окну, словно мог отсюда что-то увидеть, сказал Сарваров. — Святые отцы возликуют. Скажут, аллах послал на нас свою кару.

— Скажут.

— Есть людские жертвы?

— Нет.

— Почему это случилось?

— Я еще не знаю технической причины, ее пока не знает никто. Может быть, перемена давления, может быть, раствор... Может быть, подземный толчок... Но есть причина, которая целиком лежит на нашей совести. Спешка...

— Что вы думаете предпринять?

— Надиров, конечно, все захочет сделать сам, своими силами. Но это неразумно. Надо вызвать из Баку спасательную команду. Там есть такие огнетушители — тигры! Они прилетят через пять часов.

— Вызывайте.

— Одно ясно, — сказал Бардаш, уходя, — что мы обнаружили настоящий газ.

Затрещал окруженный игрушками телефон: звонил Надиров.

5

Хиел стоял на вышке, когда это началось. Рая послала его отнести Куддусу бутерброд. Куддус наращивал трубы. Все было так обычно, как бывает в самые скучные минуты жизни... Далеко, если присмотреться из-под ладони, в пустыне зеленела капелька другого мира, два-три дерева над одинокой крышей. Это, как рассказывали, было жилье Халима-ишана, самозванного шейха мазара. Какие-то дураки топтали песок, бросали свои жилища, чтобы добраться до святого места и отдать ишану накопленные гроши. И все же эта зеленая капелька среди пустынного безбрежья радовала глаз...

Вдруг Хиелу почудилось, что он качается. Не вышка, не земля, а именно он. Хиел схватился за поручни. Напрягшись всем каркасом, вышка содрогнулась. Дрожь передалась Хиелу.

— Тревога! — крикнул он, но его никто не услышал. Он только прошептал это страшное слово.

Над вышкой поплыл рельсовый звон. Это Куддус стучал железом о железо. Выпрыгнув из вагончика, к вышке тяжелым и широким шагом побежал Шахаб. Рая смотрела вверх. На вышке Абдуллаев, у которого усы от жары и пыли стали белыми, выключил бур. Вместе с Шахабом они закрыли заглушки. Но вышка продолжала трястись, как дерево, застигнутое бурей. И болезненный скрежет ее суставов становился все громче. Волнами задвигались пески. Потревоженный газ проталкивался к земной поверхности, стараясь выбиться наружу сквозь непрочную песчаную подушку.

Куддус уже спустился к Рае и помогал ей утяжелять раствор. Может быть, он был еще в состоянии придавить поток газа, лезущего из глубин к свету в раскаленный полдень невиданного июля. Ревели дизеля, нагнетая раствор под землю. И Хиела удивило, с каким спокойствием все делали свое дело, все стояли на своих местах, как будто под ними не трескалась, не рушилась почва, как во время землетрясения. Но ведь при землетрясениях люди бегут куда глаза глядят, подальше от беды, а тут даже старый Бобомирза торчал у своих дизелей, точно его припаяли к ним.

Хиел боком, цепляясь за кучи песка, падая и вставая, отходил от вышки. Что можно сделать с землетрясением? А люди работали...

Если бы Хиел был рядом с ними, он услышал бы, как Рая сказала:

— Куддуска! Что это?

— Газ!

— Лучше бы ты уехал!

— Дураков нету! — Он засыпал присадки, оставленные Корабельниковым, у которого с Раей были какие-то свои технические шуры-муры. — Я от тебя не уеду!

— Куддуска!

— Я тебя люблю.

— Что же будет?

— Свадьба! — кричал Куддус. — Свадьба!

— Какая свадьба?

Он тыкал жестким пальцем то в свою, то в ее грудь.

— Твоя и моя!

— Куддуска! — повторяла она.

— У меня в вагончике шампанское спрятано!

— Какое шампанское?

— Я купил...

Бобомирза про себя молился. Когда-то Халим-ишан говорил ему: «Не шути с огнем, под землей ад...» А он, старый, все хотел сам посмотреть, так ли это. Кажется, проклятье настигло его. Ну что же, значит, он боролся сейчас с самим аллахом!

Шахаб звонил на соседнюю вышку, где бригада Ахмада Рустамова заканчивала монтаж. Он вызвал все тягачи. Оттуда уже видели черные грифоны, дикие фонтаны, встающие над трещинами земли, и теперь спешили навстречу. Шахабу казалось, что тягачи ползли слишком медленно, а ему надо было спасать оборудование, спасать дорогую технику, и он послал навстречу им Пулата, а сам принялся освобождать стальные тросы с крюками якорей.

— Я здесь! — с мольбой в раскосых глазах крикнул Пулат. — Здесь!

Он не хотел отходить от товарищей.

— Мусаев! — крикнул в ответ Шахаб и так посмотрел на него, что больше ничего не надо было прибавлять. Пулат, спотыкаясь, бросился навстречу тягачам.

Тягачи, лязгая и скрежеща, приближались к месту нарастающей катастрофы. Было все очевидней, что предотвратить ее не удастся, оставалось ждать, с какой стороны она нанесет новый удар, и это вселяло в сердца людей страх и тревогу.

Первый тягач вел сам Ахмад Рустамов. На узеньких усах его висели капли пота.

— Скоро! — закричал Пулат, вспрыгнув на подножку трактора. — Скоро!

Ахмад остановился. Тогда Пулат спихнул его с сиденья. Никто не знал до сих пор, что он водил тракторы по колхозным полям. Он толкнул рукоятку скорости и рванул с места так, что песок выбросило из-под гусениц точно бы взрывом.

Что это было? Пыль летела, как дым, или дым стлался пылью над землей, вздрагивающей, как от бомбардировки? Смерчи песка вспрыгивали то тут, то там, вокруг дизелей люди работали лопатами, отрывая их вместе с Бобомирзой, потому что песок засыпал все — и машины и машиниста. Вслед за песком из трещин летела грязь с водой...

Вышку сдернули с места и поволокли в сторону, когда опять колыхнулась земная твердь и случилось самое страшное. Сорвав заглушки, газ отбросил их и с артиллерийским громом выбил в небо град камней. Камни ударились друг о друга, высекая искры, и, словно кто поднес спичку, воздух вспыхнул.

Ягана приближалась к пожару с одной мыслью: какое счастье, что она оказалась рядом. Хоть в этом ей повезло! Шофер делал все, что мог, тарахтя по гребням барханов, как по стиральной доске, и вдруг тормознул с ходу, безотчетно бранясь: их обдало и на некоторое время с головой закрыло метелью пыли. Точно они нырнули внутрь пустыни...

— В чем дело?

— Человек!

Когда пыль не спеша осела, Ягана увидела человека, встающего с земли. Он подтягивал фуфайку, перекинутую через плечо, точно прикрывая свое лицо. Следы его вели от пламени. Это был Хиел. Волосы взлохматились, губы шептали что-то невнятное...

— Вернись, сейчас же вернись!

Хиел попятился.

— Трус! — закричала Ягана. — Трус! Трус! Прочь с моих глаз!

Он скорее по жесту догадался, что его гнали, и побежал, а машина рванулась к пламени, и, только оглянувшись на нее, Хиел увидел, что там творилось. Даже сквозь завесу пыли было видно, как языки пламени лизали небо... Потрясенный, он стоял и смотрел, не понимая, почему все стремились туда, а не оттуда, он казался себе самым ничтожным из всех ничтожеств...

Ягана отправила радиограмму в трест, позвонила в контору и попросила сообщить о пожаре мужу. Столбы с телефонными проводами покосились, но связь еще работала. Из транспортного цеха она затребовала все, что могло двигаться. Ее терзало одно: ограничится ли пожар этим районом или ему будет тут тесно? Пламя теперь ревело и хлестало... А Ягана думала: пусть, пусть... Проложивший себе выход, освобожденный газ бешено дышал в небо, больше не рвался в стороны.

Вышку оттянули, дизеля тоже, и земля под ними успокаивалась. Газ бил неудержимо, подземная бомбардировка больше была ему не нужна и стихала, вот только сердце колотилось так, словно хотело выпрыгнуть из груди.

Но сердцу не дал выскочить Бардаш.

— Яганахон!

Он увидел ее обгорелые брови и ресницы, бледное лицо и, стиснув за локти, загородил собой от огня.

Прибывали пожарные машины из Газабада, из Бухары, из Самарканда, и Надиров командовал ими немногословно и спокойно. Воду подвозили из святого колодца...

Но когда горит газ, воде не потушить его, она может только остудить землю, и людей, и их стальных коней, не дать беде разрастись.

Небо разрывалось на огненные клочья. В глазах мелькали вода и пламя, вода и пламя... Шла борьба воды и огня... Временами пламя закрывало небо без остатка, и тогда казалось, что горела даже вода. А вокруг гудело. Это с новой силой выталкивался на поверхность ликующий, неистощимый газ. Он пел свою песню...

Корабельников склонился в вагончике над схемой скважины: жизнь подбросила ему еще одну неожиданную проверку и характера и цементов. Требовалось закрыть бушующий кратер. Но как к нему подобраться, чем закрыть? Под пламенем уже образовалось отверстие больше Ляби-хауза.

— Только боковое бурение! — сказал рядом Бардаш.

— Да!

Надо было подвести бур сбоку, снайперски попасть в горло скважины и залить его крепкой цементной пробкой.

— А как цементы, Алексей Павлович?

— Будем надеяться.

— Вы даете свою марку?

— Да.

Бардаш медленно и поощрительно кивнул головой. Ему нравилось скромное мужество этого человека, и сейчас Корабельников нуждался в поддержке. Дело было нешуточное, человек знал, что идет на риск, и верил в себя. Куда проще было отказаться! Но ведь постановлением института, забраковавшего его новые цементы, не заткнешь ревущую глотку скважины...

Бардаш вышел из вагончика — мимо несли носилки, с них свешивалась рука...

— Шахаб!

Шахаб приподнял голову.

— Видишь, голова цела... Штаны сгорели...

Лицо его было в копоти, а мокрые ботинки дымились, остывая. Бардаш пошел рядом с носилками.

— Слушай!.. Все азимуты записаны... Там... Возьми!

— Хоп, хоп, Шахаб.

Он стиснул висящую руку Шахаба. В такой спешке — азимуты... Их и в нормальных-то условиях замеряли не все, а для бдительных контролеров записывали на глазок. Были азимуты, и скважина была в руках — не в потемках. Шахаб — это Шахаб! И вот его увозят в санитарной машине...

Под вечер прилетели бакинские истребители огня. Надиров провел совещание, как всегда в донельзя прокуренном вагончике. Мало было легким обжигающего пламени фонтана — люди жадно затягивались дымом, вытряхивая на стол сигареты для всех. И без конца пили воду.

Света ночью не потребовалось. В сторону клокочущего огня невозможно было глянуть, и далеко летели по пустыне его блики, разгоняя змей, мышей, тушканчиков. Тракторы и люди вставали под душ из брандспойтов и опять уходили. Предусмотрительный Корабельников захватил из Бухары ящик зеленых защитных очков, и в них люди смелее шли на пламя, как на приступ, как будто очки защищали не только глаза.

Под надзором бакинцев строили узкоколейку, подталкивая ее к жерлу факела, и монтировали вышку для наклонного бурения. Жарко было. Жарче, чем днем! Водяная радуга летела из брандспойтов, создавая заслон между огнем и людьми, и через каждые полчаса менялись люди. По лицам катился черный пот, но работали расторопно и без суеты.

На узкоколейку поставили тележку, груженную взрывчаткой, и толкнули ее в огонь. Это было уже перед рассветом, и солнце, высунув из-за песков краешек красного глаза, увидело, как рвануло под пламенем и швырнуло его в небо, точно все это разветвившееся огненное дерево подсекли под корень. И оно рухнуло — пламя отлетело и растаяло.

Из зияющей земной дыры со стоном бил синий, голубеющий в вышине султан газа. Вышина остывала, и там газ трепетал и струился сквозящим на солнце клочком веселого неба. А на землю садилась копоть. Шевелился утренний ветер, относя желтоватые клубы песка и дыма, они все дальше отползали от жуткого места, как бы спасаясь бегством. И стало видно, как потрескалась вокруг земля и как она оплавилась, словно в ровно расчерченных квадратиках отлили и обожгли кирпичи...

Шесть дней и ночей гудел газ, шесть дней и ночей люди стояли на вахте, готовые к новой вспышке, а бур уходил по косой линии в землю, подбираясь к живому голосу газа. На седьмой день его зуб раскусил скважину. Хитрые бакинцы не промахнулись: они знали свое дело. И вот остановилось время — по невидимому наклонному пути, как с горы, пустили раствор, чтобы забить скважину. Стояло время, и молчали люди, только глина и цемент ползли вниз, вниз, вниз, и людям предстояло увидеть, напрасной была их работа или нет, кто окажется сильнее — напор еще не укрощенной подземной силы или цемент Корабельникова. А когда упало голубое сияние газового столба, когда оно померкло и недавно ревущая глотка разодранной пустыни стала просто ямой с зеленовато-черной водой, кто-то закричал «ура», а кто-то сел на землю и заплакал. Целовались и поздравляли друг друга — это уже потом...

Ягана и Бардаш не заметили, как оказались вместе.

— Ну вот и живые, — сказал он. — А ресницы вырастут.

Она приникла к нему, уронив на песок стальную каску.

— Живые? — переспросила она. — Я даже и не подумала об этом!

Только теперь она осознала опасность с тем запоздалым страхом, который и через года леденит душу, и сказала:

— Как я могла! Ведь у нас будет маленький...

— Ягана! Моя Ягана!

Он погладил ее мягкие, как шелк, волосы. Он не знал, что сказать.

— У меня ничего нет... никакого подарка... Разве только вот это солнце...

Рыжее, мохнатое солнце по-хозяйски вставало над пустыней. Небо золотилось.

— Ничего не надо, кроме вас, смешной...

Ягана ласково провела пальцами по его губам, и он поцеловал их. Он еще счастливо и простодушно улыбался, когда подошел Надиров, усталый и сгорбленный.

— Сядем криво, — сказал он, опускаясь на доску, положенную с тракторной гусеницы в песок, — говорить будем прямо.

Бардаш сдвинул толстые брови, ожидая вопроса.

— Что скажешь? Кто, по-твоему, виноват?

— Вы.

— Так. — Он потер занемевшие бока.

— Если бы бурила разведка, проходили метр за метром внимательней...

— Я знаю. Я говорю о технических причинах...

— Мы попали в океан, это ясно. Просто наступили в него ногой и чуть не утонули... Но ни одной скважины без предварительной разведки больше бурить нельзя. Пока структурщики не доложат о породах, пока сейсмографы не выявят купола, пока не оконтурят месторождение...

— А хорошо мы все-таки всадили ей кляп! — перебил его Надиров. — Ну, ну?

— Вы могли бы не вписывать в свою биографию этого вынужденного героизма.

Ягана подумала, сейчас Надиров скажет: «Защищаешь жену».

Но Надиров сказал, потерев воспаленные от бессонницы глаза тыльной стороной ладони:

— Не мог я послушаться тебя, Дадашев... Виноватого прокурор найдет.

— Что бы ни решил прокурор, все равно я буду считать, что виноваты вы.

Надиров посмотрел на него недобро, снизу вверх:

— Понимаю, за что тебя ненавидит этот лысый... Хазратов!

— Вы хотите сказать...

— Пить я хочу.

Он как-то неуклюже заковылял к вагончику. Когда Бобир Надирович поднялся внутрь, то увидел над скамейкой выпуклую, круглую попку, обтянутую брючками, и слегка шлепнул по ней.

— Ты что это арбузик выставила?

Рая стояла на коленях на полу и, ткнувшись в скамейку, плакала, обнимая бутылку шампанского. Она повернула к Надирову лицо, по которому быстро-быстро катились слезы.

— Его увезли!

— Кого?

— Куддуса.

— Это который наверху всегда стоял?

— Да.

— Сильно обжегся?

Рая только всхлипывала. Надиров поднял ее, и она заплакала у него на плече, как ребенок.

— Сколько ему лет?

— Двадцать.

— Ничего. Видишь? Это меня эмир огрел. Нагайкой. Мне было всего двенадцать, и зажило. И он молодой. Все заживет. И будет, как новый. Я его в больнице навещу. Вместе поедем. Пить у тебя найдется?

То ли она не поняла, то ли выхлестали уже всю воду до дна, но она протянула бутылку шампанского.

— Эй, все сюда! — крикнул Надиров, сойдя на песок и широким жестом приглашая и Ягану с Бардашем, и Корабельникова, и шагавшего к вагончику командира бакинцев.

Бобир Надирович раскрутил проволоку на пробке, вышиб ее ударом о коленку и вылил шипящее вино в стянутую с головы каску.

— Пейте! Есть за что!

И все, правые и виноватые, они пригубили теплого и кисловатого напитка победы, заблаговременно приготовленного Куддусом.

— Людей пересчитали? — спросил Надиров у Яганы.

— Один сбежал.

— Кто?

— Хазратовский племянник. Хиел.

— Ай-яй-яй! Кто это видел?

— Я сама видела.

— И я видел, — сказал Пулат, забинтованными руками передавая каску с последними каплями Рае. — Бежал, как заяц.

— А старательный вроде был паренек! — усмехнулся Абдуллаев, пожалев Хиела и принюхиваясь к усам: от них все еще пахло паленым. — Хотел стать буровиком.

А кто-то добавил:

— Видно, не судьба!

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1

Судьба... Она у каждого написана на лбу от рождения. Это старики говорят, а ведь они — знающие люди. Они слышали про письмена судьбы от других стариков, а те от других, имена которых забыты, потому что не судьба им была сохранить свои имена потомкам, кроме одного имени: народ.

Народ часто говорил:

— Не судьба!

И утешал себя этим в горькой доле. Знать, на роду не написано счастья... Чему быть, того не миновать... Забыл аллах...

Народ состоял из забытых, из безвестных.

Да оно и понятно! Ведь народ велик, безвестных очень много, а аллах один. На всех судьбы не напасешься. Придумай-ка всем по судьбе, каждому свою — голову сломаешь. Вот и ходили люди без судьбы, пока не вспомнили, что они люди.

Если у аллаха не хватает головы на всех, то ведь есть голова у человека. У каждого своя...

И однажды люди объединились и решили делать свою судьбу сами. Одни положили жизни за это под пулями, другие взяли в руки лопаты, кетмени, тачки, а потом сели на машины и пошли за своей судьбой по следам павших храбрецов.

И я пошел вместе с ними.

Я тоже ищу свою судьбу, и нет мне ее без товарищей, которые строят, любят и ненавидят, мечтают и спорят, живут засучив рукава и творят жизнь, потеряв покой... Кто ищет судьбу, тому нет покоя никогда... Они в пути...

Вот так я и попал в Кызылкумы.

В пути бывает всяко — и ночевки под дождями, и дни без еды, кто идет, тот и спотыкается, кто спорит с самим аллахом, тому и достается — не только успех, и все же нет ничего прекрасней дороги, в конце которой всегда — цель, ведь дороги не прокладываются зря, надо только пройти их до конца и помнить народную мудрость: дорогу осилит идущий...

Доставалось и мне. От критиков, от читателей, порой кричавших: «Не так, не так!» Что ж, и на том спасибо, они учили меня, а чувство товарищества, крепнувшее в пути, вело меня все дальше и придавало отваги...

Ох, я знаю, что и в этой книге не все так, как бы хотелось и даже как было. Я знаю, что первый газ в Бухару пришел не из-под песчаных волн Кызылкумов, а ближе, из Джаркака, а потом из Южного Мубарека почти невесомое топливо побежало через Самарканд к узбекской столице, к зеленому Ташкенту, и тогда уж, позже, подключился к этим рекам голубой океан Газли, нашего замечательного, нашего героического Газли, возникшего посреди песков под старым, одиноким, таинственным карагачем, где нашли безвестного мертвого геолога, сжимавшего в руке кусочек серы, как говорит легенда... Кстати, легенда о Газли, а не о Газабаде, в котором поселились мои герои.

Все это я хорошо знаю, но ведь я иду не за газом, как бы он ни был бесценен, а за судьбой, пути же судьбы более прихотливы, чем прямые нити газопроводов. Догоняют свою судьбу мои знакомые, а я кружу за ними...

Чьи это следы на песке?

Это прошагал Хиел.

А здесь он ночевал, вот след от его тела. И здесь. А вот и сам он сидит на фуфайке за дальним барханом с заросшими впалыми щеками и губами, на которых запеклись глубокие трещины.

Он проснулся оттого, что хотел есть. Жажда мучила его еще больше. Пламя вдали, за спиной, исчезло, но ему стыдно было возвращаться.

Он решил уйти оттуда навсегда.

Вокруг было безлюдно. Опрокинутый котел неба блистал над ним. Здесь не летали даже вороны. Пробегали жуки, толкая задними лапками шарики навоза, в которые они положили свои личинки. Шарики были больше жуков, и толкать их передними лапками у них не хватало силы, они наваливались всем телом... Раз жуки, раз навоз, значит, где-то прошла отара овец. Их гнали чабаны, а у тех есть и вода, и хлеб, и мясо... Но где овцы, где чабаны? Надо идти по их следам...

Хиел поднялся... Что-то зашевелилось у него под ногами. Он обрадовался, что поймает какую-то живность и съест. По ноге скользнул слепушонок [1]. Хиел огляделся с отвращением... Грызуны, как муравьи, закопошились вокруг, словно чужак хотел захватить их норы. От тоски, одиночества и страха Хиел закричал. Но его голос вернулся к нему еще более долгим и громким криком...

Эхо в пустыне — не обычное эхо. Ваш голос летит все дальше и дальше, без границ. Он летит, распространяясь во все стороны неудержимо, натыкаясь только на ветер, проваливаясь в безвоздушные ямы, и все звучит и звучит, и кто знает, из какой дали донесется ответ... В старину голосами меряли расстояния. Два крика, пять криков... Услышь! Никого не слышно...

Среди дня вспыхнул ветер. Хиел пытался укрыться между низкими кочками. Песок пролетал с визгом. Хиел молил спасти его — и маленькую кочку, и мелкую ямку. В такие минуты, когда песок над головой, песок на спине, песок засыпает руки по локти, а ноги по колени и колет глаза, тебе кажется, что ты погибаешь. А еще не было ничего, кроме далекого детства.

И уже кончается жизнь, которая так сладка... Некуда бежать. И нечем прикрыться. Вжимайся, вжимайся в землю! Бурьян, присыпанный песком, кажется горой, а мышиная нора — пещерой.

Невозможно было открыть глаза. Вдруг все затихло... Жив! Жив! Он и раньше все время шевелился из последних сил, чтобы его не погребло живым, а теперь приподнялся на колени. С шелестом и шуршанием песок посыпался с его головы, плеч и одежды. То ли тишина, то ли этот шелест, которого он до сих пор не слышал, еще больше встревожили Хиела. А скорее всего — темнота. Она обступала его...

Но ведь только что был день! Только что! Конец света!

Небо снижалось, темное небо готово было придавить его... Это оседал песок. Он поднялся высоко, он стал тучами, и ему требовалось время, чтобы улечься, пока ветер потревожит его снова. И то, что казалось Хиелу концом света, было только его началом.

В помутневшем взоре внезапно сверкнула молния: отыскалось солнце. Оно начало вылезать словно бы из дыры в потолке черного дома. Лучи его падали на усталые от перемещения пески, разлетаясь по ним все дальше.

А голова Хиела слегка кружилась от счастья и удивления: мир заметно изменился. Небольшие кочки, среди которых он прятался, превратились в высокие холмы. Их устилали вырванные с корнями кустики верблюжьей колючки. Среди них зашевелились жуки. Ежи заголосили, как жеребята. Видно, они разыскивали своих детей. В небе вызванивал жаворонок. Он все забыл, будто ничего и не произошло.

Только сердце Хиела тяжелело. И он чувствовал эту тяжесть, словно вместо сердца подвесили камень. Он по-прежнему одинок и несчастен, сирота. Может быть, в жизни не бывает мгновений труднее тех, когда осознаешь это.

Хиел стоял, уставившись на солнце. Как вкопанный. Глаза его припухли от песка и ветра, песчаные нашлепки лежали на лице и шее, как наросты на коре дерева, руки бессильно висели... Чем громче пел жаворонок, тем тоскливей становилось Хиелу. Что-то спирало дыхание, но слез не было.

И он вспомнил: «Душа плакала, а глаза были сухими». Что это? Кто это сказал? Кажется, Навои. Как же мало ты знаешь, Хиел! Но никогда ему не казалось, что это сказано о нем. Лишь сейчас он понял, что поэты говорят о себе, как о других людях и для людей.

Что же мне делать, в огне разлуки сгораю я,
Если я плачу, не осуждайте меня, друзья,
Некому даже слова сказать о беде моей,
И нет беды тяжелей, чем жить в беде без людей...

Поблизости послышался шорох. Муравьи, протоптав дорогу, беспрестанно бегали взад-вперед двумя колеями, как по рельсам. Никто не сходил с пути, словно боясь потерпеть крушение. А он сошел...

Хиел побрел куда глаза глядели. Голова его была опущена. Ноги застревали в песке, цепляясь об открывшиеся корни янтака, о камни. Ему казалось, что так он шагал давно, но,

[1] Грызун.

оглянувшись, он обнаружил, что недалеко ушел от холма. А может быть, он, как лошадь маслобойщика, ходил по кругу?

И нет беды тяжелей, чем жить в беде без людей...

Нет, кто-то же должен прийти ему на помощь! Хиел невольно сел, сам не зная зачем... Неужели весь мир вокруг него пуст? Он с тоской посмотрел на небо...

Здесь его и нашел чабан, крикнувший над его лицом:

— Вах!

Когда Хиел открыл глаза, он увидел, как мимо него текла овечья река.

2

Старый чабан, с бородой, как у козла, дал ему воды и мяса. И показал, где Газабад. Теперь у него было продовольствие на день пути. Чабан посоветовал двигаться ночью. Во-первых, не так жарко, во-вторых, не собьешься: будут видны огни Газабада.

Пока они беседовали на кошме, овцы стояли, сбившись в кучу по древней привычке, чтобы не растеряться. Овцы вообще очень дружные животные. Иногда отару обегали большие казахские овчарки, на всякий случай, как бы кто не напал на беззащитных овец, как бы какая дурашка не потерялась, пока чабан занят.

Чабан рассказывал Хиелу, как загорелся газ и какие бесстрашные люди его потушили, катастрофа в его рассказе становилась подвигом. Побыл бы он там! Но он сам только издалека видал высокое пламя... А Хиел сказал ему, что оставил поломавшуюся машину с товарищем и должен сегодня же дойти до Газабада за помощью.

— А у товарища есть мясо?

— Да, я все оставил ему.

Уж если начнешь врать — не выпутаешься.

— Ну желаю тебе быть таким же храбрым, как те, кто потушил пожар!

И чабан погнал овец дальше.

Хиел сидел, сжав ладонями виски, ждал ночи, ждал огней Газабада, оставив за спиной немало барханов от того места, где встретил пастуха.

Черный чачван ночи быстро покрывал землю. И так же быстро зажглись земные звезды Газабада. Он смотрел и смотрел на них.

Теперь не ноги волокли его, а сам он управлял ногами. Он шел быстро, и все же звезды мерцали так же далеко, словно Газабад убегал от него.

Неожиданно две зеленые искры возникли перед ним, рядом, словно эти звездочки упали с неба. Хиел шагнул прямо на них, искры метнулись в сторону, и тут же по его спине прошла судорога. Он догадался: волк! Ну что же, значит, пустыня решила по-своему рассчитаться с ним...

Он нащупал на поясе длинный нож, который ему купила тетя Джаннатхон, когда он поехал в пустыню. Этим ножом на вышке открывали консервы, никто не знал, для чего он пригодится...

Хиел невольно вздохнул, а волчьи глаза перед ним стали меркнуть. Он тихонечко, не дыша, присел, но они появились с другой стороны. И стали приближаться. Тогда он, чтобы придать себе смелости, шагнул навстречу, и волчьи глаза опять отпрянули от него. Он пошел за ними, а они, то мерцая, то совсем угасая, вели его в глубь пустыни...

Вероятно, это была волчица, мать, она уводила человека от логова.

Хиел вспомнил разговор о волках на вышке.

В начале июля над песками промелькнуло несколько серых дней. Вокруг солнца собрались облачка, оно отшвыривало их гневными лучами, но облака настойчиво накидывали на плечи светила каракулевый мех. Ближайшие курчавины таяли, словно на огне. Лучи, пронзая каракуль, испепеляли его, а самые дальние края чеканили, как серебро. Облака сдались. Они уронили на пески несколько капель и стали рассыпаться.

Тогда Пулат, поглядывая вдаль, сказал:

— Волчица родила!

— Как это волчица, какая волчица? — спросила Рая.

Пришлось Пулату рассказать о том, что знал с детства, прошедшего в пустыне, в юрте.

Четыре капли в ясный день для человека — ни зерно, ни солома. А волчица ждет их не дождется. Она не хочет, чтобы ее волчата горели на солнце или мерзли на холоде. Вот она и приноравливается к этим дням... Бюро погоды не обманывает ее своими прогнозами, как людей. Она сама себе астроном и звездочет, самый остроглазый... Волк боится огня и света, ненавидит солнце, поэтому он живет только ночью, и дай ему волю, запечатал бы тучами все небо и тогда уж размножался каждый день...

— Вот придут волчьи дни, отыщем логово, — пообещал Пулат. — Принесем волчат.

— Волк тебя скорее учует, — испугалась Рая. — Он слышит запах человека за три километра.

— А я слышу запах волка за пять километров. Посмотри, какие у меня широкие ноздри! — засмеялся Пулат. — Пойдешь со мной, Куддус? Мы натремся полынью...

— Пойду.

Они сейчас далеко — и Пулат и Куддус, там, на вышке, над поверженным фонтаном, а он, Хиел, здесь, наедине с волком. Если бы ему удалось убить волка и принести туда, они бы его простили. Они бы увидели, что он не трус... А может, это совсем не волк?

Хиел порылся в карманах. Сигареты были давно выкурены, но спички остались. Он наклонился, пошарил по земле, надергал несколько колючек янтака, и когда искры звериных глаз приблизились к нему, превратившись в фары, он поджег сухой янтак и бросил вперед. И сейчас же повисла в воздухе длинная и сильная тень, отлетев в сторону. Да, это была волчица. Или волк.

Хиел стал срывать кустики полыни под ногами и натирать ими лицо и руки. Потом он жег янтак, бросая в костер все новые и новые охапки, благо ветер натаскал их отовсюду достаточно. Янтак трещал, и блики огня прыгали по барханам.

То ли волчица испугалась, то ли она считала, что далеко увела человека от логова, но она исчезла. Хиел осматривался, прикрыв глаза пучком полыни: он помнил слова Пулата, что глаза выдают человека, как и зверя. Так он и пошел...

Он шагал до тех пор, пока чуть не провалился в трещину, и услышал под боком какое-то повизгивание и возню, словно рядом были щенята. Логово! Конечно, логово: в такой трещине только и селиться хищникам, боящимся солнца. Он зажег спичку и обнаружил, что стоит возле отверстия, напоминавшего по размеру самую большую газовую трубу. Возня утихла. Хиел зажег еще одну спичку, осмотрелся, прислушался. Ни шороха. Темно. Желание принести волчат и доказать, что он не трус, а просто случилось с ним на вышке среди огненного буйства стихии что-то такое, с чем он не справился сразу, это желание победило в нем осторожность. И он полез в логово.

Ход был извилист, поворачивал коленами. Да, солнечный луч сюда не проберется. Кроме колен, были еще ступени, все выше и выше, это чтобы не попала вода. Хмурое жилище...

Хиел чиркнул спичкой, одна сломалась, другая загорелась. Нора расширилась. У стены сбилось в кучу пятеро слепых волчат. Хоть и слепые, они повернулись мордами к противнику, навострив уши. Но они еще были слишком малы, чтобы защищаться. Побросав их в фуфайку, Хиел крепко перетянул рукава и поволок добычу. Он полз — в одной руке узел, в другой — нож. Хотя он приближался к выходу, к воздуху ночи, дышалось почему-то все тяжелее...

Выбравшись, он быстро встал на ноги и тут же увидел наверху, над трещиной, черную точку. В одно мгновение точка превратилась в восклицательный знак, и по обеим сторонам, как концы чалмы, зашевелились уши. Чуя беду, волчица приближалась с опаской.

Хиел швырнул подальше фуфайку с волчатами и выхватил коробочек спичек. Тут, в трещине, была голая земля, ни травинки, и он поджег весь коробок сразу, и этот вспыхнувший клочок света бросил в морду зверя, как гранату. Волчица взметнулась. Сейчас же раздались два выстрела, и она улеглась на краю трещины, теперь уже недвижно. Возле нее зарычали овчарки.

— Кто там? — крикнул старческий голос.

— Ата! Ата! — ответил Хиел и стал карабкаться наверх.

Старый чабан подал ему руку.

— Э, да это ты? — удивился он. — Как ты сюда попал?

— Там, — сказал Хиел. — Сейчас...

Пришлось ему еще раз спуститься в трещину и вытащить волчат.

— Молодец... А она догнала мою отару. Пришлось мне возвращаться за ней... Только поставил юрту на ночлег — волчица! Мои помощники стерегут отару, а я пошел. У меня старый глаз, а верный — видишь?

— Спасибо вам!

— Тебе спасибо от колхоза. Разорил логово. За пять волчат премия полагается. Как тебя зовут?

— Не надо! Вы второй раз спасли мне жизнь.

— Э! — сказал чабан. — Человек живет с человеком. Одинокого волк съест...

Невезучий он человек, Хиел! Не подвернись старый чабан, лежал бы сейчас под волчицей... А может, везучий, ведь ему жизнь спасли, которой он рисковал так беспечно! Но если не удалось отделаться от обиды на себя, человеку всегда кажется, что ему не везет...

Ночи не было конца. От островка газабадских огней уползали в сторону слепящие пятна, катились по земле. Это машины бежали в Бухару.

Наконец Хиел вышел на дорогу. Он так устал, что сел у первого столба, обнял его и уснул, не заботясь, кто его найдет и что о нем подумают. Про волка все равно никто не поверит... Да и рассказывать не хотелось... К чему? Ему стало все равно. Он поднял голову на сигнал «москвича», когда уже светало. Кто-то махал ему рукой из машины, манил. Опершись спиной о столб, Хиел поднялся. В голове шумело. Мир кружился.

— Ах, как тебя потрепало, — сказал чей-то голос. — Садись...

На мягком сиденье «москвича» Хиел тут же снова уснул, упав на бок, и спал крепко, и даже видел какой-то сон про маму, надевающую сережки, хотя в его висках болело и дергало все сильнее. Один раз он вскинулся, увидел за окном вышку, потом в глаза полезла зелень акаций над глиняным забором — та, что он видел со своей вышки, издалека, и Хиел спросил седобородого старикашку, сидевшего впереди:

— Куда вы меня везете? Я не хочу туда!

— Спи, Хиел, — ответил тот.

«Откуда он знает, как меня зовут?» — подумал Хиел.

Но он ни о чем не спрашивал. Важно, что он снова был с людьми.

3

Добрый человек, подобравший Хиела, как вы уже догадались, был Халимом-ишаном. Так всегда бывает: одни теряют — другие находят...

«Это счастливый случай! — ликовал Халим-ишан, белобородый искуситель малодушных. — Как будто сам аллах послал мне его! Молодого человека можно сделать смотрителем Огненного мазара... Нам, старикам, не верят, а если будет возле колодца сидеть молодой... О! Только осторожней... Его можно приручить... Можно испугать... Можно прельстить деньгами...»

Понял и Хиел, куда он попал, когда они остановились у Огненного мазара, но голова его пылала, в лопатках нарастала ломота, и хотелось только лежать и лежать с закрытыми глазами. Стояли они недолго... Халим-ишан куда-то удалился, потрогав лоб Хиела и убедившись, что парень в жару... Шофер доставал воду, ворча, что пожарники почти опустошили колодец. Раньше доставали воду просто ведром, а теперь нужна длинная-длинная веревка... Покушаются на святое хозяйство! А заплатят?

Усталые люди у забора ели плов, набирая его горстями из тарелки. Хиел стал смотреть на них, как ни резало глаза распалившееся солнце. Мясо он потерял возле волчьего логова, и снова сосало в животе, а особенно хотелось пить. Плов был еще горячий, желтый, с большим количеством моркови. От него шел пар. Люди ели, обсасывая пятерни. Кончив есть, они поковыряли в зубах и принялись за чай. Смирив гордость, Хиел потребовал:

— Чаю!

Шофер молча кивнул одному у забора и показал глазами на Хиела. Тот приблизился с пиалой, спросил:

— Кто это? Сумасшедший или вор?

Хорошенький у него видик! Он потрогал ослабевшей рукой бороду. Не борода, а бородища... Куда ты такой денешься? Лежи! Хлопнула дверца. Хиел опять впал в дремоту, в забытье. Очнулся он уже в Бухаре, на другой день... Вернее, была ночь, и он не сразу вспомнил, у кого нашел приют... Ему померещился вагончик, но шарканье стариковских ног вернуло его в реальный мир. В вагончике никто так не шаркал, даже Бобомирза. А реальный мир, увы, был домом ишана.

— Слава аллаху, слава аллаху! — пробормотал ишан. — Ты выздоравливаешь, сын мой.

— Я совсем не ваш сын, — грубо ответил Хиел.

— Вот, выпей еще... И встанешь на ноги...

Ишан пошуршал бумажкой, вкладывая ее в пальцы Хиела. Другой рукой он подал пиалу с теплой водой.

И весь следующий день приставал с тем, чтобы Хиел макал бумажки в пиалу и пил затем эту теплую выжимку... Вода в пиале пахла лекарством. Но что было в бумажках? Повертев их перед глазами, Хиел увидел чернильную вязь арабских строк. Что это? И вот эти штуки он выполаскивал и пил после них «целебную» жидкость? Смех! Однако же чувствовал себя лучше.

Он лежал на толстых и мягких одеялах под окном, о которое терлась листва урюка. Длинная полоса света из двери перерезала комнату наискось. В ней возникла тень. Хиел повернул голову. Ишан стоял на пороге, нашаривая ногами шлепанцы, потому что ни один узбек не войдет в комнату в уличной обуви, а ведь ишан был узбеком. Он нюхал большую белую розу и улыбался.

— Салям алейкум, сын мой!

На этот раз Хиел стерпел «сына», забыл огрызнуться.

— Что здесь написано? — спросил он.

— Молитвы из Корана, сын мой. Они вернули тебе силы.

— Что за чушь! — сказал Хиел. — Вода пахла лекарствами, вы растворяли их, вот и все. Небольшой секрет.

— Такова благодарность грамотного юноши? — усмехнулся ишан.

— Нет, — смутился Хиел, — зачем же... Большое спасибо вам за то, что вы подобрали меня... помогли мне... Я сейчас встану и уйду...

— Ты еще слаб... Сейчас жена подаст тебе еду, от которой ты вспотеешь, как заяц, убегающий от собаки... Есть хочется?

«Заяц» напомнил Хиелу его бегство с вышки, всю его беду и вернул еще к одной реальности, за которой стояла неизвестность завтрашнего дня. Может быть, ишан нарочно сделал это? А может, Хиел был чересчур подозрительным?

Женская тень выросла на пороге, ишан принял из ее рук миску и поднес Хиелу. Это была горячая мастава — похлебка из риса и репы, заправленная кислым молоком. Как удержаться? Мастава пахла молодым барашком и была красной от перца. Пока Хиел незаметно для себя все быстрее расправлялся с ней, ишан шутил:

— Значит, ты не признаешь стихов из Корана? А напрасно! В Коране много мудрости. Посмотри, многое из того, чему учат вас в комсомоле, давно написано в Коране.

— Я не комсомолец, — сказал Хиел.

— О! — воскликнул ишан. — Прости, Хиел.

— Откуда вы знаете, как меня зовут?

— Я увидел сон... Аллах подсказал мне, что юноша бродит по пустыне и нуждается в помощи... И я поехал, не забыв спросить у аллаха твое имя. Иначе ведь я мог подобрать другого юношу.

Хиел подумал: может быть, по радио объявили его розыски, говорили о подвиге бригады Шахаба Мансурова и позорном бегстве одного из ее членов... Во всяком случае, он сказал ишану:

— Не рассказывайте, пожалуйста, сказки, ишан. Я не маленький. И я в это не верю, хотя вы и появились передо мной, как Хызр-спаситель.

— Хорошо, — сказал ишан, — хорошо... Не волнуйся... Никто не знает, что ты у меня, и я могу об этом молчать, сколько хочешь. Ведь тебя не ищут... Ты для них дезертир... Ты не должен был бояться огня, а ты испугался! Должен — не должен! — повторил он презрительно. — Я тебя не сужу, Хиел, как они. Живой человек иногда сам не знает, что он делает. Испугался, и все, как ты говоришь... Они тебя не простят, а я даже не виню, потому что знаю людские слабости... Поправишься, можешь уходить без благодарности. Я делаю то, что велит мне аллах. Я добрый человек.

А может быть, старик был прав? Может быть, он творил людям добро независимо от аллаха? Хиел присмотрелся к нему: белая кисейная бородка, невинные глаза... Сказочник! И Хиел ему улыбнулся.

— Ты видел мало ласки в жизни, — говорил ишан. — Ты вырос сиротой...

— Откуда вы все это знаете?

— Я сказал — ты не веришь...

— Я верю, что вы добрый человек, и все.

— Аллах меня надоумил так жить, Хиел... Люди живут рядом, а по-разному... Чудная вещь природа! На одной грядке растут перец и клубника. Перец накапливает горечь, а клубника — сладость. И люди так же, дитя мое. Не только в разных людях, в одном человеке соседствуют добро и зло. Я служу добру. А что ты думаешь делать?

— Пойду искать работу.

— Если бы ты захотел, я помог бы тебе и в этом... Можно работать у меня на мазаре... Деньги небольшие, но больше, чем на вышке... Ты пока не отвечай, ты подумай... Дай я подоткну тебе одеяло...

Хиел лежал, укутавшись. Изо всех пор его тела, как вода из губки, выступал пот. Перец делал свое дело...

— Белье твое выстирано. Рубашку я купил тебе новую... Встанешь, побреешься, вот тут все приготовлено, а тогда уж будешь решать про свое житье-бытье...

Ишан ушел, а Хиел все думал и думал... Потом он встал, побрился. К нему вернулись силы и уже просились наружу. Это было самое радостное...

В лад его настроению зазвучала где-то тихая мелодия дутара. Дутар — две струны. Две струны на деревянном пузыре величиною с дыню и длинный, во всю руку, гриф. Нет ничего проще дутара, и нет ничего нежнее. На дутаре не сыграешь громко, зато сыграешь сердечно.

Как звонкий шмель, верещал дутар, проникая в самое сердце, и пел девичий голос:

О мир! Как ты неверен! Ты заставляешь плакать...
Я пошла бы, смеясь, по свету!
Почему невозможно это?
О мир! Как ты неверен! Ты заставляешь плакать...

Хиел оглядел комнату — радио в ней не было. А голос лился ровно, как при радиопередаче, и тонко и непрерывно звучал дутар. Непрерывно, грустно, протяжно...

Он быстро вышел во двор.

Дом ишана, как множество домов старой Бухары, состоял из двух половин. Машкари — для гостей, ичкари — для семьи. Стена разделяла и двор. И по сути было здесь не два двора и не две половины дома, а два мира.

В ичкари не мог зайти чужой мужчина. Когда туда заходил глава семейства, женщины вставали и жена снимала с него халат и сапоги, подавала воду умыться и угощала чаем. Десять раз в день мог входить господин, мужчина, десять раз она вставала, отрываясь от работы, и повторяла ритуал встречи, как заученный урок.

Хиел вспомнил, что у тети Джаннат было то же... Хотя двор и не разгорожен глухим глиняным дувалом, как здесь, но невидимый барьер покорности и преклонения существовал.

Пробираясь между персиками и розами, Хиел подкрался к забору, стоял и слушал.

На другой лишь сережки — диво,
Я сама родилась красивой,
А плачу, и плачу, и плачу...

«Бедняжка! — иронически подумал Хиел. — Чего она так жалуется на судьбу? Кто бы это мог быть?»

Он сорвал розу с ближнего куста, взял ее в зубы и осторожно вскарабкался на забор. Девушка сидела к нему спиной. Узкое тело ее обнимало платье из цветастой, фиолетово-зеленно-черной материи, по которой краски разметались крупными пятнами. Толстая коса — такой толстой Хиел никогда не видел! — сползала на спину из-под расшитой золотом тюбетейки. Такие тюбетейки прославили Бухару на весь Восток, больше их нигде не делают. А так ли хороша она лицом, как поет?

Он слушал песню. Девушка словно бы трогала не струны, а сердце его. Бывают же такие чудеса! И откуда у него храбрость взялась — он спрыгнул в запретную зону и шагнул к певунье.

И тогда она оглянулась, а он замер. Он увидел точеный носик и три родинки на щеке. И длинные ресницы. И чуть выпяченные вперед губы.

Он протянул ей розу, но лицо девушки осталось неподвижным, хотя было обращено к нему.

Мутные раскрытые глаза не видели Хиела. Слепая! Нет, не может быть... Слепая!

— Ким сиз? — спросила она.

Он стоял, не дыша, с протянутой в руке розой.

— Кто вы? — повторила она.

— Я принес вам розу, — тихо сказал он.

— Уходите быстрей! — попросила она тут же. — Я крикну папу.

— Ваш папа Халим-ишан?

— Да.

— Он ушел.

— Я маму позову.

Она отодвинулась и прижалась к стене.

— Не бойтесь меня. Я не принес вам никакой беды. Ничего, кроме цветка.

Голос его не угрожал ей, и она уже не так пугливо жалась к стене. Почему он принес ей розу? Вот что теперь можно было прочесть на ее лице, чистом, белом.

— Как вы сюда попали? — прошептала она.

— Ваша песня позвала меня. Возьмите...

Она взяла розу с той застенчивостью, которая связывает девушку, чувствующую, что она нравится кому-то.

— Спойте еще.

— Я не могу... Я просто так... Ой, как мне стыдно, что вы слышали мое пение, — сказала она, прикрывая лицо рукой.

— Я уже давно у вас живу, — сказал он, чтобы унять ее смущение. — Меня зовут Хиел. А вас?

— Оджиза, — ответила она и, нащупав рукой косяк двери, скользнула внутрь дома.

Он вернулся так же, как и попал сюда, через забор, но это был уже другой Хиел. Что бы он ни делал — просто лежал, закинув руки за голову, сидел в саду или соображал, как быть дальше, он думал об этой девушке. Слепая... Вот почему она так тоскует... Вот откуда рвется ее песня... из этой боли. Она не видит мира, в котором живет... Оджиза.

На другой день он подарил ей три розы.

Хиел не уходил из дома Халима-ишана, а старик не торопил его. Наконец он спросил:

— Ну, дитя мое, не пора ли тебе сказать, куда смотрят твои глаза?

Хиел замер, весь затаился внутренне: о чем это ишан? Уж не читает ли он его мыслей о дочери?

— Что вы хотите от меня, ишан?

— Я хочу знать, будешь ли ты моим помощником на Огненном мазаре? — спросил ишан неожиданно требовательно и резко.

— Не знаю.

— А тут и знать нечего, Хиел, — тем же тоном проговорил ишан, пропуская между пальцами седую редеющую бороденку. — У тебя нет другой дороги... Хорошие дети свято хранят все, что связано с именем отцов. В этом одна из главных заповедей ислама, оплотом которого является наша священная Бухара. Еще является, слава аллаху! Сын идет по стопам отца, а внук по стопам деда... Мой дед был муллой, и отец был муллой. Посмотри на меня! Я берегу дом отца и его честное имя. А теперь дома родителей не только продают, но и пропивают... Выбирай себе путь, Хиел, достойный или недостойный...

— Я не понимаю... При чем тут я?

Ишан помолчал, сверля Хиела проворными глазами.

— Разве ты не знаешь, кто твой дед Сурханбай?

При упоминании о деде Хиел становился глухонемым.

— Не знаешь, что он жив? — продолжал Халим-ишан, пощипывая бородку и изучая Хиела въедливыми глазами. — Он святой человек, ходжи, припавший губами к земле самой Мекки! Оттуда он шлет нам свое благословение!

— Откуда вы знаете?

— Я все знаю.

Они сидели друг против друга на коврике. Халим-ишан похлопал в ладоши, как в старых сказках. Оджиза внесла поднос с миндалем и изюмом и чайник ароматного чая с двумя пиалами. И даже дед, оживший в Мекке, не мог оторвать насупленных глаз Хиела от ее лица. А когда она неслышно ушла, улыбаясь ему затаенной улыбкой, самой робкой из всех виденных им улыбок, он ответил ишану:

— Я ненавижу деда.

4

В тот предалекий год, когда в Бахмале раскулачивали баев, живших чужим трудом и ростовщичеством, Сурханбай задумал обхитрить всех на свете. Он отказался от земли и воды, поскольку они требовали много хлопот, а попросил оставить ему только небольшое стадо каракулевых овец, которых он сам обещал пасти и холить, чтобы зарабатывать себе на пропитание.

Что такое овцы? Это золото на ногах. Куда их ни перегони, ты с золотом.

А перегнать их Сурханбай нацелился далеко — за границу. Любимую доченьку Джаннатхон он выдал замуж за бедного подпаска Азиза, сына Хазраткула, который когда-то гонял его верблюдов по караванным тропам на дальние базары, а сына Зейнала приняли в колхоз, как безземельного, безлошадного и безовечного.

И, надев старый халат молодого зятя, хитрый Сурханбай погнал своих овец в приграничные Тамдынские степи. Стадо служило ему лучшим пропуском. Возле границы тоже растет трава, а пока траву можно щипать, овцы идут по ней... Овцы шли и ощипывали кочки под ногами, будто прощались с родной землей, с каждой травинкой на ней.

Сурханбай гнал отару, минуя водопои, чтобы не встречать лишних людей, и овцы дышали тяжело и часто, как собаки. Зато одной ночью благополучно достигли роковой черты... Тут клонились под ветром камыши. Ударяясь друг о друга, выпрямляясь и снова клонясь, они непрерывно монотонно шуршали, как будто тебя окружали приближающиеся часовые. И в самом деле, едва Сурханбай погнал овец напролом через камыши, мимо полосатого столба, как откуда-то властно закричали:

— Стой!

Куда там! Это подхлестнуло его еще больше. Овцы блеяли. Сурханбай ругался и бил их палкой. Раздались выстрелы. Одна овца упала ему под ноги, он нагнулся и почувствовал на руках кровь, другая терлась о него, ковыляла, хромая, и Сурханбай попытался приподнять ее и понести на руках, но не смог.

— Не стреляйте! — заорал он. — Не стреляйте! Это овцы! Мы заблудились! Я пастух!

На какое-то время стрельба стихла. Сурханбай заработал палкой живее, подгоняя овец вперед. Еще раз загремели выстрелы, а когда стихли совсем, он понял, что дело сделано.

Да, теперь никто его не заставит стыдиться своего имени и имущества. Никто не обзовет бранным словом «бай»! И овцы его с ним! Из ста овец народится тысяча, из тысячи десять тысяч, он станет ездить по свету и возить свои серебристые смушки на международные ярмарки...

О, благословенная земля! Мусульманабад, где вера нерушима и порядок жизни, заведенный ею, тоже... В Мусульманабаде надо быть мусульманином... Разостлав кушак, Сурханбай намотал на голову чалму, взял в руки четки и принялся молиться...

Но счастье его было недолгим. Набежавшие афганские пограничники прежде всего отгородили его от овец. Сурханбай подумал, что они хотят постеречь их, пока он молится, и стал бить поклоны вдвое усердней, чтобы показать, какого верного сына получила эта богобоязненная страна. Он то изгибался, как лук, то стоял, как кол, и все шептал забытые слова — дома ему так молиться не приходилось. Когда же он кончил, его обыскали и отняли серебряные целковые, золотые кольца и украшенные драгоценными камнями серьги вместе с поясным ножом.

На заставе его зарегистрировали, как беженца из страны кяфыров, то есть неверных.

— Иди! — велел ему конвоир.

— А овцы? — спросил Сурханбай. — А кольца? А серьги? А мои целковые?

— Иди! Иди!

Два дня его самого гнали по каменистым тропам, как овцу. По обеим сторонам троп росли такие колючки, которых не встретишь в Тамдынских степях. Ноги скоро покрылись волдырями. Он со слезами на глазах объяснял это конвоиру, но тот оказался недогадливым. Только и знал, что штыком указывал ему дорогу. Сурханбай смекнул, что его надо подкупить.

— Я тебе дам три овцы, — сказал он, показав три пальца. — Пять! Десять!

— Каких это овец ты мне дашь?

— Моих.

Мусульманин нагло засмеялся.

— Тебе приснились овцы, что ли?

— Мои овцы! — закричал Сурханбай, как будто ему воткнули нож в сердце.

— Не было у него никаких овец! — сказал конвоир начальнику лагерной стражи.

— А серьги? А кольца? А деньги? — цеплялся за него Сурханбай.

— Ничего не было. Все врет. Жулик!

Он оказался в незнакомом месте среди незнакомых людей, нищий, как последний бухарский водонос. У него без конца брали отпечатки пальцев и клятвы на Коране, что он прибыл сюда без злого умысла. Но Сурханбай еще верил, что в Мусульманабаде все права верующих охраняются не только штыками стражи, а и шариатом. И он накарябал большую жалобу начальнику, выменяв лист бумаги на поясной платок. После этого его перевели в загон для подозрительных лиц.

Спали они на свежем воздухе, над ними было голое небо, а вокруг горы да камни. Кричи и плачь сколько влезет, никому до тебя нет дела, а соседям и вовсе. Каждый был занят думами о том, как бы прожить день. Молодые уходили на поденную работу к местным земледельцам, зарабатывая на полуголодное существование, а старики ждали подаяния, как беспомощные скитальцы. Вот так рай!

Тогда Сурханбай сказал себе: аллах велик, но ведь и ты чего-то стоишь. Сумел же обхитрить всех в Бахмале, не сплошаешь и здесь.

Он подрядился носить землю на горное поле одного хозяина, но уже на третьем витке тропы бросил корзину и бежал куда глаза глядят. Одежда на нем давно превратилась в рубище, ему не надо было даже притворяться странствующим нищим, дервишем. Суму он сшил еще в лагере, но что-то она не становилась тяжелей от подаяний. Видно, здесь не в почете был святой Бахауддин, покровитель нищих, и напрасно Сурханбай слезливо повторял у кишлачных домов причитания каландаров, таких же бродяг, как он.

Религия единая, язык похожий, а кровь разная, совершенно чужая... Незнакомая страна.

А была она красива...

С высоких гор рушились ручьи и перебегали дорогу, звеня в чистых камнях. Вода была в них холодной, как лед, она еще несла в себе белое дыхание снегов, навек укрывших вер-

шины... Там, возле владений аллаха, кружили орлы, а внизу лепились к горам селения и еще ниже лежали зеленые поля...

Ехали всадники в каракулевых шапочках, напоминая Сурханбаю его овец. Гнали своих верблюдов чернобородые и рыжебородые кочевники, не отвечавшие на поклоны. Они смотрели вперед, будто им не было дела до окружающих. С ними они общались, когда сами хотели этого. Проходили люди, похожие на самого Сурханбая, и многим мешковина заменяла халат...

Глядя вокруг, Сурханбай впервые начал разбираться в том, что к чему. Голод учит... Но на донышке сердца Сурханбай еще нес надежду... Долго нес. Недаром говорят: надейся! С надеждой вошел он наконец в Кабул. Не так, как входят победители. Не вошел, а приплелся...

Никогда он не видел таких пестрых, таких многоцветных городов. Лавки с фруктами теснились на улицах, и фрукты играли всеми красками. Полосатые халаты делали нарядной толпу. Из-за жары многие носили их внакидку, так что болтались рукава. Женщины закрывали лица яркими косынками... Старики обвивали головы белоснежными тюрбанами с длинными концами, свисающими до живота. Время от времени они подбирали эти концы и вытирали бронзовые лица, как полотенцами.

А крику! А шуму!

Ослики, верблюды, арбы, машины...

Толпа завертела Сурханбая, но он буравил ее, настойчиво пробираясь к своей цели. И, шевеля губами, все читал молитвы, которых узнал и вспомнил по дороге превеликое множество.

Так он перешел через мост, висевший над почти безводной рекой. И попал в еще более тесное окружение маленьких бакалейных, галантерейных и ремесленных лавок и лавчонок. Шелка свисали по стенам лавок, стопами лежали ковры, но у Сурханбая не было денег даже на пуговицы, и штаны его поддерживались веревкой. Царственные старики торговали финиками и куртом — соленым сыром, но Сурханбай мог разве что украсть...

Единственным местом, где застрял Сурханбай, был базар каракулевых смушек. Эти смушки в жемчужно-черных колечках ослепили его. Он не мог оторвать глаз и все вертелся среди высокомерных торговцев, приценяваясь и пересчитывая, сколько он потерял.

— У меня тоже были овцы! — крикнул он в лицо одному торговцу, который замахнулся на него тяжелой тростью. — Я пришел, чтобы вернуть их!

С этой просьбой оказался он под стенами дворца падишаха.

Дворец стоял неприступный, как крепость. Стены, сложенные из бледно-желтого азиатского кирпича, словно выкаленного солнцем, поднимались высоко, но еще выше поднимались сторожевые башни. И толстые стены не пропустили Сурханбая. Единственное, что он услышал из уст красавца стражника:

— Прогоните этого сумасшедшего!

И его прогнали камнями даже не сами стражники, а мальчишки.

Вот когда он почувствовал себя сиротой на земле.

Несколько монет, собранных за дорогу ценой голода, он отдал судье, к которому обратился за помощью. На каждую монету пришлось по вопросу:

— Есть ли у вас документы, что овцы отобраны, и сколько их было?

— Нет, казый.

— Как зовут пограничников, которые отобрали ваших овец?

— Я не знаю.

— Не думаете ли вы, что сам падишах отобрал ваших овец?

Сурханбай промолчал. А судья подытожил:

— Истец налицо, но нет ответчика.

Так Сурханбай простился с надеждой, которая грела его, и стал жить без надежды, совсем одинокий.

На улицах ему все время говорили «отойди», и никто не говорил «подойди». Один раз Сурханбай попытался наняться муэдзином в окраинную мечеть, но над ним посмеялись... Голос его не долетал с минарета до земли. А там состязались молодцы, у которых голоса хватало на три-четыре квартала. Пробовал он заниматься лечением людей, читая Коран. Подвела недостаточная грамотность. Люди стали замечать, что, переворачивая страницы, он читает одно и то же...

И попал Сурханбай в самое жалкое племя тех, кто не знал, чем будет жить завтра, в племя изгоев. Если удавалось поднести кому-нибудь покупку с базара, зарабатывал на лепешку, но иногда и того не было. Брали носильщиков помоложе... Поступил учеником сапожника! Но пальцы не сгибались, не слушались, и добро колол бы он только свои ладони, а то и кожу там, где не надо, и сапожник прогнал его. Встретился ему земляк, самаркандец, державший шашлычную. Но самое большее, что он смог, — угостить шашлыком, а разносили шашлык посетителям быстроногие мальчишки...

Уже некуда было опускаться, но он опустился еще на одну ступень: стал водоносом.

Как он презирал когда-то бухарских водоносов! Кто из них имел приличную одежду, кто ел досыта? Но в Кабуле эта работа была еще презренней, как работа осла, которого только подгоняют палкой, забывая кормить. К середине лета река пересыхала, обрастая рыжим болотным бакатуном. Из-за ведра воды дрались сотни водоносов. Этой водой можно было только поливать улицы, прибивая пыль.

Для питья воду брали из источников. Их владелец забирал все деньги и рассчитывался с водоносом раз в неделю, в базарный день. Тогда Сурханбай наедался и снова оставался без копейки. Разве что пил он больше других... Потом хозяин вместо денег стал давать болтушку. А потом и вовсе источник оказался на замке — высох. К другим же было не подступиться — свои же водоносы били до полусмерти. Конкуренты! И никакого профсоюза!

Так Сурханкул остался без работы. Да, давно уже он переменил имя, стал не Сурханбаем, а Сурхан-рабом.

И задумал он опять пуститься в дорожные странствия с сумой, бежать из Кабула. Но куда было бежать от своих мыслей?

Ночами под сводами кишлачных мечетей, дававших приют бродягам, он не спал, он лежал с открытыми глазами и думал. Он был виноват перед Советской властью, но какой грех совершил он перед аллахом? Мир был велик, в нем умещались и богатые и бедные, счастливые и несчастные, почему же для одних он просторен, как небо, а для других тесен, как петля на шее? Не потому ли, что одни обманывали других, как его обманули на границе? Небо далеко, а земля жестка... И Сурханбай ожесточался. Он стал плохо думать об аллахе, хотя и считал, что все происходит по воле божьей... Но, может быть, потому он и корил исподтишка аллаха? Он страдал. Как он страдал! За что?

И стали ему сниться полосатые столбы. Он вспоминал детей и знакомых. Подадут ли ему хоть каплю воды перед смертью здесь, на чужбине? Часто он валялся больным, но никто не спрашивал его, что у него болит. Здешние знахари, табибы, не склонялись над человеком, если он не приводил им барана. Снилась ему Бухара, за которую сейчас он отдал бы все! Но кто простит его? Нет пути домой... Заблудившийся человек!

Во дворах мечетей стелили драные циновки для нищих. Иногда ставили чашки с постной похлебкой из пшеничной сечки. А нет похлебки — так лижи циновку.

Сурханбай привык к тому, что просыпался среди голых людей. Это были трупы, безыменные, с подвязанными челюстями. Кто-то уже, как мог, позаботился о них, таких же странниках, как он... Кафангодо — люди без средств на похоронный саван... Служка мечети закрывал их лица тряпками и ставил в головах чашку. И трупы лежали, пока в чашке не набиралось столько, чтобы можно было обмыть тело, купить кафан, обернуть и похоронить по-мусульмански. Одним кидали больше, другим меньше, ведь никто не заглядывал в чашки, и мертвые делились между собой. Мертвые поступали щедрее живых. Теперь у них была одна судьба.

Тянулись годы — Сурханбай не считал их. Зачем? Он только прикидывал в уме, что если Зейнал женился, то у него уже выросли дети, не зная, что Зейнал давно погиб из-за отцовских овец, а у детей Джаннатхон, наверно, уже есть свои дети, так что он прадед... Однажды, размышляя так, он сидел в пыли возле чайханы, допивая с разрешения чайханщика чей-то чай. Его окликнули:

— Эй, покорми наших ослов!

Он увидел животных, привязанных к стойлу, и накидал им люцерны. А потом еще и почистил их... А потом просто стоял и гладил их шерсть и длинные уши... Усердие всегда заметно. Эти люди шли в Мекку, и они взяли Сурханбая погонщиком каравана.

Перевернулась еще одна страница судьбы, предначертанной ему на земле. Но не последняя...

В Мекку, как известно, идут пешком, иначе что же это за святое паломничество? На ослах везут только поклажу. Горы, степи, мертвые, желтые, как повсюду, пустыни остались за спиной, и они достигли священного города. Чье даже измученное мусульманское сердце не возрадуется такому? Кто побывал в Мекке, кто пришел сюда на окровавленных ногах, совершив подвиг преодоления пути, тому уготовано место в раю.

Земля была создана в Мекке.

А сама Мекка возникла из охапки морской пены. Не потому ли она такая белая? Белые стены, белые купола мечетей...

Адам появился там, где самый высокий купол, так слышал Сурханбай, и вот он видит все это.

Вот здесь Адам встретился с Евой.

В Мекке Байтулла — пуп земли и Арафат — сад мира!

Ах, если бы он мог рассказать об этом в Бахмале! Нет, видно, все было не зря... Неисповедимы пути господни, но в конце концов проясняются.

Пока его хозяева посещали святые места, Сурханбай ухаживал за ослами и готовил или приносил пищу. В Мекке ежедневно кипели большие котлы: паломники побогаче из дальних стран покупали и дарили баранов паломникам победнее. Первые считали, что за это им отпустятся все грехи и можно будет снова грешить, когда вернешься домой, а вторые ели до отвала, убеждаясь в том, что Мекка и впрямь самый счастливый город. На каждом углу сидели нищие и восхваляли Мекку песнопением, в каждом доме жили чудотворцы, принимавшие дары. Сурханбай слушал, как поют шейхи, запоминал, ему тоже хотелось когда-нибудь где-нибудь прославить Мекку.

Хозяева закончили паломничество, получили звания святых — ходжи — и, наполнив свои сумки священными финиками, а баклаги святой водой зем-зем, улетели домой на самолете. Грешники должны были тащиться пешком, а святые уже могли летать. За комнату больше никто не

платил, и Сурханбай снова очутился на улице. Ну что ж... Он решил славить Мекку и сел на одном углу, чтобы петь песни. Не тут-то было! Как куры клюют чужую курицу, другие песенники налетели на него. У каждого был свой угол.

Какой-то одноглазый шейх сразу сказал ему:

— Убирайся домой, откуда пришел, и там можешь обирать народ сколько хочешь!

Ведь ходжи за рассказ о Мекке всюду давали дань.

— У меня нет дома, — ответил Сурханбай. — Мой дом в Бухаре.

— В Бухаре? — закричал одноглазый и потащил его за собой.

Сурханбай слышал, что по земле прокатилась большая война, что его родина истекала кровью, но победила, и совсем не знал, какая теперь Бухара и что в ней делается. Но его заставили говорить так, как будто он вчера из Бухары, и рассказывать, что там разрушают мечети и преследуют верующих... Ему дали золоченый халат, он стал Сурханбаем-ходжи, изгнанником из благородной Бухары, его таскали из мечети в мечеть, с кладбища на кладбище, и везде он повторял, как плохо приходится сынам ислама в Бухаре, а ему жертвовали деньги на восстановление попранной веры и защиту ее отцов. Ведь он выступал как защитник мусульман из страны кяфыров...

Чем больше он сочинял, тем больше давали. Ложь и приношения возрастали в пропорции десять к одному. Но из этих сумм святой Сурханбай не мог брать себе ни копейки. Он даже и не держал их в руках, все загребали его помощники, а ему доставалась маленькая доля.

Чтобы подбодрить себя, он написал отсюда письмо Халиму-ишану, но не получил ответа.

Халим-ишан не любил заграничной переписки...

И снова душа Сурханбая заметалась, как больной в лихорадке.

Как-то он признался бедному паломнику, что давно не видел Бухары, ничего про нее не слышал и никогда не был муллой. Плохой слушок пополз после этого по улицам Мекки...

— Убегай отсюда, да поскорей, — посоветовал ему одноглазый, носивший уже парчовый халат. — Шейхи зароют тебя живым в землю...

Сурханбай и сам давно подумывал о бегстве. Ему опротивели эти люди. Страшно стало среди них. Захотелось остаться наедине с собой, оказаться там, куда не ступала нога человека. И ночью он ушел из Мекки в сторону пустыни Борса — Кельмес, которую не зря зовут «Пойдешь — не вернешься». Он и не хотел возвращения...

Но, видно, в наше время нет непроходимых пустынь.

Через несколько недель он оказался на границе Арабской республики, и там его, безразличного ко всему, задержали. У него потребовали документы. Сурханбай засмеялся. Какие могли быть документы, когда у него не было места на земле? И вдруг он вспомнил... В рукаве изодранного халата у него была зашита справка, которую он хранил всю жизнь. Это была справка о раскулачивании с большой круглой печатью. Чернильные буквы на ней давно выцвели и стерлись, но печать осталась. И пограничники, увидев изображение серпа и молота, заулыбались и воскликнули:

— Вы из Советской страны, уважаемый?

— Да, — вздохнул Сурханбай.

— Что же вы молчали?

Они стали оберегать его, как сокровище. Каждому новому начальнику показывали его справку с печатью, где были серп и молот, его умыли, переодели и опять показывали всем:

— Советский мусульманин!

Сурханбай сначала так испугался, что молчал и молчал. Но добрые улыбки людей потихоньку развязали ему язык, и он стал говорить, что хотел бы скорее вернуться домой.

— Мы отправим вас на самолете в Каир! — сказал один начальник, бережно возвращая Сурханбаю его справку.

Люди рассказывали попутно, что Советская страна помогает им привести жизнь в пустыню, строит плотину на Ниле, и благодарили. Сурханбай понимал, что это не его привечали, а покинутую им, преданную им страну, но все равно слезы наворачивались на глаза, и странно — сердце наполнялось гордостью!

— Я готов за все отвечать, сынок! — сказал он советскому консулу в Каире, когда его привезли в белокаменное здание с красным флагом у входа. — Лучше быть нищим дома, чем падишахом на чужбине!

Тем более, что он никогда и не был падишахом.

— Я хочу хотя бы умереть дома. Я устал от чужбины.

В те дни, когда Халим-ишан пугал Хиела призраком деда, Сурханбай, оформляя документы для возвращения в Бухару, ходил по Москве, катался в метро и пил газированную воду из красного автомата...

Как видите, жизнь иногда такое выкинет, что нарочно не придумаешь. Попробуй-ка заранее предсказать судьбу!

5

Между тем Хиел все больше влюблялся в слепую дочку ишана и не торопился уйти из его дома.

Кроме фуфайки да материнских серег, не было ничего у Хиела. И никого на примете. Поэтому он рассуждал так: «Я свободен, как ветер». Людям, пожившим в этом мире и поме-

нявшим уже на своем веку пар двадцать ботинок, известно, что нет ничего опасней этой мысли. Она враз занесет человека, куда не надо, как буря вырванную с корнем травинку. И может случиться, что человек, как та травинка, уже никогда не встанет на ноги.

Но молодости эта истина, как и многое другое, кажется чепухой. Молодость путает свободу с безответственностью.

И Хиел думал: я люблю Оджизу, и черт с ним, с этим Газабадом, пусть хоть весь сгорит и провалится. Я люблю! Зачем мне вышки, пустыня и все остальное? Да, да, пусть их видит мой затылок, а глаза будут смотреть в лицо Оджизы, одной-единственной, которая мне нужна.

И он сидел и смотрел в ее незрячие глаза.

В те короткие часы, когда они оставались одни, когда взрослые уходили по делам, Хиел перепрыгивал через забор с охапкой роз, а Оджиза угощала его чаем, заваренным особенно ароматно. Она рвала урюк и персики и приносила их на тарелке. Все дорожки в этом саду и все деревья были ее друзьями. Оджиза свободно двигалась среди них, и они вели себя осторожно с нею, не задевая веточками.

Он пил чай, а Оджиза пела. Осмелев, она без прежней застенчивости брала в руки свой дутар, и песни ее были теперь веселее. Лишь иногда ею вдруг овладевала грусть, и пальцы ее дрожали. Он видел это. Пальцы ее дрожали, а из-под них лилась непрерывная воркующая мелодия. Это пело само существо ее. Голос ее души. Оджиза перебирала пальцами на месте, и мелодия, как на прялке, связывалась в долгую нить. Она разговаривала со струнами или струны с нею?

А Хиел хвалил ее голос, ее игру и ее волосы.

Как-то он тихонько взял в руку ее тяжелую косу, перекинутую через плечо, но она почувствовала и освободила косу из его руки. Точно и коса была живая, с обнаженным нервом.

Она освободила косу, а из глаз ее потекли слезы.

— Оджиза! — сказал тогда Хиел. — Вы будете видеть!

— Нет такого кладбища, куда бы меня не возил отец на исцеление. Все напрасно.

— А врачи! Он показывал вас врачам?

— Аллах лишил меня зрения, чтобы я не видела ненужного.

— Так говорит ваш отец?

— Да.

И она рассказала о себе.

Ей хотелось быть похожей на других девочек, она очень плакала, и отец скрепя сердце отдал ее в школу для слепых. Там она научилась золототканому делу — вот эту тюбетейку она сама вышила — и еще игре на дутаре. Теперь она только убирает дом и играет на дутаре. Отец не разрешает ей брать работу из артели...

— А вы что будете делать?

— Еще не знаю, — неопределенно ответил Хиел.

Ему казалось, что ведь и работа на мазаре — это в конце концов работа.

— Даже муравей и тот тащит куда-то свою соломинку, — сказала Оджиза.

— Откуда вы знаете про муравья? — спросил он.

— Нам учительница рассказывала в школе...

Она тихонько коснулась его руки кончиками пальцев, будто бы погладила ее, и сердце Хиела задохнулось от ласки в ответ на эту ласку.

— Вы не скажете, Оджиза, — приблизясь к ней, спросил Хиел срывающимся голосом, — откуда в вашем доме все про меня известно?

— А вы не выдадите меня?

— Нет, скорее умру! — воскликнул Хиел.

— Ваша тетушка Джаннатхон была в нашем доме. Когда вы... когда вы... — Она запнулась и не сразу договорила: — Когда случилась катастрофа на вышке, ваша тетушка Джаннатхон прибегала к папе, чтобы он помолился за вас. Она все ему рассказала. Но только просила, чтобы папа не выдавал ее, вот почему и я вас прошу. Ведь ваш дядя работает в обкоме, и ваша тетушка Джаннатхон боится его. Это может ему повредить, да? Она очень волновалась за вас, не зная, где вы... Отец запретил нам говорить про Джаннатхон. Он меня убьет!

Испугавшись, Оджиза замолчала. А Хиел сжимал ее руку.

Ничего больнее не могло поразить его, чем эти слова о тетушке, прибегавшей сюда с просьбой помолиться за племянника. У него перехватило дыхание, как от удара в солнечное сплетение, и не сразу он набрал воздуха для нового вздоха.

А ишан-то!.. «Я увидел про тебя сон, дитя мое!» Вот так Хызр-спаситель! Длинный язык тетушки принес ему полезную весть, как сорока на хвосте. Остальное было делом случая... Ну, Хиел, ну, учит тебя жизнь, молодого дурака!

Ну что же... Он по-своему рассчитается с ишаном. Он уйдет сам и уведет отсюда эту девушку, свою Оджизу.

«Хоть убей меня, — подумал Хиел, — я возьму ее!»

Напрасно они считали, что их встречи оставались незамеченными. Хитрый старик давно видел, что любимые кусты его роз пустеют, а в комнате Оджизы появлялись букеты из сада. Ишан самодовольно ухмылялся, опуская острый нос в эти букеты. Если такова воля аллаха, он и вовсе не против... Зачем противиться аллаху? Он получит не только помощника, но и зятя. Зятя, который не с улицы пришел, не без роду, без племени, а внук самого Сурханбая-ходжи. Это сильно поправит пошатнувшие-

ся дела ишана... Вознаграждалось его терпение. Он потирал руки и даже велел жене почаще уходить из дому.

Вот и сейчас ее не было.

А Хиел думал об одном: за последние годы лишь один человек попытался ласковой ладонью прикрыть раны его сердца — эта была слепая Оджиза. Уйдет ли она с ним? Ведь и ее единственным спутником до сих пор была только мечта... Ах, какие мечты одолевают молодые умы! А все ли сбывается?

— Оджиза! — сказал он. — Уйдемте со мной из этого дома. Уйдемте! Я никогда не обижу вас, никогда! Без вас я не найду покоя, а вместе мы будем счастливы.

Он еще что-то говорил и говорил сбивчиво и решительно, а она молчала. В ней боролись страх и любовь. Страх ей внушил отец, а любовь противоречила законам религии. Послушание, богобоязненность — все, что было, как твердили ей, белым, казалось ей черным, а греховное, запретное казалось чистым, как капля солнца, которая проникала даже в ее слепые глаза.

Страх и любовь... Сколько стоит свет, столько борются они на свете. И слава аллаху, что и на этот раз любовь победила!

— Куда бы вы ни позвали, — сказала Оджиза, — я пойду.

Теперь представьте себе выражение лица и ярость ишана, который, вернувшись из мечети, застал дома одну плачущую жену.

— Что случилось? — спросил он, не желая верить тому, о чем догадывался.

— Опозорили! — причитала она. — Сбежали!

— Хулиган! — закричал ишан, подняв сухонькие кулаки. — Хулиган! Разбойник! А где ты была? — В сердцах он пнул жену ногой.

— Вы же сами велели мне уходить и подольше не возвращаться!

Халим-ишан, словно намереваясь схватить беглецов, побежал к калитке, но куда там! Их и след простыл. Схватившись за голову, он вернулся в дом. Он вышел во внутренний дворик, сел на деревянную кровать, где всегда играла его дочь: маленькая — с тряпичными куклами, а большая — на дутаре.

Жена свалилась к ногам ишана, клянясь, что ничего не знала о замышлявшемся побеге, и оправдываясь. Всю жизнь она провозилась в этом доме и даже сейчас не слышала доброго слова, когда и ее сердце разрывалось. Муж дергал бородку.

— Кто теперь поверит ишану, который не мог удержать в руках свою собственную дочь?

Жена все выла, а он перебирал четки, и, гремя, они вращались быстро-быстро.

— Нет, — сказал он. — Этого не может быть... Она опомнится... Я всю жизнь внушал ей почтение к аллаху и родителям... У нее чистая душа... Душу нельзя заменить, как лампу телевизора...

Они подождали до ночи, но Оджиза не появилась.

Ночь дрожала далекими звездами, где-то ворчали и взлаивали собаки, ишан долго сидел молча, потом сказал:

— Они еще пожалеют! Они не знают Халима-ишана.

ГЛАВА ПЯТАЯ

1

Новая служба разорвала семейную жизнь Бардаша на странные, непривычные клочки: долгие мысли о Ягане, короткие свидания в пустыне, сон в пути, обеды в тихой и строгой обкомовской столовой. Но хуже всего была горечь одиночества. Эта горечь усиливалась еще одним, ранее неотчетливым чувством. Как-то он всю ночь пролежал с открытыми глазами, даже не стараясь заснуть. Он думал о том, что у них нет ребенка.

И ни затянувшаяся из-за войны учеба, ни трудные годы скитания с поисковыми партиями не являлись оправданием. Эти воспоминания не могли утешить.

Узбеки любят детей больше всего на свете. Они говорят: дом с детьми — цветник, а без детей — кладбище. В доме с детьми весело, а без них — могильная тишина... Он запутался — это были пословицы или строки стихов? Но это было так...

Надо было делать пеленки из газет в ту благословенную студенческую пору, надо было возить детей в вагончиках буровиков, вывешивая под солнце распашонки и рубашонки, как многие счастливцы — вовсе не беспечные, не беззаботные, а живые, полные естественной радости люди. И учить малышей в кишлачных школах.

Может быть, кочевое детство богаче оседлого!

Он хотел ребенка.

И вдруг эта новость! Да правда ли? Теперь и врачи сказали, правда. Под сердцем Яганы застучала новая жизнь, которой скоро несовершенный мир скажет: здравствуй!

К приезду Яганы в Бухару Бардаш купил много вещей — кроватку, мяч и даже детскую пижаму. Ягана смеялась над ним и ласкала вещи.

Ее вызвали на бюро обкома в связи с аварией, и они оба знали, что дни будут нелегкие, но раз знали, то и не говорили об этом много.

Он берег в ней будущую жизнь, которая уже началась. Ягана тоже держалась мужественно. Что ж, она работала, как могла, в полную силу. Если ее не будет в Кызылкумах, вышки останутся. Буровые стоят на газе.

О бегстве Хиела она рассказала все, как было. В ту минуту иной раз невиноватому, замешкавшемуся человеку кричали: трус! А с трусом было не до учтивости, хотя она теперь и жалела, что погорячилась, и беспокоилась о парне больше, чем о себе.

Шоферы-водовозы и трубовозы не видели его на дороге. Дома, у Джаннатхон, Хиела тоже не было. Бардаш успокаивал:

— Найдется. Смелый мог бы пойти через пустыню и погибнуть. Трус везде спасется... Забился где-нибудь в щель и дрожит как осиновый лист, дурак.

Только что Ягана позвонила Джаннатхон — та ответила слезами, кинула трубку. Ягана нахмурилась, присев у телефонного столика и подперев щеку рукой. Бардаш улыбнулся:

— Не надо оплакивать живого!

— Она не хочет со мной разговаривать.

— Вот увидите, она сама позвонит вам и скажет, что он явился.

Бардаш успокаивал, отвлекал, хотя сам волновался и в отсутствие Яганы не раз звонил в милицию, искавшую Хиела Зейналова по дорогам и отделам кадров новостроек.

А жизнь шла своей всесильной поступью, торила дорогу к новым ожиданиям и надеждам, и в этой жизни, между прочим, если вы не забыли, настала очередь и для свадьбы, на которую давно позвал Бардаша его друг и шофер Алишер.

Было решено идти туда вместе с Яганой.

Ягана одевалась, Бардаш ждал ее, покуривая на скамеечке во дворе, а к его коленям жалось несколько мальчишек в поношенных тюбетейках. Уличные мальчишки лепятся к тем, за кем приезжает машина, да еще такой «козел» пустыни, как у Бардаша.

— А у вас есть большой-большой автомобиль? — спросил один.

— Есть.

— Сколько в нем лошадиных сил? — спросил другой.

— Тысяча! — ответил Бардаш, считая, что для детской фантазии этого хватит с лихвой.

— Подумаешь! — сказал третий. — У Гагарина было десять тысяч.

А вот и Ягана.

Обвини ее прокурор, засуди ее судья по самой горькой и суровой мерке, она станет ему еще дороже и ближе, потому что он все разделит с ней поровну, что было и что будет.

Трудному часу сопутствовали не слезы, а почти невидимая улыбка, этот ее строгий костюм, про который раньше говорили — английского покроя, эта ее собранность.

Бардаш стал совсем веселым.

Эта ли женщина в закопченной одежде боролась с пожаром среди песчаных наносов?

Смоляные волосы ее были уложены в пучок, круглый, как шапочка. Туго притянутые к голове пряди сходились в этом пучке, прижимая маленькие уши, в мочках которых поблескивали розовые капельки серег, скромных, почти незаметных.

Глядя на нее, Бардаш вдруг вспомнил, как однажды в институте около дверей библиотеки двое сказали друг другу:

— Смотри, какая красавица!

— Ой-ой!

Навстречу шла Ягана.

Она подошла к Бардашу, а парни все смотрели куда-то и говорили:

— Вот это да!

Как шальные.

Они смотрели совсем на другую девушку.

Сейчас Бардаш рассмеялся этому случайному воспоминанию. Значит, она была красива лишь для него. Какая разница!

— Что-нибудь не так? — спросила Ягана. — Вы смеетесь?

— Свадьбе нужны веселые гости, — успокоил Бардаш.

Он взял сверток с подарками и попрощался с мальчишками, закричавшими вслед:

— А где ваша машина?

— Спит! — сказал он. — А мы на автобусе, а потом пешком. Гагарин и то пешком ходит!

Пешком они шли по старой Бухаре.

Здесь еще множество глинобитных хижин лепилось друг к другу, образуя такие запутанные улицы, что можно бы блуждать до утра, если бы не самый простой адрес: свадьба. Про нее знали все. Хотя жизнь тут прячется во внутренние дворы, за высокие и глухие стены, свадьба все равно была и осталась самым заметным событием всего района. Свадьба выходит на улицу.

Вокруг не было ни одного зеленого пятнышка, здесь росли столбы, и на них, как плоды, висели электрические лампочки. Столбы мешали не только повозкам, но и прохожим, хотя и были необходимы. Жизнь теснилась, как только могла.

— У нас спорят, — сказал Бардаш, — давать ли сюда газ.

— А вы как считаете?

— Конечно, давать! Здесь живут такие же люди, как и все. Почему же их обделять? У них есть свет, есть радио, будет и газ. Пока, к сожалению, еще стоят эти дома, надо всячески облегчать жизнь в них.

Он говорил так, точно еще спорил.

— Но ведь тут не выроешь траншеи, чтобы не сломать стены. Как сюда подвести трубы?

— По воздуху.

— Как? — удивилась Ягана.

— Я предложил — по воздуху, — повторил Бардаш, улыбаясь. — На железных стойках, над заборами, над крышами, ничего не разрушая, мы проведем трубы, и они будут питать дешевым топливом очаги. Исчезнут тележки с

корягами саксаула, исчезнет дым, который ест людям глаза.

— Ну и что вам сказали? — Ягана от нетерпения схватила его за руку.

— Хазратов хохотал. Говорил, что сюда надо посылать не газовиков, а бульдозеры, а Сарваров, кажется, согласился со мной. Мне нравится Сарваров. Он реалист и не фразер.

Ягана не расслышала:

— Что?

— Не болтун! — Бардаш огляделся. — А бульдозеры сюда посылать, конечно, надо... Когда всех отсюда переселим в новые дома.

— А? — спросила Ягана.

Разговаривать стало трудно из-за музыки. Играли за углом сурнаи. К музыке примешивался гул детских голосов, как будто шумел пчелиный рой. Бардашу всегда нравилось, что с узбекских свадеб не прогоняют детей и дети бывают горды и веселы и встречают гостей цветами.

Как ни бедна цветами Бухара, на свадьбу их собрали, может быть, отовсюду, и Бардашу и Ягане тоже досталось по розе. Через всю улицу гирляндами висели яркие лампочки, и было светло, как днем.

Свадьба!

Пусть она будет памятной и красивой, пусть это будет людный праздник, потому что рождается новая семья, которая даст миру новых жителей. Свадьба как ступенька в молодой жизни. Уже чего-то достигли и видно, куда идти. Испытание, на которое люди хотят благословить молодых добрым словом, желая им счастья. Свадьба — ступенька в судьбе!

Две судьбы, как две реки, сливаются в одну, и она потечет дальше полноводней и шире. Разве можно провести такой день без веселья?

Как и полагается по обычаю, свадьба началась в доме невесты еще вчера. Там угощали соседей, и невеста прощалась с тем уголком мира, который увидела впервые, где выросла, прощалась с подругами своих детских игр, а женщины, приехавшие из дома жениха, обещали всем, что в новом доме, в новой жизни девушку не дадут в обиду.

Следом в дом невесты являлся жених, окруженный друзьями. Друзья подбирались молодец к молодцу, потому что вся округа встречала жениха отнюдь не дружелюбно. Еще бы! Он увозил из их квартала лучшую красавицу!

Так уж или не так было на самом деле, но невеста всегда считалась лучшей. И жених должен был доказать, что любит ее. В старину джигиты хватали под уздцы коней, устраивали препятствия и баррикады, проверяя ловкость жениха и его свиты. Если он прорывался, распаленный собственным сердцем, дело обходилось без выкупа. Тюфяку приходилось трясти карманом.

Сейчас едут на такси, и заграды не устроишь — оштрафует автоинспекция, старый обычай ушел в прошлое, но остались игры и музыка. Жених приезжает, выходит из машины под сурнаи, все видят, каков он, а молодежь то перекроет ему дорогу натянутой веревкой, то предложит побороться с местным чемпионом, а дети вьются в ногах, мешая идти, и получают конфеты. Веселого, ловкого, щедрого и сейчас легко отличить от скучного.

А еще музыканты! Возле дома невесты они затевают такое состязание с музыкантами жениха, что заслушаешься. Это всем доставляет много радости.

А еще танцы! И сам жених, и друзья его показывают свое умение, споря с танцорами обиженного квартала. Ведь в танце, согласитесь, тоже можно показать и удаль, и душевную красоту, как и в любом деле, которое делается перед народом. Кто из нас не робел, выходя на круг?

Люди смотрят на жениха, окружив его толпой, смотрят изо всех щелей и оценивают...

Музыка гремела, потому что уже привезли невесту.

Ее привезли в разукрашенной цветами «Волге» с шашечками, и было неизвестно, как сюда попала эта машина и как выберется. Вероятно, постарался какой-нибудь дружок Алишера. А может быть, ее перенесли через заборы на руках? На свадьбе все может быть...

Вся улица подпевала подругам невесты, затянувшим свадебную песню «Ёр-ёр», желая молодым счастья, мира и побольше детей. Хотя электрического света было немало, жених разжег костер у ворот в знак своей любви. Девушка, укрытая белым кисейным покрывалом, сидела робко и смущенно в машине, пока жених не взял ее и не понес на руках, как несут хрустальную вазу, боясь оступиться и разбить.

Ее подруги шутя стали мешать ему. Они старались отобрать невесту, но какой молодец не унесет любимую, если она к тому же этого сама хочет!

Старики зазывали во двор гостей, знакомых и незнакомых.

Во дворе все было приготовлено для пира. Столы выстроились двумя рядами — для мужчин и женщин. Это можно было заметить по бутылкам: на мужских столах стояла водка, на женских только вино.

Двор был большой, все соседи отдали свои столы и посуду.

Старики ушли куда-то внутрь, в недра дома, пить чай и беседовать о жизни, а молодых посреди двора встретил весь в белом Халим-ишан. Был он что-то угрюм не к случаю. Молодые понуро остановились перед ним.

Халим-ишан торжественно произнес их имена и спросил, по своей ли воле соединяются они для жизни. Три раза переспросил он, и

лишь на третий раз, из скромности или от смущения, невеста сказала:

— Да.

— Да, — подтвердил жених.

Молодежь смотрела на церемонию, как на что-то музейное.

Три раза ишан переспросил и свидетелей:

— Слышали?

— Слышали! — отвечали они.

Эта клятва при людях была как роспись на незримом листе. Ишан только приготовился освятить союз молодых, как осторожно выступил вперед Бардаш и спросил жениха:

— Простите, а разве вы не зарегистрировались в загсе?

— Конечно, мы зарегистрировались!

— Ишан! — обратился Бардаш к старцу, пытавшемуся унять дрожь в руках. — Как же вы совершаете второй обряд? Это же противоречит шариату!

Подошел отец жениха.

— Вероятно, вы не объяснили верующему человеку, — учтиво показал рукой на него Бардаш, — что шариат запрещает два раза совершать обряд бракосочетания. Или вы не считаете регистрацию в загсе убедительной?

— Отчего же? — стоя как на угольях сказал ишан. — В государственной бумаге есть росписи и печать. Это хорошая гарантия.

— А если нет свидетельства о браке, вы совершаете свой обряд?

— Нет, никогда!

— Значит, вы все время нарушаете закон шариата, ишан! Это же нехорошо!

Какие-то девчата за спиной ишана не удержались и прыснули.

— Население просит, — сказал Халим-ишан жалостливо.

— А вы ему объясните, что это неправильно. Либо регистрация, либо мулла.

— Все хотят регистрироваться, — пробормотал ишан. — Как быть?

Теперь расхохотался Бардаш.

— Ну, тут уж я ничем помочь вам не могу. Не ввергайте людей в грехи, ишан, хотя это, кажется, грозит вам уменьшением доходов, а?

Родитель моргал глазами, спрашивая ишана, что же будет.

— Второй раз женить незаконно, — сказал ишан, и родитель повел его к воротам.

А жених так тряс руку Бардаша, точно тот выручил его из самой большой беды. Жених был студентом медицинского техникума, и каково ему было объяснять всем и каждому, что он сделал уступку религиозным старикам! А теперь выяснилось, что и религия стариков тут не виновата, просто хитрый ишан морочил им темные головы. Вот так да!

— Танцуйте! — крикнул возникший как из-под земли Алишер.

Гиджак застонал, взвизгнул най[1], под общий шум Бардаш первым пошел по кругу, прищелкивая пальцами... Ягана тоже закружилась, и лицо ее мелькало перед ним, куда бы он ни повернулся. Она танцевала, не спуская счастливых глаз с мужа. Танцевали юноши и девушки... Алишер пел среди музыкантов, покачивая головой из стороны в сторону, как будто так выходило звонче...

Веселая пошла свадьба.

Бардаш устал и сел. Вернулся отец жениха, неожиданно сказал Бардашу:

— Спасибо, что выручили! Проклятый ишан! Чуть не вверг меня в грех! Он же всем вокруг твердит, чтобы без него не женили детей. Судьбы не будет.

И выпил рюмочку.

Алишер сказал ему:

— Мы с Бардашем Дадашевичем все Кызылкумы проехали. Нас голыми руками не возьмешь!

Бардаш погрозил ему пальцем, напоминая, как он ругал пустыню. Но Алишер не заметил или сделал вид, что не понял.

— Это вам не по городу кататься. Там асфальта нет. Там песочек! Помните, Бардаш Дадашевич, как вытягивали?

Ягана танцевала. И танцевали девушки. И парни в белых рубахах перед ними поворачивали ладони раскинутых рук то вверх, то вниз, то поднимали, то опускали руки, не зная, как выразить переполнявшее их чувство. Особенно хорошо танцевал один, гибкий, высокий, с коротко подстриженными черными волосами. Он ходил мелким шагом, и руки его порывисто вскидывались и падали. Только он различал для этих взмахов самые нужные мгновения в музыке и движении, и постепенно все ему подчинились. Он стал запевалой. Танец складывался, как стихотворение. Руки девушек словно летали, а танцоры стали похожи на аистов, белых аистов в черных тюбетейках.

Не танцевала только невеста. И дело было не в робости и не в неумении — на других свадьбах она плясала вовсю. Это была застенчивость, приличествующая моменту. Одна полоса жизни оставалась за плечами, другая начиналась, можно было посидеть, подумать перед новой дорогой, а не топать ногами, как будто это вечеринка, а не свадьба. Свадьба!

Танцуйте, друзья!

Бардаш думал: народ живет не только в делах, но и в этом танце.

Прошлое народа было как поле, по которому проходил умный хозяин. Как на всяком поле, на нем были сорняки и злаки. Сорняки

[1] Гиджак, най — национальные музыкальные инструменты.

надо было выпалывать, а злаками кормиться. Большие свадьбы разоряли родителей, на них копили годами, но сейчас все чаще друзья объединялись, чтобы справить свадьбу товарища и подруги, и свадьба должна быть яркой, праздничной, заметной.

Вот и на эту свадьбу несли кто плов, кто пирожки, кто помидоры, столы все гуще уставлялись закусками. Товарищи жениха взяли на себя роль добровольных официантов, ставили, убирали, следили, чтобы у гостей не пустовали тарелки. Гости давно перемешались, уход ишана сразу же сломал глупый и ненужный ритуал.

Бардаш сказал:

— Давайте-ка сдвинем столы!

Парни весело подхватили столы, сдвинули, и теперь равноправие мужчин и женщин было установлено. К Бардашу и Ягане все время подбегал хозяин, спрашивал:

— Все ли у вас есть?

— Не беспокойтесь, ата.

— Я совсем растерялся.

— Это потому, что у вас первая свадьба, это от радости.

На освободившейся площадке двора, после того как сдвинули столы, началось выступление самодеятельных артистов, украшающих всякую хорошую свадьбу. Пели куплеты, читали стихи. Свадьба на время превратилась в концерт. Тут были студенты, а им не лезть в карман за острым и веселым словом. Вот вышел тот, высокий, который отменно танцевал, а с ним второй, толстенький, пухлощекий, он надел чужие очки и стал изображать важную персону.

— Какие у вас отметки? — спросил он, глядя на товарища поверх очков.

— Самые хорошие — тройки, профессор.

— С такими отметками вы далеко не уедете!

— А я и хочу остаться в Бухаре.

Общий хохот покрыл его слова, сказанные с уморительной гримасой. Ягана тоже хохотала, и Бардаш был счастлив.

2

Никак нельзя было сказать, чтобы Азиз Хазратов тоже веселился в эти дни. Неизвестно, чем ему грозил провал надировского метода, а тут еще Джаннатхон со своим племянником! Правда, исчезновение Хиела можно было в любую минуту использовать против Яганы и Бардаша, если потребуется, но пока Хазратов рассчитывал приобрести в них союзников, раз Надиров сдуру отказался от него. И так грубо!

Хазратов даже словно бы росточком стал меньше. Круглая голова его ушла в плечи. Больше всего он хотел бы сейчас остаться незаметным, чтобы буря не задела его.

Днями он составлял и пересоставлял объяснительные записки в обком, готовясь к бюро, а вечерами выслушивал стенания Джаннатхон. Жизнь просто-напросто превращалась в кошмар! Вот и сейчас кто-то ей позвонил по телефону, вероятно Ягана, справился о Хиеле, и она зашлась, ткнувшись лицом в подушку.

— Перестаньте реветь! — крикнул он, вбежав в комнату. — Что у вас, муж умер, что ли?

— Ведь Хиел сирота, — прошептала Джаннатхон, — у него никого нет, кроме меня... Кроме нас, — поправилась она.

Давно уж Джаннатхон свыклась с мыслью, что она только жена, отдавшаяся домашним заботам, и жизнь ее целиком зависит от прихотей и настроения мужа. Она терпела и его помыкания, и крики, но иногда ее прорывало.

— Даже дети не заходят в вашу комнату! Слезы, слезы! — кричал Хазратов.

— Если бы вы не прогнали его, он сейчас бы был с нами и я бы не плакала!

— Ах, вот что! Я должен был кормить этого грубияна? Замолчите!

— Есть ли у вас хоть одно доброе словечко для жены? — выдавила сквозь слезы Джаннатхон.

— Ах, жена, — сказал он, присаживаясь возле нее на край кровати. — Кругом одни неудачи... На ком же мне срывать свой гнев, свою злость? Кто у меня есть, кроме тебя?

И Джаннатхон притихла, с сочувствием посмотрела в его стареющее лицо. Он вздохнул.

— Сарваров моложе меня, а уже секретарь обкома. Бардаш косится на мое место... А я ни вниз, ни вверх... Повис посредине...

— Вас же назначили заведующим промышленным отделом!

Он махнул рукой.

— Не в том радость! Какой-то туман в глазах... Ушла перспектива... Вчера назначили, а сегодня могу загреметь...

— Ведь вы учились!

«Глупая женщина! — подумал он. — Учился-то я учился, а чего-то не понимаю... А мне Бардаш еще в студенческие годы говорил — не тот ученый, кто учился, а тот, кто понял...»

А уж как он учился, это Джаннатхон помнила хорошо. Это помнили ее руки. Пока он был в Ташкенте, она дневала и ночевала на хлопковом поле в Бахмале. Пока он листал страницы книг и писал конспекты, она перебирала листы тутовника для шелковичных червей. Тогда муж благодарил за каждый денежный перевод: «Рахмат, рахмат...»

Кроха ласки и сейчас согрела ее, хотя она и понимала, что муж жалел не ее, а себя и искал, как всегда, у нее утешения. Но ведь она только и умела жить, поглядывая на брови

мужа: как они шевельнутся, так вздрогнет и ее сердечко. Надо быть довольной и благодарной. День прошел, и ладно...

Правда, подруги посмеивались над ней, та же Ягана спрашивала:

— С каких это пор в семье такой порядок?

— Со времен Адама и Евы, — печально шутила Джаннатхон.

Стала она располневшей красавицей, какие обычно прихорашиваются изо всех сил в домах отдыха, а дома носят длинные платья, больше похожие на ночные рубашки. Милые когда-то ямочки на ее щеках заплыли, два подбородка наползали друг на друга, руки распирали рукава платья, и там, где рукава кончались, казались перетянутыми шпагатом. Улетели годы, птичка Джаннатхон! И ряд золотых зубов говорил о не первой молодости, и щеки подрагивали в такт шагу.

Забыв о муже, Джаннатхон смотрела в потолок. Долго-долго... «Почему не на мужа, не в окно, не на стену, увешанную фотографиями детей, а в потолок? — подумала она. — Это духи родителей ищут меня! Я совсем их забыла!»

Она сказала об этом мужу. Сказала каким-то не своим, чужим от страха голосом.

— Что ты, с ума сошла? — спросил он.

— Я недалека от этого. Разрешите мне поехать в Бахмал, помянуть мать и зажечь свечу на ее могиле. Прах отца где-то на чужбине, я не знаю где, а могилу матери я забыла. От этого у нас все несчастья! Может, и Хиел там, в Бахмале!

— Поезжай, пожалуйста, кто тебя держит! — сказал Хазратов — он обрадовался, что дома будет немножко потише, а старшая дочь вполне сама могла присмотреть за ним. — Только никаких свечей! Зачем сюда впутывать предрассудки? Еще не хватает, чтобы в Бахмале это увидели!

Рано утром он посадил жену в такси.

Дорогой Джаннатхон слышался голос матери и вставали картины детства, так что она не видела ни окрестных полей, ни рощ... Говорят же, когда человек погружается в свои мысли, глаза его не видят и уши не слышат. Не замечала она того, как потрепанную «Волгу» сильно подбрасывало на камнях, как нехотя взлетала прибитая росою пыль, как щелкали перепела в траве. Вдруг она увидела цепочку пирамидальных тополей. Впереди был Бахмал.

Она не узнавала его. Большое здание клуба с колоннами, большой магазин с электрическими самоварами в витринах. Кишлак, который она помнила и любила, спешил превратиться в город. Слева и справа тянулись новые дома под черепичными крышами, открытые дворы, увитые виноградными лозами... Как и города, кишлаки делились на старые и новые части...

Она расплатилась с шофером такси и по узкой боковой улице пошла пешком, почему-то стыдливо опустив голову и боясь встречи со знакомыми. Может быть, потому, что жила она рядом, а разлука была слишком долгой?

Осторожно, пугливо вошла Джаннатхон в страну своего детства.

Двор был пуст, и дом тих. Здесь было известно, что Азиз Хазратович занимал высокое положение, и к дому его не прикасались. Этот дом достался ему от ее сбежавшего отца, Сурханбая, все принадлежало мужу, а Джаннатхон — только воспоминания...

Дом стоял в глубине двора, а справа была конюшня, в которой когда-то ржали и остро хрустели клевером арабские верховые жеребцы. Джаннатхон любила поглядывать из-за двери на то, как они обмахивались серыми хвостами, хотя чаще бегала в коровник — помогала матери доить и по утрам носила в дом теплое молоко. Всей семьей ели лепешки со сливками... У конюшен когда-то рос высокий тут с черными ягодами, от которых все лето были фиолетовыми невысыхающие губы. Зато он сам высох. Только пенек остался... Под тутом в конуре жила большая казахская овчарка. Как же ее звали? О аллах, прости и помилуй... Алапар! Алапар! Никто не отзывается... Ни конуры, ни овчарки...

В другой стороне только каменный след от очага, где мать готовила пищу. Там всегда маячила ее согнутая спина... Тук, тук, тук... Тук, тук, тук... Это брат Зейнал рубит морковь длинными ножами. Для плова... Нет ни матери, ни брата Зейнала... Никого нет... А там, где перед обеими террасами дома цвели розы, растопырились волосатые лопухи...

По щекам Джаннатхон катились слезы.

— Дильбархон!.. Хо-о, Дильбархон! — ласково позвала она, повернувшись к забору.

В ответ оттуда обычно пищал комариный голос подружки: «Ляббай!» Это значило: «Я слушаю, Джаннатхон!» Одна из них перебиралась через забор к другой, чтобы не терять времени, не бегать кругом, и часами две девочки стучали ладошками по разноцветному мячу, подлетавшему к ним от земли, считали удары и кружились.

— Дильбархон! Хо-о, Дильбархон! — повторила Джаннатхон как во сне.

— Ляббай! — ответил ей высокий и тонкий голос из-за дувала, как из детства, и сердце ее оборвалось.

— Дильбар! — закричала Джаннатхон, не помня себя.

Через минуту подруги обнимались, похлопывая друг друга по спине, словно проверяя, правда ли это, живые ли они.

Дильбар тоже изменилась, переросла подругу на целую голову и была вся такая насквозь невыцветаемо бронзовая, какой не сделает ни один пляж, а только полевая работа с утра до

вечера. Джаннатхон застеснялась своего белого тела. Платье на Дильбар стояло колоколом, из-под него выглядывали шаровары в горошек, какие носят здешние женщины, а на босу ногу были надеты разношенные тапки, и Джаннатхон стало стыдно своих городских туфель на шпильках, а подруга гордилась тем, что ее Джаннат стала такой красивой.

Наговорившись и наплакавшись, расспросив друг друга о детях и родственниках, они условились вместе пойти на кладбище. Джаннатхон боялась, что не найдет могилу матери.

Она стала прибирать дом и двор, чтобы протянуть время до ночи. Ей хотелось зажечь свечу на материнской могиле, но страх перед мужем, которому могли рассказать об этом, удерживал ее. А в темноте могли и не увидеть — кому какое дело, кто и на чьей могиле поставил огонек...

Над могилой матери среди загустевших деревьев возвышался небольшой бугорок в пять-шесть носилок земли. Он оползи покосился; Дильбар стояла поодаль молча и слушала, как плачет подруга ее детских лет, сама уже ставшая матерью, над материнским прахом.

На соседних могилах темнели надгробья из кирпича, одни повыше, другие пониже... И возвышались отесанные камни с высеченными на них именами... А тут ничего... Забытая могила... И полузабытые слова любви и молитвы шептала сквозь слезы Джаннатхон. Права была бабушка, говорившая, что мать будет горевать о ней, а ее дети горевать о своей матери, да поздно... Неужели так устроен мир?

Джаннатхон не хотелось возвращаться в Бухару. Может быть, она думала, что не скоро увидит берега ручья, у которого собирала камушки для игр, может быть, ее сердце грустило и отдыхало среди воскресших видений невозвратной молодости... Она сказала, что займется приборкой в доме, и осталась на несколько дней. Но что ей было делать в пустом доме? И Дильбар пригласила ее жить к себе.

Плыла полная луна над Бахмалом, смотрела светлым оком на то, как две немолодые женщины сидели, обнявшись, на веранде и все шептались о чем-то, понятном только им.

— А ты счастливая? — спросила Дильбар.

И, сама не зная почему, Джаннатхон разрыдалась, уткнувшись в колени подруги.

3

Даже и для святого ходжи Сурханбай что-то чересчур много летал. Из Москвы он прилетел в Ташкент, из Ташкента в Бухару с намерением навестить кой-кого из старых приятелей в городе, если они еще таскают свои кости, но нетерпение увидеть родной Бахмал так одолело его, что он вылез из автобуса у вокзала и купил билет до Кагана, станции, к которой сходились тропы торговых караванов, где метались когда-то басмачи и крутилась вся его жизнь, та, прежняя жизнь...

В Бахмал он приехал через два дня после Джаннатхон, на той же трепаной «Волге», и если бы шофер рассказывал пассажирам друг о друге во всех подробностях, то Сурханбай уже знал бы, что его дочь сейчас в родном доме. Но шофер, узнав, что Сурханбай из Москвы, а в Москву прилетел из Каира, ни о чем больше слушать не хотел и спрашивал, как выглядит Москва, куда он никак не доедет, и кого из известных людей старик видел в Каире, как будто Сурханбай был там на дипломатической работе.

К родному кишлаку скиталец подъехал как в тумане.

Никем не замеченный, не узнанный, на трясущихся ногах он подошел к чайхане. Вокруг цвели розы, а в большой гипсовой чаше посредине цветника колыхалась камышовая трава, как будто она была диковинней роз. Но особенно поразила старика гипсовая ваза. Раз у людей были деньги на такую махину в три обхвата, чтобы сажать в нее траву, которой и в земле хорошо, значит, они уже ни в чем не нуждались!

Еще больше поразила его водонапорная колонка на улице. Кто хотел, подходил и набирал воду в ведра из крана. А по арыку вода текла желтая-прежелтая, как всегда, и ее уже не пили. А пили эту светлую, из железной колонки... Значит, одна вода была для садов, другая для питья. Скажи пожалуйста! Как у падишаха!

И асфальт! Всю центральную улицу от начала до конца покрывал асфальт, как в Москве.

Старик стоял и смотрел: девочки катались по асфальту на велосипедах. Он так пристально смотрел на них, что они, проезжая мимо, одергивали платьица на коленках.

Клуб с колоннами ошарашил старика вовсе. Ни один бай, да что там, ни один наместник не имел такого дома. Кто же в нем сейчас живет? Он побоялся спрашивать, чтобы не вызвать подозрений. Рядом с клубом была почта — почта в кишлаке! Значит, он мог написать сюда письмо, а ему-то и в голову не приходило! О аллах! Никогда за долгие годы не чувствовал Сурханбай, что прожил свою жизнь зря.

Все это сделали люди, а что сделал он?

В кабине у почты стояла девушка и разговаривала по телефону. В расшитой тюбетейке, с длинными косами, с открытым лицом. Медные бляхи серег покачивались в такт ее смеху. А потом вышла и пошла по асфальту на высоких каблуках, как стамбульская барышня. Нет, в Бахмале всегда были красавицы, но таких не было!

Может быть, его обманули и привезли в другое место?

Старик так усомнился, что не поверил надписи на почте и пошел искать мечеть. В старые времена в кишлаке было одно выделяющееся здание — мечеть. Он нашел и узнал ее — теперь оно, это здание, было самым неприглядным. А стоит!

Сколько раз он повторял в Мекке, что бахмальскую мечеть разнесли по камушкам и ветер развеял уже пыль, а она стоит! Кайся, старый, кайся.

Сурханбай вернулся к клубу, опустив голову.

Возле клуба стояла Доска почета с большими фотографиями. Старик то ли подошел рассмотреть их, то ли спрятался за Доску, но тут состоялась его первая встреча со старыми знакомыми. Он узнал их лица. Вот этот, в фуражке с козырьком, скуластый, с широким, как тележное колесо, лицом, был Арбакеш, жили на одной улице. А эта женщина приходила к ним перебирать и резать фрукты на сушку, ее звали Батрачка... А сейчас написаны какие-то имена... Под Батрачкой, обнимающей охапку хлопка, — Зульфия Ибрагимова. А под Арбакешем — Акбар Махмудов.

Старик даже развел руками и сам себе сказал, что ничего не может понять. Откуда у них такие имена?

Раньше в Бахмале каждый имел кличку. Маслобойщик, Лабазник, Барышник, Пастух, Могильщик или Слепой, Плешивый... Без этих кличек люди и не знали бы друг друга. А теперь — поди ты! — Акбар Махмудович Махмудов, слесарь автобазы. Старик прочел и ахнул. Это про Арбакеша! Нет, надо бежать со стыда!

Но бежать ему было некуда.

По улице глухо прогрохотал трактор, он вез тележку с тентом, а в тележке сидели молодые парни, возвращались с поля. Очень удобно стало тут жить человеку. Как бы не обленились!

Кто-то постучал старику пальцем по плечу сзади. Он оглянулся. И стал всматриваться в это старое лицо, словно сложенное из частей разных лиц: нос разлапистый, а подбородок острый, усы густые, а брови редкие... И этот старик водянистыми глазами смотрел на него. Они привыкали друг к другу. Они угадывали друг в друге что-то знакомое, старое, не веря себе. Встречный встречного сразу не узнает, если прошло не три года, а тридцать лет.

Наконец бахмалец усмехнулся, и Сурханбай ответил ему тоже приветливой улыбкой.

— Башмачник!

— Я Шербута! — поправил тот. — Шербута! А вы Сурханбай?

— Так, Шербута.

— Я вас узнал! Ну просто как с того света! Сам себе не верю!

— Вернулся.

— Идемте ко мне, уважаемый, что же мы стоим на улице. Я буду рад видеть такого гостя в своем доме! — Шербута взял Сурханбая под локоть.

И Сурханбай пошел, радуясь первому привету земляка.

Он исподтишка рассматривал его. На Шербуте были такой халат и чалма, что каирский халат самого Сурханбая казался бумажной тряпкой. Сурханбай даже спросил:

— Вы с праздника, сосед?

— Что вы! — рассмеялся тот. — Я с работы.

— Неужели в такой одежде можно чинить башмаки? — простодушно удивился Сурханбай.

— О! Я давно уже не чиню башмаков, уважаемый, — ответил Шербута. — Давно!

Свой рассказ он продолжал дома, за подносом со сладостями и фисташками и свежим чаем.

— Да будет вам известно, — говорил он, разламывая лепешки, — что на мою профессию больше нет спроса.

— Как же так? — испуганно спросил Сурханбай, хотя лукавая физиономия Шербуты не давала повода для очень уж серьезного испуга.

Этот башмачник всегда славился болтовней. Да и что еще ему оставалось? Профессиональный недуг. Башмачник сидит на одном месте как привязанный, вся энергия, которую другие тратят на движение, у него переключается на язык. Кроме того, надо и посетителя развлечь, пока он сидит босиком и ждет своих сапог. Каждого пустомелю в Бахмале спрашивали: «Не поступил ли ты в ученики к башмачнику?» Но говорливость Шербуты сейчас была лишь на руку Сурханбаю. Пришелец с того света, он готов был весь превратиться в уши и слушать о новой жизни сколько угодно.

— Мой хлеб был на кончике шила... Я чинил такую рвань, что нельзя было разобрать, где носок, где каблук. Разве не так? И вдруг мое ремесло перестало меня кормить. Да, шило не дает больше хлеба ни мне, ни моей семье. Молодежь перестала носить обувь, которую я сшивал из разных клочков. В лучшем случае они доверяли мне почистить модные ботинки или туфельки и поставить набоечку. Мое шило оказалось слишком грубым для их обновок. Да, да! А в случае чего они бегут в мастерскую мелкого ремонта, где есть машины и молодые мастера. Я, видите ли, могу только попортить! Моя профессия бежала от меня, уважаемый Сурханбай.

Сурханбай слушал, смотрел и ничего не понимал. Привыкли люди жаловаться на судьбу! Дом Шербуты был полон подушек и городских вещей; у него стоял даже большой приемник, который увидишь не у каждого афганского богача. Гостиная была в коврах. Нет, жизнь Шербуты совсем не походила на жизнь человека, чья профессия не имела спроса.

— Чем же вы занялись? — спросил Сурханбай, желая разгадать секрет чего-то ему вовсе неизвестного. — Вы пошли в мастерскую?

— Что? — заиграл глазами Шербута. — Мне, белобородому, учиться у мальчишек, которые годятся во внуки? Нет, нет...

— Откуда же снизошла на вас благодать?

— Правда ли, — вместо ответа спросил Шербута, — что вы видели Мекку и вас можно называть ходжи?

— Можно сказать, не осталось места, где бы я не побывал. Назовете ходжи — не будет ошибкой.

Шербута наклонился и поцеловал полу его халата. Старик невольно отдернул халат, но Шербута этого, кажется, не заметил.

— Вам удалось то, что нам не было суждено! Вы осчастливили мой дом и наш кишлак!

Раньше у башмачника не было таких повадок. А теперь он кланялся, приговаривая:

— Халим-ишан рассказывал мне о вас, ака. Значит, это святая правда! Благодаренье аллаху!

Сурханбаю захотелось уйти, оставив угощение, но он не знал, будет ли кто еще разговаривать с ним в кишлаке, и поэтому сидел тихо, думая, отчего это башмачник стал таким набожным. Он только спросил:

— А Халим-ишан, этот нечестивец, еще топчет нашу благословенную зеравшанскую землю?

— Не говорите так! — испугался Шербута. — Халим-ака остался единственным ишаном на всю округу. Вся вера держится на нем. Да вот еще вы пожаловали, Сурханбай-ходжи! Мы должны держаться друг друга.

— Чем же вы теперь занимаетесь, ака? — спросил Сурханбай.

Шербута захихикал.

— Я творю молитвы, Сурханбай-ходжи! — подобострастно сказал он.

— Стали муллой?

— В Бахмале давно забыли слова «мулла», «суфи», «муэдзин», мой наставник. Свою мечеть они называют клубом. Видели этот огромный дом с колоннами? Они ходят туда в кино. Даже каландары перевелись, которые читали людям священные стихи за жалкое подаяние, переходя из кишлака в кишлак. Те старики, которые еще верują, стесняются своей веры и тайком приходят молиться. Если хотите, я стал муллой, да! И видите... — Он развел руками, приглашая полюбоваться на свой дом. — Если аллах захочет дать, то все дает двумя руками...

Шербута считал, что и Сурханбая ему послал аллах. Еще бы! Такая встреча на улице!

— В нашей округе еще не было человека, совершившего ходж. С вашим возвращением вера укрепится...

Знать, не очень хороши были дела Шербуты! Сурханбай сказал мирно, не желая сразу обижать хозяина:

— В Мекке я только стукнулся головой о камень, дорогой Шербута.

Но Шербута не понял, а если и понял, то не хотел сдаваться.

— Вы привезли с собой много денег?

— Нет. Мне добрые люди помогли вернуться.

— Думаете, государство даст вам пенсию? Пенсию дают тем, кто устал от работы. А вы где были? Чем занимались?

Сурханбай ответил терпеливо:

— Я приехал не затем, чтобы просить пенсию.

— Что же вы будете делать? В колхозе все делают машины. Кетмень сдали в музей. Какую пользу вы можете приносить? Никакой! А жить надо? Вы можете только стать моим помощником!

— Где мои дети, Шербута?

Старик и сам не знал, как обронил слова, которых боялся больше всего. Шербута долго играл кончиком своей бороды, соображая, что сказать. Уж очень ему не хотелось выпускать из рук добычу. Он вздохнул.

— Ваша дочь Джаннатхон благополучно здравствует. Ее муж Азиз Хазратов стал большим человеком, партийным работником. Боюсь, что ваше возвращение только помешает ее счастью. Как бы вы не сделали рискованного шага, придя в их дом.

— А Зейнал?

— Как! — вскричал Шербута, подняв руки выше головы. — Вы не знаете о Зейнале? Ох-ох! А ведь он за вас поплатился!

И Шербута рассказал старику печальную историю.

— Внук ваш Хиел жил у тетки Джаннат, а теперь, по словам людей, добывает газ. Захочет ли он признать вас после всего, что случилось?

Сурханбай мучительно смаргивал слезы, не пытаясь даже придержать их, потому что шли они из самого сердца, а сердце не прикроешь рукой.

— Конь принадлежит тому, кто его вскормил, — наконец пробормотал он. — Для меня радостно, что мои внуки живы... И дочь.

— Не теряйте надежды, — сказал Шербута.

— Я буду делать все, что смогу, — ответил Сурханбай. — Я хотел бы, чтобы вы написали нашей власти такую бумагу от моего имени, дорогой Шербута. У меня руки трясутся...

Тонкие губы Шербуты дернулись под густыми усами.

— Рад бы вам помочь, Сурханбай-ака, но ведь я неграмотный. Это теперь все стали ученые, а откуда было набраться грамоты жалкому башмачнику в наши времена?

Сурханбай всматривался в хитрое и одновременно беспомощное лицо башмачника. Раньше в кишлаке был всего-навсего один грамотный человек — имам мечети, мулла. Теперь остался, наверно, один неграмотный. И это был самозванный имам Шербута, мулла. Ирония

судьбы! Этот Шербута жил за счет других темных голов. Невежда, опьяненный радостями легкой жизни.

Старик, кряхтя, поднялся и пошел к выходу из дома, жестом поблагодарив за угощение.

— Куда же вы? Сурханбай-ака! Ходжи! Оставайтесь у меня! Гость уходит, когда его отпустит хозяин.

Сурханбай молчал. Нет уж, вернуться для того, чтобы стать компаньоном обманщика? Лучше сразу умереть и лечь в эту землю, по которой наконец-то ступают его ноги...

На улице было тихо. Прошли тракторы, укатили велосипедисты. Он решил пойти и поклониться дому, где родился, или месту, где стоял этот дом.

Джаннатхон в платье подруги подметала жесткой, скребущей метлой обильно политый двор, когда в калитку, скрипнувшую чуть слышно, как от ветра, вошел старик в белом холщовом халате, с длинной бородой; она могла бы подумать, что это ее отец, если бы отец был жив и жил здесь, в Бахмале. Руки старика, приподнятые к груди, дрожали. Он не мог даже соединить их для молитвы. Джаннатхон, вглядевшись в него, закричала:

— Вай дод!

И, потеряв сознание, повалилась на мокрую землю.

Когда на другой вечер по улицам Бухары, непривычно для Сурханбая освещенным огнями, они подъехали к дому дочери, у подъезда стоял «москвич» Халима-ишана. Угрюмый шофер сказал Джаннатхон, что давно поджидает ее. Он передал записку. Там сообщалось, что благодаря аллаху и молитвам Хиел был найден без сил в пустыне, заботы и новые молитвы вернули ему силы, а он ответил черной неблагодарностью; соблазнил слепую дочь ишана Оджизу и бежал с ней неизвестно куда. Если Джаннатхон скрывает их, то аллах покарает ее нещадно. Пусть Оджиза сейчас же вернется под отчий кров.

Джаннатхон поняла из записки только одно: Хиел нашелся!

Оставив из вечного страха перед мужем отца в машине, она вбежала в дом с такой улыбкой, что ничего не понимающий Азиз спросил ворчливо:

— С какой стороны взошло сегодня солнце?

Выслушав жену, он забегал по комнате так, будто ему насыпали в штаны красного перца.

— Что за напасти! — крикнул он наконец. — Тени оживают! Мало вам одного Зейнала?

— У отца прекрасный документ, — взорвалась Джаннатхон. — Ему разрешено жить на родине!

— Документ — бумажка! — брезгливо подхватил Азиз, больше всего на свете веривший в бумаги и уважавший их. — Бумага это бумага... а жизнь это жизнь... Сегодня одно, завтра другое... Недаром говорят, что сердце женщины глупо и милосердно.

— Но ведь это же мой отец! — закричала Джаннатхон. — Кто немилосерден, у того вместо сердца комок глины!

На этот раз она восстала всерьез, и Азиз, боявшийся всяких серьезных потрясений, смирился.

— Хорошо, хорошо... Пусть поживет у нас несколько дней.

4

Человек живет, всегда ожидая радостей.

Так пошли навстречу радости Оджиза и Хиел. Своей дорогой. Дорога эта вывела их из города, а куда вела, они пока не знали. Взявшись за руки, они шли весь день. Лепешки были заткнуты за пояс, дутар на плече, другой ноши у них не было, и поэтому они ушли довольно далеко, когда Оджиза пожаловалась, что ноги ее устали.

— Отдохнем немного.

Хиел и сам почувствовал, как ноют ноги.

Они присели у серого холма, на той земле, где зелень уже кончалась, а пустыня еще не началась.

Оджиза повернулась туда, куда смотрел Хиел. И видеть она хотела то, что видел он.

— Расскажите мне, что там, — попросила она.

— Небо без солнца, без звезд и без туч, — сказал он. — Синее, как море.

— А земля? — спросила Оджиза.

— Она серая, как спина лягушки.

— А какая лягушка? Я забыла...

Это было ей труднее представить, и Хиел начал рассказывать, какая бывает лягушка. Как вянущий листок. Как выгорающая трава. Эх, скорее бы вернуть ей зрение, чтобы она увидела мир. И это беспредельное небо. И такую же беспредельную землю.

Было очень душно.

Пустые глаза Оджизы смотрели в небо. И Хиел туда смотрел. Там вился жаворонок. Хиел вспоминал, как не хотелось ему умирать под песню жаворонка в пустыне и как много всего случилось с ним за эти дни. Жизнь складывается своевольно. Сказали бы ему, никогда не поверил бы, что будет сидеть посреди степи с незрячей любимой девушкой. Но ведь это он взял ее за руку и повел. Как хотела жизнь? Или наперекор жизни?

Может быть, это тот же самый жаворонок? Птицы свободней людей. Пусть он сейчас видит их и удивляется смелости Хиела. Пой, дружок!

— Я знаю, — сказала Оджиза. — Это жаворонок.

Она знала его голос.

Странные шорохи, все более внятные, привлекли их внимание.

— Это черепахи, — сказала Оджиза.

— Откуда вы их знаете?

— Однажды, когда я еще видела, мама принесла с базара маленькую черепашку. Она долго жила со мной, потом убежала на волю. Но я запомнила, как они ходят.

Хиел подумал — лишь бы не змеи, но Оджиза оказалась права. Недалеко от них ровным строем ползли черепахи.

— Их много?

— Пять, — посчитал Хиел.

— Они большие?

— С хороший арбуз каждая.

— Куда они ползут?

— Не знаю.

— Там тоже, — сказала Оджиза, протянув руку в другую сторону. — Наверно, они сейчас будут драться!

Она догадалась об этом раньше, чем Хиел увидел других черепах. И те тоже ползли фронтальным строем, будто равнялись по нитке. Черепахи сближались.

— Смотрите, смотрите, как они идут! — закричал Хиел и прикусил язык. Теперь ему надо внимательней подбирать слова. Но Оджиза не обиделась.

— Как? — спросила она.

— Ну, как танки!

— А как ходят танки?

— Я ведь не воевал, — сказал Хиел, — но я видел в кино.

Оджиза все хотела знать, что знал он, и ему пришлось рассказывать про танковые атаки на Курской дуге. Ей была нужна маленькая деталь, чтобы быстро представить себе все остальное, она понимала с полуслова.

— Как пять утюгов на пять утюгов.

Черепахи, одинаковые, как на подбор, сходились, шелестя полынью.

В полуметре друг от друга они остановились и, как по команде, высунули змеиные головы, вероятно, чтобы определить свое положение и положение противника. Потом, спрятав головы, они быстрее пошли лоб в лоб.

— Вы слышите, как они пищат? — спросила Оджиза.

— Нет. — Хиел ничего не слышал.

— Будто о чем-то спорят.

Черепахи сблизились и стали биться крепкими панцирями с остервенением и треском, словно это и правда было танковое сражение. Они привставали на задние лапки и бросались в бой с неослабевающим упорством. Удар, удар! Панцири их гремели. Если удара не получалось, то черепахи расходились для нового нападения, отступали, уточняли позицию и опять сбегались для тарана. Почему они дрались? Что заставило их желать смерти противника? Может быть, это была битва за жизненное пространство? Может быть, самцы сражались за самок? Одна черепаха опрокинулась на спину, а соперница остановилась рядом, как боксер, нокаутировавший своего врага. Видимо, победитель следил, чтобы раненая черепаха не перевернулась на лапы и снова не вступила в бой.

— Разгоните их! Разгоните! Разве вам их не жалко? — закричала Оджиза.

Не вставая с места, Хиел стал швырять в черепах комками земли. Они почуяли внезапное чужое вмешательство и стали расползаться. Только одна черепаха уже не могла никуда уйти, и Хиел по просьбе Оджизы закопал ее. Все-таки она погибла героически, не свернув со своего пути...

Под вечер их начали обгонять автопоезда с трубами. Трубы лежали длинными плетями на тележках, сцепленных тросами с передними платформами. Перед одной машиной Хиел наугад поднял руку, и она остановилась.

— На трассу? — спросил Хиел.

— А куда же!

— Подвезите нас!

— Не слетишь?

— Нет.

— Ну, давай невесту сюда, а сам на трубы! — весело сказал шофер.

Но тут случилось непредвиденное. Оджиза наотрез отказалась ехать в кабине с чужим мужчиной, а идти дальше не было никаких сил, и пришлось вдвоем забираться на трубы.

Они были горячие от солнца, эти трубы, похожие на орудийные жерла, и со скрипом зашевелились, когда поезд тронулся. Оджиза вскрикнула и ухватилась за Хиела, а он обнял ее покрепче, чтобы она не упала. Жар безбрежной пустыни обволок их своей невидимой ватой, скрипели колеса, уминая песок, скрипели трубы, и казалось, скрипел сам воздух, становясь все плотнее, жестче и рождая жаркие ветерки, когда Хиел пытался обмахнуть Оджизу платком, чтобы ей стало хоть капельку легче.

Автопоезд наконец остановился. Последний скрип длинных труб, как последний вздох обессиленного путника, добравшегося до привала, затих и улетел далеко.

Пыль развеялась, впереди и сбоку показались серебряные вагоны на высоких автоколесах — передвижные жилища газопроводчиков. Хиел соскочил первым и, как жених, привезший в отцовский дом молодую жену, взял на руки Оджизу и поставил ее на землю. Замлевшие от неудобного и долгого упора, натрудившиеся ноги ее подкосились, она взмахнула руками, как подбитая птица крыльями, он подставил плечо, и она громко засмеялась. Тогда он понял самое главное — она находила утешение в молодости, и ему стало легко, и он засмеялся тоже.

— Эй, Султан, — прозвучал рядом басок. — Кого прихватил? Артистов, что ли!

— Артистов! — безразлично ответил Султан, откидывая крышку над мотором, чтобы дать ему проветриться. — Видишь, вон и гитара!

— Я знаю, — сказал басок. — Эта гитара называется дутара.

— Не дутара, а дутар, — вежливо поправил Хиел и протянул инструмент верзиле, который подошел к ним в затасканных штанах и майке-безрукавке, в большой соломенной шляпе.

К его удивлению, здоровяк взял дутар и тут же, как на знакомом инструменте, сыграл какую-то народную мелодию, кажется, далекую белорусскую лявониху — Хиел слышал ее по радио не однажды.

— Хорошая штука, — сказал здоровяк и увидел Оджизу, стоявшую по другую сторону машины. — Здравствуйте. — Он протянул ей руку.

— Здравствуйте, — ответила она, глядя на него круглыми и пустыми глазами и не видя его руки.

Он понял и осторожно положил ей в руки дутар.

— Меня зовут Сергей Курашевич. А вас?

— Оджиза.

— Вы что, правда артисты?

— Нет, — сказал Хиел. — Ищем работы и жилья.

— Одну минуточку, — сказал Курашевич и побежал к вагончику.

Он появился оттуда с двумя пиалами воды.

— Вот, пожалуйста, для начала.

Оджиза с благодарностью выпила воду — горло пересохло. Хиел же подумал, что судьба улыбнулась им — сразу попали на хорошего человека.

— Что умеешь делать? — спросил его Курашевич.

— Машину водить умею. И еще... что научите, — ответил Хиел.

— Ну пойдемте к начальнику колонны.

Начальник колонны Анисимов умывался. Он только что вернулся с трассы, утвердив порядок завтрашних работ, и стоял, упершись руками в острые коленки, а жена лила ему на спину из ковша. Воды Анисимов никогда не жалел. И в лагере всегда стоял полный молоковоз пресной воды.

Обтеревшись и подтянув трусы, Анисимов спросил:

— В чем дело?

— Пополнение, — сказал Курашевич.

Работники на трассе требовались, и Анисимов, присев на ступеньку вагона, закурил и стал рассматривать документы Хиела.

— С ним жена... — сказал Курашевич. — На дутаре играет.

Он явно сочувствовал новичкам, угадывая их необычную судьбу.

— Оджиза еще не жена мне, — сказал Хиел. — Невеста.

— Постой, постой. Хиел Зейналов? — между тем спросил Анисимов, разгоняя ладонью клубы дыма перед своим лицом. — Не тот ли ты герой, который бежал с вышки Шахаба Мансурова?

— Тот самый, — ответил Хиел, глядя на Анисимова из-под насупленных бровей.

— Видал? — спросил Анисимов Курашевича, словно советуясь, как быть. — Тебя по всем углам ищут, Зейналов, а ты... ты что же это сбежал?

— Испугался.

Анисимов подумал. У него было все выгоревшее, льняное: волосы, брови нашлепками, реснички. Веснушчатый нос его сильно морщился, когда он думал.

— И что же ты мечтаешь делать? — спросил он.

— Жить-то мне как-то надо, — сказал Хиел.

— А раз жить, надо работать, — опять вступился за него Курашевич. — Кто не работает, тот не ест. К тому же невеста...

— А что она умеет, невеста?

— Она слепая, — сказал Курашевич.

— Она сможет на кухне, — прибавил Хиел. — Посуду мыть. И потом она вышивает...

— Ну если ребята прослышат, сразу ее завалят заказами, — подхватил Курашевич. — Мастерица!

— Ну-ка. — Анисимов показал Хиелу на ступенечку и подвинулся. — Садись, закуривай и рассказывай все от начала до конца...

Рассказ вышел длинный, выкурили не по одной сигарете.

— Возьмешь к себе помощником, — сказал Анисимов Курашевичу, и тот кивнул головой. — А ты, ты сейчас же напиши о себе родным, где ты есть... Ты же ведь человек, а не суслик, чтобы пропадать... И этому ишану напиши, с которым породнился...

— Не породнился, — сказал Хиел с мальчишеской гордостью, — а вырвал у него из гнезда птичку... Я украл ее.

— Вот и про птичку напиши, что она жива и здорова... У меня и своих неприятностей достаточно... Еще мне со святой Меккой воевать! Иди, Сережа, устрой их на раздельное житье, девушку к девушкам... Своего вагона пока не получите. Общежитие! — И полушутя-полусерьезно спросил: — Не убежишь?

Хиел не ответил.

Когда он повернулся и пошел, Анисимов вдруг окликнул его:

— Она от рождения слепая?

— Я заработаю денег на дорогу и отвезу ее в Ташкент. Она будет видеть, — сказал Хиел.

— Значит, не убежишь, — улыбнулся ему Анисимов.

5

Среди ночи Ягана спросила Бардаша:

— О чем вы думали, когда ехали на пожар?

— Я вспоминал, как горел элеватор под Калугой. Мне приказали поджечь его и ликвидировать запасы хлеба, которые могли попасть в руки врага. Мы проникли в тыл фашистов, но это оказалось не самое трудное... Самое трудное было поджечь... Никак не хотел гореть хлеб... Потом загорелся...

— Бардаш, — сказала Ягана, помолчав. — Я хочу попросить у вас прощения.

— За что?

— Мне казалось, что вы и Шахаб чего-то боитесь... Риска! Что вы слишком рассудительны, осторожны... А мне всегда хотелось видеть вас храбрым... Смешно! Подумать про вас, прошедшего войну, что вы боитесь! Какая я глупая.

— Все хорошо, — сказал Бардаш. — Если бы не вы, я никогда не смог бы так говорить с Надировым. А я еще с ним поговорю!.. Мы действительно иногда миримся, молчим... Так что спасибо вам! Я еще поговорю с ним завтра!

— Уже сегодня, — сказала Ягана.

До обкома они заехали в больницу, чтобы навестить Шахаба. И очень удивились, что он встретил их в костюме, а не в больничной пижаме и закричал:

— Вот и родственники! Меня выписали с условием, что я отдохну у вас недельку, дорогие!

И расцеловал Ягану и Бардаша.

— А вот я уложу тебя назад в постель, родственник! — не на шутку рассердился Бардаш, но сказал это все же тихо, потому что недалеко стоял врач.

— Видите, доктор, за мной заехали! — повернулся к нему Шахаб. — Пощадили мои ноги.

Старенький врач приподнял палец.

— Ни одной сигареты! — сказал он.

Шахаб козырнул по-военному:

— Есть!

На нем были ярко-голубые брюки. Они так и сияли лазурным цветом, ослепительней, чем все изразцы бухарских мечетей. Ну и ну! Бардаш развел руками от удивления. Темно-коричневый пиджак и штаны как васильки. Шахаб поймал его взгляд и показал большим пальцем через плечо в конец коридора:

— Вот!

Там сидела Рая и хлюпала носом.

— Что, с Куддусом плохо? — спросила Ягана.

— С моими штанами плохо. Попросил ее купить штаны и вот что получил. Небесного цвета.

— А если других нет! — крикнула Рая. — На весь город одни штаны были вашего размера. Приехала навестить Куддуса, а сама по магазинам бегала.

— Ладно! — махнул рукой Шахаб. — Буду голубой.

— Ты куда собрался? — серьезно спросил его Бардаш.

— На бюро обкома. С вами. Слишком важное дело, чтобы в это время лечить ягодицы.

— Подожди. Ты же плохо ходишь.

— А я там посижу. Найдется мягкое кресло?

— Посмотрите на него, Ягана! — призвал на помощь жену Бардаш.

— Мы справимся, Шахаб, — сказала Ягана.

— И потом нельзя ехать на важное заседание в таких штанах! — пошутил Бардаш.

— Что же делать, если мои сгорели? Стерпят. Мне хуже. Курить не дают. Обновляю кровь.

Вместе они зашли к Куддусу. Он играл в шахматы с соседом по койке.

— Куддуска! — сказала Рая. — Ты же не умеешь в шахматы играть! В шахматы надо думать!

— Зачем думать? — засмеялся Куддус, быстро спрятав руки под одеяло. — Я просто. Какой ход он делает, такой и я. И у нас получается блиц-турнир.

— Покажи руки, — велела Рая.

Он не сразу их вынул. Вчера ему сняли повязки. Он держал их под одеялом, но ведь руки не спрячешь. Руки — это человек, можно сказать. Рано или поздно все увидят, увидит и Рая. И Куддус выпростал их и приподнял над кроватью. Все они от локтя до кистей были в тугих шрамах.

— Подарок от газа, — улыбнулся Куддус. — Сразу видно.

— Как орден, — сказал его сосед. — Такой орден не отберут, всегда будешь носить.

— Красивые руки, — не колеблясь, сказала Рая. — Ты не думай, это я плачу из-за штанов Шахаба Мансуровича. Ему цвет не нравится...

— Где думаешь работать? — спросил Бардаш.

— Вернусь на вышку! — ответил Куддус, подмигнув Рае.

— Учиться хочешь? На бурильщика? Мы в Бухаре курсы открываем.

— Учиться пускай Абдуллаев идет. Он уже много книг прочел. А я поработаю.

— Он лентяй, — сказала Рая. — Работать-то легче, чем учиться.

— Не хочу учиться, хочу жениться! — засмеялся Куддус.

Сосед его, седоголовый тракторист из Вобкента, опять вмешался в беседу:

— Рая, вы его не ругайте. Он у вас замечательный. Лучше агитатора. Будь я чуть помоложе, сам пошел бы в газовики. Сына пошлю...

— Ну, выздоравливай, Куддус. А свадьбу будем в Газабаде справлять!

— Приезжайте, милости прошу, — сказал Куддус.

Рая осталась, а они ушли.

Хазратов пил чай, гремя ложечкой в стакане и ругая официантку обкомовской столовой за то, что она забыла положить лимон. Это было признаком плохого настроения. Он нервничал.

— Посмотри, — сказал он Бардашу, — вот тут я подобрал вырезки из газет с надировскими обещаниями. Сплошное зазнайство, парадность и верхоглядство. Я подчеркнул самые выразительные места.

— Но ведь ты же и раньше видел эти статьи. До опубликования, — сказал Бардаш, наклоняясь над столом и листая подборку.

— Да, видел, но не все. И не вглядывался так, как сейчас. За каждым словом не уследишь.

— Все же надо было бы сказать, что это проходило через твои руки.

— Пожалуйста! — воскликнул Хазратов. — Я могу вообще не говорить об этом. Это я подобрал для тебя.

— Хорошо. — Бардаш свернул газетные вырезки, скрепленные самой большой канцелярской скрепкой, и сунул в карман.

— Я сделаю доклад о фактах, — как бы размышляя вслух, сказал Хазратов. — Информирую. — И с прихлебом потянул чай из стакана.

Перед входом в зал заседания, как всегда, было много народу. Тут были и районные руководители, спорившие о хлопке и воде, и бухарские архитекторы, и поисковики с трассы Аму-Дарьинского канала, и строители Навои. Их заботы входили в повестку заседания бюро, были самой жизнью. А какая сейчас была жизнь в Бухаре без газодобытчиков? И вот вместе с Надировым, Корабельниковым, Яганой, Бардашем, Шахабом в обкомовский коридор вошел разговор о газе. Но наговориться не дали — очень скоро всех вызвали туда, где разговоры шли не просто так, где решалось дело, решались судьбы.

Только по тому, что Хазратов тер и тер свою лысину носовым платком, можно было догадаться о его состоянии, а голос звучал ровно, бесстрастно, скучно. Голосом он владел, но не собой. Он сморкался и опять крутил платком по лысине.

— Таким образом, — закончил он, — можно утверждать, что надировский метод не только не оправдал себя, но и привел к серьезной беде, вызвавшей и большие убытки, и человеческие жертвы. А ведь Надирова предупреждали. И Бардаш Дадашев. И главный инженер Корабельников. Как говорится, поспешишь — людей насмешишь. Но тут смеяться не приходится. Тут, так сказать, больше хочется плакать.

На лицах действительно не было ни одной улыбки. Надиров наклонил голову так, что кольца его седых волос сваливались на глаза. Лицо, налившееся кровью, словно пылало и вместе с сединой было похоже на дымящийся костер. Корабельников, бледный, сидел неподвижно, зажав руки между коленями вытянутых ног, думал. Вероятно, вспомнились ему слова о надировской неправоте, которые Хазратов слышал за пловом, а теперь использовал, обвинив управляющего трестом в авантюризме. И обвинение это со ссылкой на него, главного инженера, было справедливым по сути, но чем-то очень Корабельникову не нравилось. Бардаш, прикрыв глаза рукой, сидел, никого не видя. Соображал, о чем говорить. Надирова он не щадил и не хотел прощать. Но Хазратов-то каков? Сажал цветы, чтобы встречать героя с букетом, а собрал на венок, когда оказалось, что герой не герой. И все одними и теми же руками.

— Есть вопросы? — спросил Сарваров.

— Почему вы ничего не сказали о Ягане Дадашевой? — спросил один из членов бюро, глядя в бумагу, где были, видимо, перечислены имена ответственных руководителей газодобытчиков, как действующие лица пьесы. — Ведь она директор конторы бурения.

— Она выполняла приказ Надирова, — ответил Хазратов.

Не хотел он касаться Яганы, потому что искал союзника в Бардаше Дадашеве. Это было ясно Бардашу.

— Я сама скажу о себе, — раздался голос Яганы.

— Кто будет говорить? — спросил Сарваров, переворачивая карандаш и постукивая то одним, то другим концом по зеленому сукну стола. — Дадашев?

Видно, он хотел, чтобы говорил Бардаш. Доверял? Проверял? Ведь тут, действительно, Ягана... Ну что ж... Дадашев поднялся, посмотрел на членов бюро. Пепельная голова Сарварова... В сорок пять лет седых волос больше, чем черных... Немолодая женщина, положившая подбородок на оба кулака, приготовилась слушать долго, хоть целый день, вопрос не пустой. Другие заинтересованные лица в основном строгие... Ведь случилась катастрофа... А если бы удача? Радовались бы надировской удаче, случайной и опасной? Вот о чем думал Бардаш.

Члены бюро сидели за длинным столом, остальные — за столиками-вертушками, чтобы удобней было вставать, не задерживаться. Из-под одной такой вертушки высовывались неприлично голубые штаны Шахаба, а рядом с ними стройные, как у танцовщицы, ноги Яганы. Бардаш поднял взгляд. Глаза ее улыбались. Это были единственные глаза, которые улыбались, не ища защиты, а поощряя идти выбранным путем.

Он сменил Хазратова на трибуне.

И вдруг горло сдавило. Он передохнул.

— Во-первых, — сказал он негромко, — о человеческих жертвах... Их нет. Это перебор. Пострадало двое. Пострадали, мужественно борясь с огнем, ликвидируя опасность для людей и спасая технику. И оба сейчас выздоравливают. Один скоро женится, сегодня нас на свадьбу звал, это верховой Куддус Ниязов, а второй, буровой мастер Шахаб Мансуров, здесь сидит.

— Где? — спросил Сарваров.

— А вон, в голубых брюках, — сказал Бардаш, и все облегченно рассмеялись.

— Во-вторых, не стоит называть Надирова авантюристом. Он... как бы это сказать... — Бардаш поискал слово, — ничего не хотел для себя... даже славы... Он хотел быстрей дать газ и в спешке мысль заменил волей, организацию — собой, план — непродуманностью, обеспеченный успех — случайным...

— Это и есть авантюризм! — подхватил со своего места Хазратов.

Когда требовалось отвести угрозу от себя, он говорил так, будто больше никогда не придется смотреть в глаза человеку.

— Бобира Надирова мы все хорошо знаем, — сказал Бардаш. — Какой же он авантюрист? Он хотел накрыть газ одним ударом... но мало думал...

— Может ли такой человек управлять трестом? — ехидно вставил Хазратов и покрутил головой.

— Да, думать надо, — говорил Бардаш. — Учиться надо. Можно обогнать Америку... Обогнать время... В союзе с наукой. Нельзя обогнать науку. Любой успех без нее окажется случайным. И все равно потом наступит тяжелое пробуждение и столько труда пропадет даром!

Надиров опять опустил голову. Лица он не прятал. Просто ему трудно было сидеть прямо. Лицо по-прежнему горело, только шрам еще больше побелел.

— Семь раз примерь, один раз отрежь, — сказал Бардаш. — Я не говорю о перестраховке. Это стыдно для коммуниста, простите меня.

— Правильные слова, — заметил, усмехнувшись, Сарваров. — За что же прощения просить?

— Когда изрекаешь истины, — объяснил Бардаш, — испытываешь неловкость. Итак, Надирову не хватило научного подхода к делу. И в этом виноват я. Я мог бы остановить Надирова, если бы мне помог товарищ Хазратов...

— Зачем тебе, — рявкнул неожиданно Бобир Надирович, снова вскинув голову, — он мне помогал... А когда на Огненном мазаре вспыхнул пожар, он сказал, что тут на тебе можно и точку поставить. Потому что это ты предложил жене передвинуть вышки в район Огненного мазара.

— Ложь! — крикнул Хазратов, голос его сорвался, будто лопнул, и он закашлялся.

— В район Огненного мазара я предложил передвинуть вышки на основании данных разведки, — сказал Бардаш.

— Кто виноват в аварии? — спросил Сарваров.

— Я! — сказал Шахаб. — Я бурил, не имея никаких предварительных данных, без соблюдения необходимой осторожности...

— Я виновата, — перебила его Ягана. — Как директор конторы бурения, я должна была противостоять Надирову, но я поддержала его атаку... Слишком многого захотелось, и вот вместо экономии авария... Я должна ответить...

— Все это требует осуждения не только людей! — резко бросил Бардаш. — Это должно быть осуждено как явление. Между спешкой и темпами столько же сходства, сколько между криком и песней!

Обсуждение только начиналось, но все разгорячились. Один Хазратов как-то посерел, съежился. Надиров принял на себя всю вину и говорил:

— Дадашев сказал, что меня можно было бы остановить. Нет, меня остановить нельзя. Но меня можно было бы заставить идти по правильному пути, если бы не такие люди, как Хазратов. Они подзуживают, юлят, а потом бегут в кусты, когда надо отвечать. Нет, не в кусты, а первыми хватают лопату рыть яму...

Бобир Надирович сел и теперь потупился надолго.

Выступали, спорили, обвиняли, оправдывали, а он все сидел, уткнувшись глазами в пол. Может быть, он прощался с трестом, с той вышкой, откуда ему всегда так отчетливо виделись дали, дороги... Сарваров заключил:

— Вас называли начальником подземных кладовых, Бобир Надирович. Но ведь под землей у нас тоже должен быть порядок, а его действительно способна обеспечить наука... Поскольку человеческих жертв не было, а частично пострадавшие не предъявляют претензий, поскольку почти вся техника спасена, прокуратура не будет привлекать людей к уголовной ответственности...

Бардаш посмотрел на Сарварова и понял, какой тяжкий груз снимал он со всех. Наверно, ему и самому было нелегко.

— Какие будут предложения? — спросил Сарваров.

— Освободить Надирова от работы и дать строгий партийный выговор, — сказал Хазратов.

— Партийный выговор Ягане Дадашевой как понимавшей опасность такого бурения, — сказали из-за стола.

— Еще есть предложения?

Слово взял Бардаш.

— Нет, — сказал он, — Надирова нельзя снимать. Его справедливо называют начальником кладовых бухарского газа. И такой второй начальник у них не скоро будет. Это у него в крови, я не для красного словца говорю... Строгий выговор.

Если бы он мог заглянуть в надировские глаза, то увидел бы в них первую в жизни накатившуюся на седые ресницы слезу. Но в них никто не мог заглянуть, так низко склонился старый пустынный волк.

Проголосовали за строгий выговор Надирову и за выговор Ягане. Хазратов сразу встал.

— Вот теперь о Хазратове, — сказал Сарваров, и тот сел. — Я думаю, он не может работать в обкоме...

— Вы хотите сказать, Шермат Ашурович, — прошептал Хазратов, — что я не соответствую своей должности?

— Дело даже не в должности, — ответил Сарваров. — Вы партийный работник, и когда все думали, плохо или хорошо, о новом деле, вы думали только о себе. А партийного работника прежде всего должна отличать бескорыстность.

И все так единодушно проголосовали за его освобождение, что Хазратов онемел. Ах, ведь знал, знал, что плохо для него все это кончится. Чувствовал! Такое дурацкое время. Он стоял, тяжело опираясь руками о стол, и все ждали его слов. А перед ним пробегали юрты, бараны, степи Тамды, по которым он бегал босоногим пастушонком. Когда все это было?.. Давно... Но ведь в его же жизни! В его! Как это получилось? Он все отдавал колхозу, людям... Он рос... Как получилось, что сначала он отдавал себя, а потом стал работать только на себя? Неужели Сарваров попал своими словами в самое больное место и теперь ему не выдернуть из сердца этой стрелы, не смыть позора? А Бардаш будет процветать... Он даже не защищал жену, поднял руку за выговор Ягане. Он будет идти вперед, возможно, займет его, хазратовское место... Давняя, с юношества затаившаяся зависть снова ослепила Хазратова.

— Я хочу сказать о Дадашеве, — проронил он, и слова отдались гулким эхом, как будто он говорил под куполом, — этот инструктор обкома, мнящий себя передовым человеком, ходит на религиозные свадьбы, встречается там с ишаном!

— Товарищ Дадашев! — удивленно повернулся к Бардашу Сарваров, требуя объяснений.

Бардашу стало жалко Хазратова. Не там ищет спасения.

— Да, я был на свадьбе, где по настоянию стариков молодых должен был обвенчать ишан... Но венчание не состоялось... Я пришел, а ишан, увидев меня, удрал... Что же лучше — ишан на свадьбе или инструктор обкома? Очень весело прошла свадьба... Пели, танцевали...

— Товарищ Хазратов, — попросил Сарваров. — Вы скажите о себе.

Хазратов растерянно смотрел на людей, а перед запавшими, обращенными в дали прошлого глазами опять бежали тамдинские просторы...

— Я хочу доказать свою преданность, — сказал он тихо, — я прошу... Если можно, рекомендуйте меня председателем в родной колхоз Бахмал... Вы увидите...

Он замолчал.

— Согласимся? — спросил Сарваров.

— Очень жалко Бахмал...

Сарваров не расслышал.

— Товарищ Дадашев шутит, — подсказал кто-то.

— Нет, я не шучу.

Бардаш повторил свою фразу громче. Ведь Бахмал был и его родным кишлаком.

— Если колхозники вас выберут, не подведите ни себя, ни нас, — сказал Сарваров.

Когда все вышли из зала, Надиров сказал:

— Есть пословица: как бумажную нить ни крась, все равно она не станет шелком.

Ему никто не ответил. Они спустились по лестнице. По улице плыл горячий летний воздух, припекая листочки акаций и мучая прохожих. Плыл и плыл, и не было ему конца. Но даже этой духотищи Надиров хватил от души, полной грудью, и развел руками:

— Наука! Всем наука! На-у-ка! — Он посмаковал это слово и обнял за плечи Ягану и Бардаша. — Думаете, я не люблю этого слова? Поехали! Поехали ко мне! Я вам покажу. Корабельников! Алексей Павлович! Ты так и не выступил на бюро...

— Без меня сказали...

— Так покажи теперь людям, что ты сделал...

— Вы мне помогли, Бобир Надирович.

— Наше дело не говорить, а делать! Поехали! В нашу новую лабораторию!

Он тянул всех к машинам.

— Простите, братцы, — взмолился Шахаб, — я домой. У меня там будет свое бюро... Мне жена покажет за то, что я удрал из больницы!

— Берегитесь, — улыбнулся Корабельников, которого жена тоже держала в строгости: она недавно приехала.

— Бобир Надирович! — осмелился Шахаб. — Дадите квартиру в Газабаде? Заберу туда семью.

— Дом дадим!

— А школа когда откроется?

— С этой осени.

— Ну глядите! При всех сказали.

— Не отрекусь. Куда ты? Мы тебя подвезем.

— Спасибо, мне ходить легче, чем сидеть. Лучше прогуляюсь...

И Шахаб пошел, смущая прохожих и далеко светя своими небесными штанами, тающими в бездне бухарского дня.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

1

И снова пыль, пыль, пыль... Ее так много, что всю не поднимешь, шутит Алишер. Но и простору много — никакой пыли не закрыть. Ехали, ехали, стало темнеть.

Алишер все придумывал: то его зовут работать в детский сад молочко подкидывать, а то на базу Плодоовощ — арбузы развозить по лоткам: куда лучше, упал арбуз, разбился — насыщайся! А может, и не выдумывал.

Бардаш дремал и улыбался. То и дело одним глазом смотрел вперед на так называемую дорогу... Чтобы не уснуть, он высунулся из окна. Пыль то обгоняла газик, то отставала, но все время слышался ее запах и резало в глазах...

Казалось, кругом небо и они не едут, а летят. Тонкий, как иголка, свет одиноких звезд не достигал земли, тонул во тьме горизонта.

Густая тень надвигалась навстречу. Удивительно, что пустыня походила на темный лес. Редкие кусты лохматого елгуна, который здесь зовут братом саксаула, проваливались за машиной. Черный, пахнущий пылью воздух впереди и сзади.

Но вон там, как искры костра, звезды не исчезают, они занимают все большую площадь, они, как стая, подлетевшая к земле, вот-вот сядут.

Это уже не звезды. Это лагерь трубоукладчиков газопровода, это колонна Анисимова, которая идет через дни и ночи, через жару и ветры, сваривая трубы, зарывая их в землю, оставляя за собой надежное русло для голубой реки газа...

Вчера Бардаш прочитал в газете, что ферганский завод уже начал выпускать газовые плиты. Их потребуется очень много для всех азиатских городов. Рабочий корреспондент с завода жаловался, что какой-то ташкентский снабженец Вракин не прислал эмалированных деталей... Вракин, Вракин, что же ты обманываешь людей? Люди готовятся к встрече дорогого гостя — дешевого газа... А вспомнят ли они, зажигая газ над конфоркой, чтоб быстренько изжарить яичницу перед работой и вскипятить чай, что здесь вот, в аду пустыни, с пересыхающими ртами стояли люди и сваривали трубы. Хоть раз, да вспомнят! Ну, а если и нет, невелика беда. Ведь всего не упомнишь!

— Стоп, телега, — сказал Алишер и, облизав губы, сплюнул песок.

Огни обступили газик со всех сторон. Где-то играла гармонь, где-то пели, где-то смеялись, где-то стучали костями домино, а где-то плакал ребенок. Одним словом, как будто приехали на обжитой курорт, а не в пустыню.

Бардаш зашел в вагончик, и Анисимов, отложив книгу, закричал:

— Лена, смотри, кто приехал! Саша, Боря, смотрите! А ну, марш с колен! Салям алейкум!

Оба сына сидели у него на коленях, он читал им сказку.

Лена поздоровалась, вытирая руки о фартук — стирала. Была она беленькая и румяная, как свежий калач из печки.

— Что прикажете, дичь или зайца? — спросила она сразу, смеясь глазами.

— Это она хвалится, какой я охотник! — не без гордости засмеялся Иван.

— Вот наше ружье! — Младший, Борис, очень похожий на отца, показал на стенку.

Старший дал ему подзатыльник, чтобы не лез в разговор взрослых.

— Мама! — закричал Борька. — Чего он дерется?

Старший дал ему еще раз.

— Это за жалобу.

— Видал-миндал? — захохотав, спросил Иван. — Каждый день так. Воспитанные.

Скоро они сидели за столиком, ели зайчатину.

— Значит, хватает времени и на охоту? — поинтересовался Бардаш. — Или зайцы сами на мушку лезут?

Анисимов вытер губы, закурил.

— Слыхала, Лена? Как он меня подначивает? Это значит, приехал нажимать. А мы и так жмем на все скорости. Аж тракторы трещат. Быстрей не выйдет.

— Август впереди, самая жара... Как бы тише не вышло. А быстрее бы тоже хорошо.

Бардаш рассказал, как размахнулся Надиров, о новых подземных куполах вокруг Огненного мазара, заполненных газом. Была надежная основа, чтобы к осени обещать газ ташкентцам...

— Кстати, что это за Огненный мазар? — спросил Иван. — Я уж сам хотел к тебе ехать... Чтобы подвести трубы к газосборнику, нам придется разрыть эту самую святыню. Помогай!

— Нет там даже пуговицы от святого. Все выдумки. Снесем мазар, проложим газопровод, убьем двух зайцев сразу, охотник.

— Смотри, чтобы это меня не задержало.

— Посмотрю.

— А кто же придумал это святое место? — опять засмеялся Иван.

— Есть такой... Халим-ишан.

Иван присвистнул, почесал за ухом.

— Халим-ишан? Смотри, Лена! Это нашей Оджизки отец. У нас ведь тут этот самый... парнишка, который убежал с вышки Шахаба...

— Хиел? — спросил Бардаш. — Я знал, что он где-то на трассе, он Хазратовым письмо прислал, но где точно, не сообщил...

— И с ним девушка. Оджиза... Она слепая... Дочка Халима-ишана, — объяснил Анисимов.

— Та-ак... — протянул Бардаш.

История эта начала ему чем-то нравиться, хотя усложняла и жизнь Хиела и отношения с ишаном. Но все же парень не попал под влияние духовного наставника в тяжелую минуту, а даже вырвал из мрачного плена девушку. На это требовались воля и смелость. Характер!

— А где он?

— У Сережи Курашевича был помощником, стал сменщиком. Уж больше месяца... Безропотный парень...

— На трубоукладчике, значит?

— Ага... Завтра увидишь...

Но до завтра они еще посидели на приступочке и покурили. Лена, понимая, что им надо поговорить не только как начальникам, но и как друзьям, оставила их, увела укладывать сынишек во вторую клетушку вагончика и сама улеглась. А они слушали, как затихает ночь в пустыне. Смолкали голоса и музыка, засыпала жизнь, чтобы утром проснуться рабочим громом.

— Ягана-то как? — спросил Иван.

— Бурит вокруг мазара.

— Вы-то как?

— Мы-то? — переспросил Бардаш, улыбаясь в темноте. — Мы счастливы, как молодые, Ванюша. У нас скоро будет сын.

Иван посидел молча, похлопал Бардаша по коленке.

— Не загадывай, а то дочь будет...

Бардаш вздохнул — теснило грудь от счастливого ожидания.

— Пусть дочь.

— Ну что ж, — сказал Иван, снова разминая сигарету и угощая друга, — значит, политико-моральное в этой семье на высоте.

— На высоте, — подтвердил Бардаш.

— Вот чего мы мучаемся! — сразу перескочил на дело Иван. — Битум плавится. Вычистишь трубу, начинаешь обливать битумом перед укладкой в траншею, а он весь на земле. Течет и течет. Слезы!

— Солнце! — причмокнул языком Бардаш. — Солнце! Скажу ученым, пусть ломают голову, как изолировать трубу без битума... А то станем... Солнце никуда не денешь...

— Автомат природы, — согласился Иван. — Пиши им, чертям, пусть выручают. Битум плачет, и я плачу, беда. Сам увидишь...

Пекло с утра без предупреждения.

Землеройки уже ушли вперед, на распорках за ними тянулись трубы, которые обхаживало множество людей. По всей длине под трубами на песке виделись отпечатки ног. Долговязый человек в белой шляпе и белом халате привлек внимание Бардаша, он подошел. Человек скинул шляпу таким движением, как будто хотел передохнуть, его сильно порыжевшие волосы заблестели на солнце.

— Здравствуйте, Бардаш Дадашевич!

Это был Коля Мигунов.

— Ну, как трубы? Лечить не придется?

— Пока здоровые. Стараемся, чтоб не болели.

Он вытер пот со лба и продолжал работу. Умный прибор и ампула с изотопами позволяли Коле фотографировать сварные швы. Он показал несколько пленок Бардашу. Швы были без изъянов, без трещин и пропусков. Коля глотнул из фляжки, висевшей на боку, и перешел к следующему шву, обнимавшему трубу.

— Вы простите, что я работаю. Стоять некогда. — Он опять вытер лоб. — Солнце! — ткнул рукой в небо. — Стоит, как сторож! — и усмехнулся.

— Солнцу не скажешь: «Прикрой свое лицо!» — в свою очередь усмехнулся и Бардаш. — Есть у нас такая присказка... Если на солнце кричать даже с минарета, оно не послушается...

Но что-то надо было делать.

Уставали и надрывались машины, тек битум, задыхались люди. Бардаш понимал, агитация тут не поможет, люди и так старались работать из последних сил. Недаром, чтобы похвалить Хиела, Иван вчера нашел единственное слово: безропотный. Что-то надо было придумать в помощь людям. А что?

К полудню песок раскалялся так, что расторопные хозяйки быстренько варили в нем яйца на обед. И воздух над пустыней становился как песок. Люди изнывали. Град капель катился по лицам.

Бардаш шагал, увязая в раскаленном песке, назад к лагерю. Трубоукладочные машины, вытягивая тонкие руки, осторожно опускали нитку трубы в траншею. Железная рука, торчащая вбок от машины, гремящей вдоль траншеи, бережно держала трубу на весу и деликатно переносила на дно, как в мягкую постель. Человек и тот не пожаловался бы на такое обхождение.

— Хиел!

Он не слышал, он смотрел на трубу, мягко подавая машину вперед. Гусеницы лязгали, рассыпая звон по окрестности.

Ну пусть работает! Потолковать и вечера хватит... Когда стемнеет. И тут Бардаша остановила любопытная мысль: а что, если работать ночью, когда нет солнца, когда и битум не будет таять и людям легче, а днем отдыхать?

Он застал Анисимова за подсчетами.

— Смотри-ка, Архимед! — сказал Иван. — Я и сам об этом догадался. Свету не хватит, и ночи не хватит... Ночь совсем маленькая. Положим, свет мы обеспечим, а время? Мы ведь и так должны нажимать, значит, работать день и ночь... Что-то надо еще искать. А на солнце платок не накинешь, это у вас правду говорят. Так, кажется?

— Солнце далеко, искать надо поближе, — раздумчиво проговорил Бардаш, вытирая лицо совершенно мокрым платком. — Слушай, Ваня. Надо вот что... Только ты не смейся... Все ге-

ниальное просто... Надо всех снабдить зонтами... Мы не можем закрыть солнце, надо закрывать себя... Люди будут работать в тени. Ясно?

— Ага, — сказал Иван, — смотри-ка! — Идея ему понравилась. — А машины?

С машинами было хуже. Решили объявить конкурс на рационализаторское предложение. К вечеру явился Курашевич со своим проектом. Он предложил укреплять над машинами бочки с водой и все время поливать моторы, как из душа.

Вечер ушел на обсуждение, опять не повидался с Хиелом. С утра начали приторачивать бочки над моторами землеройных и трубоукладочных машин и зонты над людьми. Дело всем понравилось. Смешно, просто и полезно. Сварщики наварили каркасов и отдали женщинам обшивать их. С зонтами сварщики обращались очень просто: клюнут разок контактом в трубу — и зонт стоит. И они ведут дальше шов, прячась в тени зонта, как городские мороженщицы или продавщицы газированной воды у сатураторов. Красота! Тень — великое дело.

Зонты разбрасывали пятнышки тени по пустыне.

На следующий день приехала делегация буровиков вызывать газопроводчиков на соревнование. И Шахаб, и Рая, и Бобомирза, и Куддус... Они сразу обратили внимание на зонты.

— Куддуска! — закричала Рая. — Сделай себе такой зонт, я обошью его штанами Шахаба Мансуровича, а ему купим другие...

— Нет, не надо, не разоряйте его, — смеялся Анисимов. — У него штаны под цвет газа... Я и не думал, что ты такой стиляга, Шахаб!

Друзья из политехнического подшучивали друг над другом. Уж такая у них была студенческая привычка.

— Некогда мне о штанах думать, — отбивался баском Шахаб.

— Брось, брось, — все еще веселился Анисимов, — ослепил!

Шутили много, но присели поговорить и всерьез.

Устроились так: положили на песок две трубы параллельно, как скамейки, к трубам тут же приварили зонты на железных ногах и расселись, ни дать ни взять словно в парке культуры и отдыха. Сначала поближе познакомились друг с другом. Анисимов рассказал о Курашевиче, который задавал темп всей колонне, а Шахаб о Куддусе. Ребята смущенно растирали пыль каблуками. Анисимов одарил всех сигаретами, и, закурив из общей пачки, стали обсуждать одной семьей, как пойдут работы на трассе.

— Зонтами-то мы себя обеспечим сами, а вот бочек маловато... — сказал Анисимов.

— За бочками присылай к нам людей, сынок Иван, — ответил Бобомирза. — У нас бочек много, все время горючее возят, бочки остаются.

— Ну, отец! — обрадовался Курашевич. — Вот это я понимаю, честное соревнование!

Бобомирза кинулся на помощь жене Анисимова. Она несла самовар. Самовар блестел, как зеркальный. Его поставили на песок, и он зашумел, забулькал пустынной куропаткой. Бобомирза снял с плеча Лены полотенце, усадил ее на трубу рядом с мужем, а сам принялся хозяйничать. Он наливал чай из самовара в чайники, затем в пиалу, из пиалы трижды в чайник, чтобы разбудить, разбередить заварку. Узбеки говорят: первая — пена, вторая — муть, а уж чай — третий... Всем разнес старик чай и леденцы, как истый чайханщик, а потом вернулся к самовару, щелкая пальцами и пританцовывая:

Вот роза, вот роза, вот роза,
Все мои розы тебе, девушка!..

И подал пиалушку с розой набоку Лене.

— Последние капли чая самые сладкие! — сказал он ей.

Курашевич и Шахаб подписали договор.

— Надо бы сообразить чего-то покрепче чаю, — прогудел Курашевич добродушно.

В это время в стороне показались трое: это были Бардаш, Хиел и Оджиза. Они встретились за «магазином». Увы, в том магазине нельзя было купить ни бутылочки, ни закуски. Магазином называлось место, где складывались трубы, изоляционные бумажные ленты и другие материалы. Выйдя из машины после объезда трассы, Бардаш увидел парня, который то ли следил за кем-то, то ли прятался от кого-то. Он подошел ближе.

— Хиел!

Парня держала за руку девушка. Она сидела на земле.

— А это Оджиза?

— Да.

— Она написала отцу?

— Да.

— Ну и что?

— Он проклял меня.

— Это не самое страшное. Меня ишан давно проклял, а я живу. От кого вы тут прячетесь?

Хиел потупился:

— Там наши.

Издали Бардаш разглядел и голубого Шахаба, и танцующего с чайником Бобомирзу.

— А ну пошли.

Он взял за руки Хиела и Оджизу, как детей. Так он и подвел их к будущим соперникам в соревновании за звание коммунистических бригад, распивающим чай.

— Вот он! — закричала Рая то ли обрадованно, то ли осуждающе.

Оджиза повернула в ее сторону настороженное лицо, ресницы ее запорхали.

— Пойдем отсюда, Хиел, — позвала она.

Но Хиел не двигался с места. Он смотрел на обожженные руки Куддуса виновато, расширенными глазами.

— Здравствуй, Хиел, — первым произнес Шахаб.

Хиелу хотелось сказать обычные слова, которые говорят после такой беды, какая разделила его с этими людьми, но он не мог говорить, он молчал. Он не мог даже ответить: «Здравствуйте». Только взгляд его словно бы буравил песок, уходя все глубже и глубже.

— Это мой ученик, — сказал Курашевич и положил руку на плечо Хиела. — Хороший трубоукладчик.

— Значит, работаешь, Хиел? — спросил Куддус, и не было ясно, насмешливо он это сказал или одобрительно.

Хиел опять промолчал.

— А это его невеста, Оджиза, — сказал Бардаш.

Все присматривались друг к другу. Казалось, даже Оджиза смотрит на новых, незнакомых ей людей, имена которых слышала и знала по рассказам Хиела.

Как рыжий снег, взвихрилась над ними песчаная пыль. «Неужели опять ветер?» — подумал Анисимов и оглянулся. Ветра не было. Старый чабан с козлиной бородой гнал большую отару овец. Чабаны теперь часто гнали свои отары мимо газопроводчиков, чтобы посмотреть по пути на диковинные машины, своими глазами увидеть, как творится чудо пустыни.

Старик пропустил отару и подошел к Хиелу. Он поднял руки, словно для молитвы.

— Счастье, что я тебя встретил, сынок! Третий месяц гоняю твоих овец.

Хиел узнал старика, с которым его свела пустыня. Он молчал.

— Каких овец? — спросил удивленный Анисимов. — Ты еще, оказывается, частный собственник? Что за овцы, отец?

— Пять штук, — ответил старик, — за пять волчат. Он же разорил волчье логово. Не испугался! А вы ничего не знаете? Вах! Пять волчат он взял... Голыми руками... Вах! Как не знать такого? Колхоз дал ему премию пять ягнят. Были ягнята — стали овцы. Давай расписку, джигит, выбирай овец, плов делай своим друзьям!

— Ну вот! — закричал Курашевич. — А вы говорите!

Хотя никто ничего не говорил.

— Давай расписку! — кричал старик.

— Не надо мне овец.

— Заработал. Бери!

— Бери, — сказал Курашевич. — Плов же... Угостим людей!

К плову нашлась у кого-то и бутылочка. Ждали тоста. В честь подписания договора пир вышел прямо первостатейный. Анисимов поднялся.

— У меня речь не написана... Да и нет времени произносить речи. И Курашевичу и Хиелу сейчас в ночную смену. Выпьем за то, чтобы после этого больше не пить.

Оджиза засмеялась, а Куддус, который сидел рядом, сказал:

— Я на тебя сердился, Хиел. Я ведь думал, ты за Раей собрался ухаживать. А ты... — Он показал на Оджизу. — Сама ушла с тобой?

— Спроси у нее.

— Какие планы?

— Хотим вылечить глаза Оджизе.

— Но на трассе нет клиники.

— А мы же с трассой дойдем до Ташкента!

— Ну, выпьем!

И это было равносильно прощению. Это было, может быть, даже больше прощения.

2

По-новому открылся перед Хиелом мир. Теперь каждая травинка росла для него и каждая птица для него пела. Перед отъездом друзья-буровики заставили Оджизу взять дутар. Не стесняясь, она пела о любви. Как птица.

И всю ночь, пока работал Хиел, укладывая трубы в земную постель, с ним жила песня Оджизы. Ни лязг гусениц, ни грохот сгружаемых у «магазина» труб не могли заглушить ее, потому что она звучала в душе Хиела. Он и сам отвечал ей:

Твое лицо, как луна,
Все время со мной.
Мне не до сна, мне не до сна
Вместе с луной!

Он поворачивал штурвал, вел свою машину, настигая огни электросварки.

Жажду, жажду-у-у увидеть твое лицо,
Любимая моя!
Жа-а-жду-у-у!!

— Ты чего орешь? — спросил его какой-то грузчик, задрав козырек кепки.

Жа-а-жду-у-у!! —

пел счастливый Хиел.

И весь мир понимал его, кроме этого грузчика. Весь мир — от огней поселка до звезд, от луны до солнца, которое уже катилось где-то за краем земли навстречу Хиелу, — был создан для него и для счастья. И эта фляжка воды на боку, и эта пустыня, и рычащий мотор, и запах битума, и выгнутая, как коромысло, труба, повисшая над траншеей, — все входило в счастье и составляло его, как отдельные буковки составляют слово, потому что фляжку наливала Оджиза, по пустыне ходила Оджиза, трубы касалась своей рукой Оджиза.

Жа-а-жду-у-у!!

— Малохольный, — сказал грузчик своему соседу, кивнув на Хиела через плечо. — Или влюбился!

Значит, и он понял. Теперь в мире не оставалось ни человека, ни былинки, ни песчинки посторонних, пролетающих мимо счастья Хиела.

Утром он схватил за руку Оджизу и повел вдоль траншеи. Он давно хотел это сделать, но еще никогда мир так не принадлежал ему и он так не принадлежал миру, как сегодня. Прежде он чувствовал себя здесь гостем, еще хуже, человеком, нашедшим случайный приют, а сегодня стал хозяином, властелином мира, и ему правда было не до сна даже после трудной ночи.

Пламя вспыхивало на земле и в воздухе, вспышки роились вокруг труб, как пчелы. Сварщики лежали на боку и на спине, стояли на коленях.

— Что здесь происходит? — спросила Оджиза.

— Здесь сваривают трубы, любимая, — сказал Хиел. — Из многих труб получается одна на тысячу километров. Железо варят в огне, и его уже не разорвать. Трубы приставляют край к краю и как бы сшивают их огнем. Это место так и называется — шов.

— А огонь они держат в руках?

Сварщики не обращали на них внимания. Когда сварщик варит, хоть красавицу поставь за его спиной, хоть фокусы показывай, он не оглянется. Словно для него нет жизни, кроме этой слепящей искры, которая пляшет на разорванных краях, заставляя их сродниться, скипеться. Он сам творит такой фокус, что другим фокусом его не удивишь, не отвлечешь. И каждый фокусник оставляет на стыке свою фамилию, чтобы начальство знало, с кого спросить, если рентгеновские лучи Коли Мигунова отыщут брак.

За сварщиками шла зубастая, щетинистая машина — она чистила трубы, не оставляя на них ни крапинки ржавчины, способной, как грибок, проесть трубу в земле. Щетки и швабры начищали трубы до блеска. Собственно, это была уже одна труба, и она блестела на солнце, как новая, хоть оставь ее так, чтобы ею любовались прохожие, но ее обливали битумом и забинтовывали наискось в плотную бумагу, оберегая от сырости. Труба ведь может простудиться в земле, тогда не обойтись без хирурга. Так уж лучше постараться сейчас.

Это все рассказывал Хиел Оджизе.

Облепляли битумом и бинтовали бесконечную трубу тоже машины.

— Вчера, — говорил Хиел, — этот проклятый битум тек на землю, как мутная вода, а сегодня загустел и больше не тает. Знаете почему? Потому что над трубой стоит ваш зонт.

Да, вчера Оджиза обшила материей много проволочных каркасов.

Под зонтом битум тек лениво, труба схватывала и останавливала его, а не плавила, как на открытом месте.

— Вчера все таяло на солнце, а теперь тут тень.

— А что такое тень, Хиел? — спросила Оджиза.

Он ответил просто:

— Когда жарко, куда спешит человек? В тень. Куда бежит собака? В тень!

— Какая она? — спросила Оджиза. — Я забыла.

Он грустно задумался и беспомощно сжал ее руку.

— Солнце светит с одной стороны, — сказал он. — Оно не может сразу со всех сторон окружить дерево, если только не стоит над ним, вверху. И под деревом почти всегда есть тень, место, куда солнечные лучи не попадают. Там и прячутся люди для отдыха. А под зонтом еще лучше, потому что он, как шляпа, не пропускает лучей сверху. Под ним всегда тень. Зонты стоят сейчас на битумной машине и на автогудронаторе. Теперь люди не разлучаются с тенью, как и деревья. Как мы с вами. Я ваша тень, любимая... Мы никогда не расстанемся.

— Можно, я потрогаю битум пальцем? — сказала Оджиза и протянула руку к трубе.

Битумщик замахал на них, зачертыхался. Черный, ползучий, как мед, состав был горячим.

— Ой! — вскрикнула Оджиза и поднесла черный палец к губам.

— Вы обожглись? — спросил Хиел.

— Нет... Немножко...

— Это еще халва... — засмеялся битумщик. — Вчера бы!.. Уводи ее отсюда!

Он пустил струю битума сильнее, а сзади проворные руки машины наматывали бинты бумаги, и сквозь щели обмотки битум вылезал каплями.

— Уходи от него, Оджиза! — кричал битумщик, смеясь. — Он сам грязный, как шайтан. И тебя измажет. Красавица! Уходи!

— Она от меня никогда не уйдет, — сказал Хиел. — Правда?

Оджиза не ответила, но никогда ее молчание так не соответствовало пословице, на всех языках гласящей, что молчание есть знак согласия.

Хиел вел Оджизу навстречу трубоукладчику, машине, на которой сейчас сидел его сменщик, а из-за траншеи на них старыми, полными слез глазами смотрел Сурханбай. Слезы мешали рассмотреть внука, сына Зейнала. А Хиел, ничего не подозревая, шел с девушкой, со слепой дочкой ишана, которую увел из дома обманщика... Какой молодец! Это был он. Если бы Сурханбай не встретил слепой Оджизы, то все равно узнал бы внука. Потому что перед ним шагал молодой Зейнал. Так же курчавились темные волосы. Так же нависали и срастались брови...

Так же были прямы плечи и быстр и нервен шаг. Такой шаг изобличал порывистость. Таким и хотел Сурханбай увидеть внука. Только бы крикнуть ему: «Зейнал!» Но его звали Хиел...

Надоело Сурханбаю жить у дочери, видеть молчаливое недоброжелательство зятя, а тут вдруг новости — зятя возвращали в Бахмал, туда, откуда он начал свой путь на пик почета и славы. Видно, не очень хорошо он прошел эту дорогу, если просили повторить... Сурханбай сложил узелок и собрался к внуку. Джаннатхон объяснила, где он. Она сказала и то, что внук ему не обрадуется, но он ведь одного хотел — увидеть хотя бы издалека. И все.

Сначала он шел пешком, по пыли и жаре. Песок знакомо прожигал подметки, припекал ступни. А по дороге все текли и текли машины в грохоте и дыму. Всю эту технику отдали в руки человека, чтобы он покорил пустыню и устроил себе лучшую жизнь.

Одна машина засигналила. Сурханбай посмотрел — ей никто не мешал впереди, а он шел сторонкой. Он обтер лицо рукавом халата и опять зашагал, но машина снова закричала: ра-ра-ра! Старик отошел подальше, а шофер открыл дверцу и крикнул:

— Куда шагаешь, отец?

— Туда! — Он махнул рукой.

— Зачем?

— Долго рассказывать.

— Ну садись, подвезу. Быстрей будет.

— Спасибо, дойду.

— Да мне скучно ехать!

— Посадил бы девушку.

— Искал — нигде не видно, — засмеялся шофер. — К сыну, наверно?

— К внуку.

— Где же он работает?

— На трассе.

— Самым главным? — насмешливо спросил шофер.

— Для меня самым главным.

— Понятно.

— Он в бригаде, которая хочет стать коммунистической.

— Таких много. Как его зовут? Я всех знаю... Всем трубы вожу.

— Хиел Зейналов.

— Не слыхал... Видать, он не шибко главный...

И вот старик смотрел на Хиела. Только увидеть, и все. С этим он ехал. Сам не понял, как вышло, что он перелез через траншею, загородил дорогу Оджизе и этому юноше, в котором текла его кровь, кровь его сына, и сказал:

— Хиел! Я твой дед Сурханбай...

Хиел от растерянности сначала смотрел на него с улыбкой, но глаза его постепенно тяжелели, леденели, становились неприветливыми.

— Не гони меня, — попросил Сурханбай.

Тут только Хиел поверил, что это правда его дед, пришедший из прошлого, и понял, что ему надо делать.

— Я вас не знаю, — сказал он.

— Я твой дедушка, — торопливо повторил Сурханбай, размазывая слезы по щекам. — Ты вырос, пока я скитался на чужбине.

— Я вас не видел и видеть не хочу! — с ненавистью процедил Хиел, до хруста в пальцах сжав кулаки. — Уходите! Убирайтесь отсюда!

— Не смей! — закричала Оджиза. — Не смей гнать старого человека. Он устал, пока добрался сюда!

— Из-за него погиб мой отец!

— Я сам настрадался, Хиел. Я добирался сюда тридцать с лишним лет...

— Зачем?

— Мне не нужно ни денег, ни приюта... Только посмотреть...

— Сейчас же попросите у него прощения и обнимите его! Слышите, Хиел! — потребовала Оджиза.

— Этого никогда не будет.

Хиел даже засмеялся. А Оджиза побледнела.

— Разве вы не видите, как плачет ваш дед? Я не вижу, а слышу. Я слышу, как слезы текут по его лицу. Не плачьте, дедушка.

— Пусть убирается к своим овцам!

— Советская власть меня простила...

— Советская власть простила, а я не прощу.

— Тогда я уйду от вас, — сказала Оджиза, ища руку Сурханбая. — Может быть, мои родители не научили меня ничему хорошему... Но они научили меня уважать старость... Вы просто... просто плохой... Я ведь совсем не знаю вас, Хиел... Идемте, ата...

— Нет, нет, доченька!.. Я уйду, а ты оставайся...

Но она уже уходила.

— Оджиза! — крикнул Хиел.

Она, не останавливаясь, шла вдоль траншеи, которую засыпали трубоукладчики. Хиел не догонял ее. Если любовь молила его о невозможном, он должен был переступить через любовь.

— Доченька! Доченька! — Старик вприпрыжку бежал за Оджизой, подхватывая полы халата. Ему трудно было бежать, чтобы догнать даже слепую, но и сейчас Хиел не чувствовал в себе жалости к этому совсем чужому человеку, которого он всегда считал врагом. Тем больше он ненавидел его, что враг был родным.

А Оджиза уходила.

Он видел, как Сурханбай догнал ее, как они заспорили, как пошли дальше вместе, но больше он не мог смотреть на это, повернулся и зашагал в лагерь. Первое, что бросилось ему в глаза в вагончике, был дутар. Дутар она забыла. И тут он заплакал, от тоски, от страшного чув-

ства одиночества. Опять он был не нужен никому, как горелая лепешка. Он плакал, потому что любил Оджизу, которую у него отнял дед, как отнял отца. Оджиза будет здесь... Она будет с ним, как солнце, всегда, но от этой мысли Хиелу не становилось легче. Солнце весь день с тобой, а не достать... Только жжет...

Под этим солнцем уходили все дальше от лагеря Оджиза и Сурханбай.

— Я не могу так быстро идти, доченька, — задыхался старик. — Вернись!

— Не просите, — сказала она. — Я пойду с вами.

— А потом ты вернешься?

— Нет.

— Любимые друг без друга как птица без крыльев.

— Я буду жить с вами.

— Я пойду к твоему отцу и посватаю тебя за Хиела. Тогда я буду знать, что вернулся хотя бы для одного доброго дела.

Сурханбай видел, как слезы побежали из ее слепых глаз и оставили мокрые полоски на пыльной коже... Тут не скроешь слез.

Сняв обувь, они пошли босиком по колючему песку, все-таки ветер обдувал ноги, и так идти было легче. Если бы им сейчас ишачка, хоть одного на двоих! Когда-то ишак был единственным рабочим скотом бухарцев, но сейчас он не только вышел из моды, а даже, как слышал старик в Бахмале, зачислен в дармоеды. Сурханбай время от времени осматривался, надеясь увидеть в просторах пустыни какого-нибудь брошенного ишака. Но они были еще далеко от селений.

Все машины шли навстречу им, в пустыню, в пустыню... Может быть, к ночи они вернутся за грузом и тогда их захватят?

Через несколько часов они вышли на большой бухарский тракт, и под усталые ноги лег мягкий асфальт.

3

Бардаш, возвращающийся домой, сразу узнал Оджизу в девушке, еле плетущейся по краю асфальта, а о старике подумал, что это Халим-ишан уводит свою дочь. Но то был не Халим-ишан. Да тот ездил на «москвиче»!

— Алишер! — Бардаш сделал знак пальцем.

И запыленный «козел» остановился перед путниками, обогнав их на несколько шагов.

Вечерело... Сразу стало слышно, как насвистывают невидимые птицы. Бардаш вглядывался в лицо старика, подошедшего к машине.

Он и представить себе не мог, какого неожиданного попутчика послала ему судьба. Ну и ну! Никогда не узнал бы, если бы старик сам не назвал себя и не протянул бумажку... Сурханбай! Когда-то дети Бахмала с любопытством и страхом смотрели на шелковые халаты этого человека, напрасно ожидая от него леденцового петушка на палочке. Сильно сморщили лицо бахмальского бая ветры чужбины...

Они ехали, а старик рассказывал, медленно, после каждой фразы подолгу передыхая.

— Лучше бы мне было не показываться ему, но я не удержался... Что же делать теперь, скажите, Бардаш-ака? Вы умный человек. Вы всегда были умным, я помню, — заискивал старик. — Дайте совет.

Бардаш понимал, что чувство неприязни к деду из души Хиела не вышибешь за одну минуту, тем более одним словом.

— Дело не в том, что вы сейчас пришли. А в том, что вы когда-то ушли... Вы в глазах Хиела предатель семьи и родины.

— Если бы это можно было поправить! — воскликнул старик.

— Потеряли внука, нашли внучку, — заметил Алишер.

Удивительные новости преподносила жизнь и, наверное, еще более удивительные берегла.

— Я за нее и волнуюсь, — вздохнул Сурханбай.

— Вы ведь хотели лечить глаза, Оджиза-хон? — наклонился Бардаш к девушке, сидевшей рядом с Алишером, и она кивнула. — Ну вот, это я возьму на себя... Отправим вас в Ташкент.

— Если бы я не знал, что нет аллаха, — воскликнул Сурханбай, — я сказал бы, что аллах послал вас, сынок, и все устроил аллах, чтобы помочь Оджизе!

— А вы твердо знаете, что аллаха нет?

— Я долго искал его повсюду... Даже в самой Мекке... Не нашел.

— Ну и расстроились?

— Я расстраиваюсь оттого, что здесь еще и сейчас есть люди, уповающие на бога... Человек должен ждать добра от людей и сам делать добро.

Что за чертовщина! Сурханбай ли это говорил? Да, живой Сурханбай.

— Вот мы и отправим Оджизу лечиться. А вы что намерены делать, Сурханбай Тангрибаевич?

— Даже тогда меня не называли по имени-отчеству! — удивился старик. — Я хотел бы принести какую-нибудь пользу своему кишлаку, сынок... Что-то сделать... Кетменем, лопатой, чем смогу... Буду просить зятя... Уж не знаю, какая работа найдется для меня... Комаров и тех вывели! И как только это удалось!

Бардаш засмеялся.

— Ну, это очень просто! Вы разве не знаете? Вокруг Бухары не осталось ни одного комара. А ведь зеравшанские болота были рассадником малярии, все комариное войско гнездилось в них. Как у всякого войска, у комаров есть разведка... А весь их язык состоит только из двух слов: «прилетайте» и «улетайте». Высылают вперед разведчиков, те находят лакомую пищу и дают сигнал... Да-а... Разгадали наши ученые комариные сигналы, установили на всех бухарских минаретах радиорепродукторы, и те запищали: «Улетайте, улетайте!» А в одном местечке среди пустыни другие репродукторы пищали: «Прилетайте, прилетайте!» Так собрали всех комаров, посыпали ядом и истребили до седьмого колена!

Даже Оджиза, сосредоточенно хмурая, рассмеялась.

— Вы тоже знаете язык насекомых? — спросила она.

— Еще бы! — сказал Алишер. — Он сегодня спал на траве, и ни один скорпион не укусил его.

— Моя мама сожгла скорпиона и дала мне съесть его золу, когда я был маленьким, — сказал Бардаш. — До сих пор от меня пахнет той золой, и скорпион меня не кусает, принимает за своего.

— А змеи?

— А змеи не кусаются по-дружески... Слишком долго мне приходилось спать среди них... Там, где много змей...

Бардаш замолчал. Может быть, ему вспомнились первые разведки, когда пустыня была пустыней, а не этим многолюдным краем... Может быть, он думал о Ягане, где она сейчас и что делает...

— Скажите, Сурханбай-ата, — спросил он старика, — вы слышали, есть ли на Огненном мазаре священное захоронение?

Сурханбай усмехнулся, пожевал губами.

— Если меня спросят, кто первым попадет в ад, то я отвечу — ишаны и муллы. Жаль, что даже для них нет ада! На Огненном мазаре, сынок, похоронены только кости баранов, из которых варили плов богомольцы...

Алишер остановился у вокзала, как просил старик.

— Расскажите людям о себе, — сказал Бардаш, прощаясь.

Сурханбай протянул ему обе ладони.

— Эти руки, сынок, ничего не боятся, они нажили много волдырей на работе. Они только боятся остаться без дела...

Он низко поклонился.

— Не пойду я арбузы возить, — сказал Алишер, отъехав от вокзала. — Разве там такого старика встретишь? Всемирный странник!

— А Хиел обидел его, — сказала Оджиза.

— Он обидел Хиела раньше... — задумчиво сказал Бардаш. — И непоправимо.

— Что же будет теперь?

— Вы откроете глаза, посмотрите на Хиела. И если он вам понравится, то сами решите...

Оджиза улыбнулась, а глаза ее смотрели вперед, не чувствуя ни пятен уличных фонарей, ни плывущего света встречных фар.

Утром по дороге в обком Бардаш обдумывал, с кем и как отправить Оджизу, а в обкоме ему сказали, что его вызывают в Ташкент в ЦК. Сарваров уехал в Навои на стройку химкомбината, и Бардаш так и не узнал, зачем вызывают. Но зато Оджизе, конечно, повезло... Над ее судьбой определенно витал аллах!

И она этого заслуживала.

Сколько раз Бардаш ни брался наводить порядок в доме, ему не удавалось сделать того, что сделала слепая девушка за два часа. Он мыл окна, но на них оставались мокрые пятна, обраставшие за день пылью. Он застилал кровать и взбивал подушки, но все равно откуда-то вылезали углы матраца, а подушки морщились, как будто им было неудобно лежать. Он и пол мыл довольно часто, но почему-то никогда в ответ крашеные доски не блестели так благодарно.

За два часа Оджиза и окна протерла, и постели застелила ровно, как по струнке, и только кончила полы мыть, как вернулся Бардаш.

— Мы летим в Ташкент.

— Когда?

— Сегодня.

Она тихонечко села на край стула. В ней боролись страх и надежда, которая неожиданно приблизилась, подошла вплотную.

Так она сидела и в самолете, тихая, затаившаяся. Может быть, оттого еще, что не понимала, где она и что вокруг происходит. Она слышала только шум винтов, только шум. Самолет летел пока еще невысоко над землей, были видны и деревья, пересекающие поля, и тени от них, и крыши домов, поросшие сухой травой. Уже осталось позади блюдце водохранилища, а бойкая бортпроводница все говорила:

— Справа высотомер, слева сигнальный аппарат. Когда красный свет потухнет, можно будет курить и ходить, когда зажжется — надо застегнуть привязные ремни перед посадкой. Мы пролетим над городом Навои и Самаркандом. Желающие могут получить свежие газеты и журналы...

«Да, кишлак Кермине уже умер, на его месте родился город Навои, и молодым старый Кермине даже не приснится», — думал Бардаш.

Оджиза смотрела на бортпроводницу так пристально, точно видела ее голубую пилотку и черные, как смородина, глаза.

— Вас что-то интересует, джан? У вас есть ко мне вопрос?

— Нет, апа, — прошептала Оджиза. — Вы все сами сказали...

— Если я вам понадоблюсь, кнопка слева...

— Мне хорошо, — сказала Оджиза.

Ей казалось, что она прозреет, как только ступит на ташкентскую землю. Тогда она снова увидит мир, в котором родилась, увидит и Хиела. И она улыбалась. Через круглое окно величиной с тюбетейку проникали лучи солнца и

касались лица Оджизы. Она не видела окна, но лучи щекотали ее, и она спросила Бардаша:

— Что там внизу, Бардаш-ака? Посмотрите в окно.

Бардаш прижался лбом к иллюминатору.

Солончаковая пустыня лежала под крыльями самолета, как сморщенная сыромятная кожа.

— Сейчас внизу газопровод, — сказал Бардаш. — Мы как раз летим над ним...

Глаза Оджизы по-прежнему смотрели вперед, они не повернулись к окну, но, может быть, мысли ее нашли среди строителей, там, далеко внизу, Хиела и остались с ним. Она вздохнула...

— А сейчас мы летим над Навои. Ох, как много тут минаретов!

— Минаретов? — удивилась Оджиза. — Зачем же в новом городе минареты? Их строили ханы.

Бардаш улыбнулся.

— Это особые минареты. На минаретах, которые строили толстобрюхие ханы, аисты вьют гнезда, а на эти аист даже не сядет. Если сядет, сразу превратится в шашлык. Это трубы заводов.

Лицо Оджизы сияло и смеялось от радости. Ведь она увидит и минареты, и трубы, и все, о чем рассказывал ей Бардаш. Эта радость ждала ее. Для чего же иначе они летели? Для чего ее, маленькую капельку, захватил, закружил и стремительно понес вперед бурный поток жизни?

С этим выражением счастья на лице она заснула, а Бардаш думал: с малых лет ее приучали пять раз в день молиться, читать стихи из Корана перед сном, произносить имя аллаха, перед тем как подняться с постели и перед каждой работой. С малых лет она готовилась подчиниться воле отца в выборе спутника жизни. Всей жизни! Религия называет мусульманскую женщину пленницей четырех стен, прислугой родителей, рабыней мужа. Даже думать о воле и любви — грех.

И вот она летела в самолете навстречу иной доле.

Врут, что впитанное с молоком матери вылетает только вместе с душой. Конечно, иной пережиток держится в человеке крепче камня, крепче целой горы. Капли могут пробить камень. Ручьи прорывают себе дороги в неприступных горах. Какой же натиск нужен на предрассудки? Натиск слов? Нет, не слова переродили Оджизу и придали ей решимость. Человека надо лечить счастьем.

Так думал он, глядя на девушку и на жизнь внизу, где скоро, отрезав уголки полей, приподнимая над собой дороги, переползая через овраги и реки по висячим мостам, протянется нить газопровода. Весь в садах, проплыл Самарканд. Оджиза спала, и Бардаш стерег ее сон. После Самарканда скоро показались жесткие складки гор. Вон и ворота Тамерлана, преграждавшие когда-то завоевателям путь к городу. Теперь немало придется тут повозиться Ване Анисимову, и Сереже Курашевичу, и Хиелу... Нелегкий кусочек.

В складках гор пряталась зелень. Она осталась, как след воды, пробежавшей весною.

Вот уже промелькнул и Джизак. Поля и деревья окружали необжитый холм. Джизак — спаленное место, а тут все зеленеет. Народ привел в Голодную степь воду, она дала жизнь. Может быть, пора переменить и название места? Нет, не стоит... Название хранит историю долгой борьбы...

Голодная степь плыла все шире от горизонта до горизонта. Хлопок здесь уже рос, а деревья еще не успели вырасти. Есть вода — вырастут и деревья. Землю надо лечить водой...

Стюардесса сказала, отвечая на чей-то вопрос:

— Скорость самолета — пятьсот километров в час.

— Ползет, как черепаха, — недовольно проворчал кто-то за спиной Бардаша.

Конечно, для некоторых это была уже не скорость. За три с половиной часа на реактивных самолетах попадали в Москву. Что ни говори, люди избаловались...

Бардаш усмехнулся и пристегнул ремень Оджизы, которая впервые поднялась в небо, доверившись крыльям самолета. А если бы не эти крылья, она пошла бы пешком... Потому что у нее были такие крылья, о каких мечтать и мечтать ворчунам.

Они шли вдоль бесконечной стеклянной стены нового аэропорта, и радиоголоса все время гремели над ними:

— ТУ-104 отправляется по маршруту Ташкент — Москва...

— Из Дели прибыла «Принцесса Кашмира»...

— Рейс Ташкент — Кабул...

Столица жила своей жизнью.

Пересекая одетую в асфальт площадь, чтобы выйти к остановке автобуса, Бардаш взял Оджизу за руку, и вдруг она остановилась.

— Что это?

Она показала носочком тапочки... Сквозь асфальт пучком прорвалась трава, и Оджиза нашла и почувствовала ее подошвой.

— Это трава, — сказал Бардаш. — Она пробила каменный покров... Хочет жить...

Оджиза кивнула, а он подумал, что и она, как эта трава, рвалась к жизни

4

Дежурный в гостинице сказал:

— С номерами трудно. А для вас найдем. Бухарские огнеробы! Пожалуйста. Когда дадите нам газ?

— Из айвы варенье будете варить уже на газе, — улыбнулся Бардаш.

Оджиза сразу подбежала к подоконнику раскрытого окна на пятом этаже гостиничного номера. Она слышала и высоту, словно в самолете. Внизу, визжа, тормозили автомашины. И, как поезда, грохотали трамваи.

— Здесь вы подождете меня, — сказал ей Бардаш.

С самого момента вызова он волновался: зачем? И о чем бы он ни говорил в дороге, чем бы ни отвлекался, этот вопрос не отступал. Может быть, недовольны результатами бюро? Но тогда почему вызывали его, а не Сарварова? Может быть, хотят ругать разведку и его подтянули, как тяжелую артиллерию, чтобы он открыл огонь от имени эксплуатационников?

Ну нет, этого от него не дождутся. Этого он не сможет сделать. Он был согласен с Надировым, что давно пора свести в одни руки и разведку, и освоение промысла, и добычу газа, потому что иной раз труднее согласовать точки зрения на проблему, чем решить ее, а еще труднее мобилизовать силы и средства. Пески канцелярщины вдруг становились непроходимее песков пустыни. Но отыгрываться на разведке!..

Он шел и готовил целую речь в защиту разведчиков, с которыми сам начинал свою рабочую жизнь. Путь их был неторным и уже хотя бы поэтому нелегким. От Гиссарского хребта до Аральского моря проходили они, окруженные смерчами сухих бурь, догоняемые речами недоброжелателей. Они искали в раскаленных недрах пустынь, а иногда умирали на полпути... Он знал одного такого великого человека. Может быть, от него взяла начало легенда о том безымянном, найденном под карагачем с кусочком серы в руке? Но у этого было имя. Его многие знали... Чабаны угощали разведчиков солоноватым чаем и расспрашивали о том геологе, с которым встречались год и два года назад. Но вместо него пришел другой, его ученик, прозванный Черным — так его обожгли и опалили ветры Кызылкумов. Он разговаривал с караван-баши о святых огнях в пустыне и отправлял со своего пути коричнево-зеленоватые минералы, пахнущие нефтью. Иногда земля, поднятая из глубин, была кофейного цвета, а то и совсем темной, почти такой же, как лицо геолога. Тогда еще не думали о газе, но уже знали, что пустыня таит в себе клады. Многие торопили, требовали, как Надиров, глубокого бурения. Разведчики не хотели рисковать, но чтобы найти многие миллиарды завтра, им требовались миллионы сегодня, а миллионов не было, страна залечивала раны войны, и люди отдавали делу энтузиазм, помноженный на любовь, свои жизни, бессонницу, мечты...

Зимой пробивались в глубь песков санные караваны на тракторных сцепах, не зная, вернутся ли они назад. Люди не спрашивали себя об этом. Пришла пора не ругать их, а воздать им должное. Пришла пора посмертных признаний и наград. В пустыне они пробурили сотни километров скважин, не меньше, чем прошли по пескам ногами. Их информацией сегодня живет научная мысль, обгоняющая время, наносящая на белые планы пустыни линии будущих дорог и квадраты поселков, но высшая слава должна достаться тем, кто сделал первые шаги в потемках...

Так думал Бардаш, шагая солнечными улицами Ташкента, на которых второй раз за лето цвели розы. И юноши застенчиво несли букетики роз своим любимым, а один обвил розами весь велосипедный руль, и второй обвил, и третий... Вероятно, теперь такая мода была у велосипедистов.

Сколько лет он не был тут?

А город не ждал, город менялся... Асфальтировались улицы, на углах сверкали стеклом новые кафе, а по крышам их, как цветы, распускались забавные названия. Бардаш читал и улыбался. Вырастали деревья... Вот здесь на студенческом воскреснике они сажали акации. Тогда же поставили и эти уличные фонари с белыми шарами. Они стоят и стоят, а деревья растут и растут и уже переросли фонари и окружили их ветвями и листьями. Вон там и там пришлось выстригать место для белых шаров, но новые веточки закрывают их гущей мелкой листвы.

Да, не узнаешь города с первого взгляда.

И только мальчишки в мокрых трусиках все так же прыгают с железных перил моста в мутный Салар. Но это уже другие мальчишки.

Далеко же он ушел, однако! Очень уж захотелось пройтись по городу ранним утром... А теперь настал рабочий час, наполнились автобусы до отказа. Толпы на остановках рассосались...

Бардаш вдруг спохватился и переставил часы. Ведь в Ташкенте начинали жизнь на час раньше! Он заторопился, но мысли о прошлом еще не оставляли его.

Вспомнилось, что на его веку ташкентцы проверяли часы по выстрелу крепостной пушки. Каждый полдень она грохотала со стены. Когда-то, при царе Горохе, это делалось для устрашения населения, но население привыкло к ней и говорило: «Ага! Пушка! Пора идти молиться. Уже двенадцать». Никто не пугался, человек все приспосабливает к своим нуждам. В силу привычки пушка, пока была жива, стреляла в полдень, чтобы все знали, что он настал. По ней строилась гарнизонная жизнь, и город приноравливался к этому сигналу. А теперь на каждом углу, в каждом сквере висели электрические часы, и пушка давно умолкла, возможно, стала музейной реликвией...

Бардаш помнил еще и Пьяный базар на площади, где сейчас стоял театр имени Навои, цвели розы и струи фонтана падали дождями в бассейн, окутанный прохладой. Раньше тут теснились лавки и чайханы, где можно было выпить и закусить, воздух тут был пьяным, хотя сытно пах и закуской, и бараньим салом, и луком. На его глазах ломали все эти лавочки. Рухлядь рассыпалась, и пыль летела над городом...

Обгоняя Бардаша, быстрым шагом, почти вприпрыжку, через площадь бежали девушки на гвоздиках, с европейскими прическами и золотыми часиками на руках... Ах, девушки! Косы очень вам пошли бы! Косы — это красиво, дорогие студентки! Коса — узбекская прическа, такая же, как русская. Посмотри, Бабетта, вон идет девушка с косой толстой, как ствол хмеля, как канат, которым скрутишь руки любому молодцу, и длинной-длинной, чуть ли не до пят. Вот это коса! Бабетта не слышит и не завидует... Идет, цветя и лучась.

Платья! Хорошо, что платья ярких национальных расцветок сохранились даже на Бабеттах. Красные, желтые, фиолетовые, зеленые, золотистые пятна, от которых кружилась голова... Каждая земля одевалась по-своему и людям подсказывала, как одеваться. Бардаш смотрел на девушек и парней, а думал о Ягане и о своей молодости. Он им не завидовал, но, кажется, им проще живется и легче любится.

Впрочем, так всегда кажется со стороны. Что же сказать о тебе, брат Бардаш? Уже не скажешь, что ты возмужал. Или повзрослел. Это значит, что ты стареешь. Да, брат, стареешь. Есть такое слово, хоть ты и стоишь на пороге отцовства.

А может быть, Хазратов написал жалобу в ЦК? Вдруг наперерез лирическому потоку, как черная кошка через дорогу, пробежала новая мысль. Но отрывали бы его из-за такой жалобы от дела? Черт возьми!

Да, черт возьми, хотя и записал себя в старики, считая, что незаметно где-то перешел роковую черту, он еще не стал им, потому что, скажу вам по секрету, ни один уважающий себя старик не станет заранее разгадывать то, что ему пока неизвестно. Ибо даже кишлачный мудрец знает, что обдумаешь и пятое и десятое, а жизнь обязательно преподнесет одиннадцатое. Пора бы это знать и городскому!

Улица, где находилось здание ЦК, стала совсем тенистой, акации на ней срослись кронами. В тени под акациями прятались машины.

Вот и стрельчатые окна и стрельчатый свод над входной дверью. Дубовые белые двери, наполовину стеклянные, выскобленные до блеска, всегда свежи. Бардаш открыл их с чувством волнения, даже легкого трепета, которого никогда не мог подавить в себе, сколько бы раз ни приходил сюда. Здесь скрещивались нити жизни, здесь билось ее сердце, и прикосновение к этому пульсу всегда наполняло его чувством ответственности за жизнь.

В приемной его не заставили ждать.

— Здравствуйте. — Высокий, моложавый и легкий в движениях человек с сильно припорошенной серебром головой вышел из-за стола навстречу. — Как самочувствие?

— Отлично, спасибо.

— Очень рад. Такое самочувствие от вас и требуется, потому что предстоят большие дела.

Бардаш хотел сказать, что и сейчас они, бухарские газовики, делают дела не маленькие, но промолчал. Об их делах секретарь ЦК знал хорошо. Значит, предстояло что-то большее по сравнению с Бухарой, с Газабадом, рождающимся в пустыне...

Он сел в кресло, куда собеседник пригласил его коротким жестом, и приготовился слушать, но уже через две минуты они оба стояли у карты, занимавшей стену кабинета против окон, искали и быстро находили на ней далекие, но знакомые по названиям места... Оренбург, Свердловск, Челябинск...

— Вы представляете себе газопровод длиной в две тысячи сто километров, в две нитки, из сердца пустыни в топки Урала, на заводы Свердловска и Челябинска? Сегодня Челябинск самый закопченный город в нашей стране, а ведь это он дает всем, в том числе и нам, и тракторы, и нужнейшие станки... Ему есть от чего закоптиться. Когда же придет газ и челябинцы увидят над собой голубое ясное небо, они скажут: «Спасибо Бухаре!»

— Да, это замечательно, — подтвердил Бардаш.

— Вопрос о строительстве газопровода Бухара — Урал рассмотрен и практически решен. В этом семилетии газопровод должен стать реальностью. — Секретарь ЦК по-товарищески положил руку на плечо Бардаша. — Большая работа. Ну как, вынесут наши плечи?

Бардаш смотрел ему в лицо, в заразительно сверкавшие глаза, испытующе проверявшие его, и ждал.

— Вам предлагается стать парторгом ЦК на стройке газопровода.

У Бардаша сдавило дыхание, словно накатила такая большая волна, что ее требовалось перестоять молча. Не каждому выпадало счастье пройти по следам разведчиков до Аральского моря и дальше, дать дорогу открытым ими богатствам. Для людей.

— Ну как? — переспросил секретарь ЦК.

И, сам не зная почему, то ли оробев перед грандиозностью замысла, то ли от смущения, от неожиданности, Бардаш сказал:

— Не знаю... Еще много незаконченных дел... И нет большого опыта партработы...

— Свои дела вы закончите... Пока ученые

разрабатывают проект, мы должны знать, кто будет его осуществлять. Есть охота?

Тогда Бардаш сказал просто и честно:

— Есть. Большая.

— А теперь рассказывайте о делах незаконченных...

Они накурили, как обычно, горку сигаретных хвостиков в черной пепельнице. Бардаш вспомнил и о плачущем битуме, и о недостатке труб. Трубы Анисимов брал прямо с платформы, не успевали подгонять поезда... Как же будет, когда пойдут на Урал?

Секретарь ЦК засмеялся, сказал, что о трубах для себя Урал подумает, а насчет битума тут же позвонил в институт, заметив, что такая жалоба уже была и он разговаривал с учеными.

— Вот видите. — Он положил трубку. — Они предлагают сразу после очистки хлорвиниловую обмотку. Никакого битума и никакой бумаги. Зайдите к ним, захватите с собой группу испытателей на трассу...

— А это любопытно! — хлопнул кулаком по ладони Бардаш. — Любопытно! Химия!

Пора было прощаться.

— Разрешите мне на день задержаться в Ташкенте, — попросил Бардаш.

— Семейные закупки? — улыбнувшись, спросил секретарь ЦК. — Чего в Бухаре не хватает?

— Нет, — сказал Бардаш. — Со мной слепая девушка. Хочу показать врачам...

— Родственница?

— Нет. Это в двух словах не расскажешь...

— Давайте в четырех, — сказал секретарь ЦК, осторожно глянув на ручные часы.

Может быть, его интересовала человеческая история. Может быть, он пользовался случаем изучить будущего парторга ЦК на уральской трассе еще с одной стороны.

И Бардаш рассказал об Оджизе, и Хиеле, и Сурханбае, и Халиме-ишане... А секретарь сказал ему:

— Вы же прирожденный партийный работник! Это просто здорово, — он так и вскрикнул по-молодому: «здорово», — что заботу о технике вы связываете с заботой о людях! А то, бывает, построят кинотеатр, а люди до кино и после кино молятся дома... Нет, хорошо... Не надо ли помощи? Я попрошу позвонить в больницу.

— Спасибо, у меня там друзья со студенческих лет. Надеюсь их найти...

— Ну смотрите. Я помогу.

В приемной ожидало много людей. Их скопилось больше, чем хотелось секретарше, и она проводила Бардаша неприветливым взглядом. Но все равно никто из них и никто вообще сегодня не мог быть счастливее его. Перед ним открывались такие просторы, что первоначальная точка, Газабад, действительно становилась лишь маленькой точкой на карте.

И никому не будет так трудно, как ему.

А Ягана? До чего ему сейчас не хватало ее! Может быть, без него родится ребенок. Без него начнет ходить... Он будет попадать домой наездами, налетами, встречаться, отмечать на дверном косяке, как вырос сын, и считать новые морщинки у ее глаз. Ведь эта работа на два с лишним года... Он остановился на лестнице... Ягана будет бурить скважины, чтобы новый газ питал новые очаги здесь и на Урале, а он укладывать в землю бесконечную нить труб под пески, под солончаки, под волны Аральского моря, под луга, под болота, под леса, под горы...

«Это очень хорошо, милый», — услышал он голос Яганы и даже оглянулся.

Никого не было рядом, но он слышал ее голос, так бывало не раз, что уж тут поделаешь!

5

— Зинаида Ильинична!

— Да зовите меня просто Зиной! Что это такое? И по телефону Зинаида Ильинична и сейчас... Заладили! Проходите, проходите, Оджиза, я уже знаю, как вас зовут, Бардаш Дадашевич мне все рассказал. Вот буду назло называть вас Бардаш Дадашевич. Как там Ягана? Сто лет ее не видела! Вечность! Сто лет — ведь это вечность, да?

— Мы не виделись лет пятнадцать.

Зина и тогда была пухленькая, а теперь посолиднела, потяжелела, покрупнела. Знаменитый врач, положение обязывает.

— Вот вам, Зиночка, наша бухарская красавица.

— Ну вот, наконец заговорил как друг и мужчина!

Друг и мужчина хотел что-то ответить, но Зинаида Ильинична остановила его рукой, попросила помолчать, а Оджизу посадила к свету и начала осматривать. Она открывала ей веки и нацеливала в глаз лучик света, разглядывая что-то сквозь лупу.

— Есть надежда? — спросил Бардаш.

— Очень большая.

Они говорили по-русски, но голоса звучали так, что Оджиза догадалась.

— Я буду снова видеть, доктор-апа?

— Конечно. Организм молодой, крепкий. Стыдно смолоду не добиться того, чего хочешь, — ответила ей Зинаида Ильинична по-узбекски.

— И деревья и птиц?

— Конечно.

— И облака? И звезды? — спрашивала она, как маленькая.

— Все.

— И себя я увижу в зеркало?

— Это тебе принесет только радость. Не бойся. А сейчас давайте чай пить. Помните,

Бардаш, мое клубничное варенье? Вы съедали банку, когда я приносила в общежитие.

Они еще о чем-то говорили, что-то вспоминали свое, шутили, смеялись, а на лице Оджизы не мерк отсвет счастливого ожидания. Завтра! Завтра! Пройдет ночь, и она переступит порог дома, куда людей вводят за руку и откуда они выходят без посторонней помощи. Маленькой мать рассказывала ей разные сказки — страшные и чудесные. Все они таились в ее груди, и когда безнадежная тоска охватывала ее в минуты одиночества, она мысленным взором отыскивала доброго волшебника, и он открывал ей глаза. Она играла в зрячую. Как зрячая, ходила по саду, наклонялась к цветам, разговаривала с веточками черешни и с ягодами, которые нарочно оставляла в укромных местах. Но однажды она долго шепталась с двумя ягодками, сережкой висевшими на тонком прутике у забора, а потом протянула руку, чтобы попрощаться с ними, и рука ее ничего не нашла. Кто-то, может быть даже мать, сорвал ягоды, не зная, какой удар наносит Оджизе. Она опять почувствовала себя слепой и еле дошла до дома... Чуда не было. Больше она не обращалась к волшебнику. Никогда...

Утром через весь Ташкент они поехали в городскую больницу, где заведовала глазным отделением Зинаида Ильинична. Их везло какое-то большое сооружение, больше самолета, в нем было много шумного меняющегося народа, а над крышей его изредка что-то потрескивало, и называлось это непонятное, едущее, потрескивающее, говорливое нечто троллейбус. Так сказал, наклонившись к самому уху Оджизы, Бардаш-ака.

Было еще рано, и в одном месте навстречу попалась поливальная машина. Ее усы, задевая траву и стволы деревьев, шумели, как ниспадающие струи фонтанов на площади Навои. Скоро она увидит и эти фонтаны, и эту машину, и этот троллейбус. Над ее головой люди говорили о строгом профессоре, о футбольном матче, о ленивом мальчике, который не хотел даже подмести двор, убегал на реку или на Комсомольский пруд купаться, о новом кинофильме про веселых девчат. Скоро она увидит и Комсомольский пруд, и веселых девчат в кино, ведь она не была там ни разу.

— Вставайте, Оджизахон, мы приехали.

Бардаш-ака взял ее за локоть, и они пошли. Люди, кажется, уступали им дорогу, затихая... И в этой тишине им, наверно, было слышно, как колотится сердце Оджизы.

Они прошли по асфальту, потом по деревянному мостику через какую-то канаву и оказались в тени больших тополей. Здесь пахло тополями... «Я буду вашей тенью, моя Оджиза», — сказал Хиел. Она увидит тень...

Голова Оджизы кружилась.

— Не бойтесь, — сказал Бардаш.

Они подошли к воротам больницы, когда от белого ее забора отделилась грузная, закутанная в платок неприветливая женская фигура и загородила им дорогу. И прежде чем Бардаш успел о чем-то спросить незнакомку, Оджиза вскрикнула:

— Мама!

Мать она узнала по шагам.

Та протянула руку.

— Идем со мной, доченька.

Оджиза стояла на месте.

— Вы жена Халима-ишана? — спросил Бардаш.

— Кто это с тобой? — спросила та у дочери, беря ее за руку.

— Это самый добрый человек, — ответила Оджиза, а губы ее дрожали от неожиданности и, кажется, страха. — Бардаш-ака.

— Скажите, апа, — начал без объяснений Бардаш, стараясь поддержать Оджизу, чтобы непредвиденное препятствие не сломило ее, — если Халим-ишан так хорошо знал об этой больнице, что прислал вас сюда стеречь дочь, почему он сам не привез ее для лечения? Разве вы не хотите вернуть ей...

— Идем! — властно перебила его мать Оджизы, рванув дочь за руку.

Оджиза отошла к забору, она искала опору рукой, наткнулась на решетку и села возле нее на каменную полоску фундамента.

— Дайте мне поговорить с дочерью, — потребовала женщина.

— Помните, Оджиза, нас ждут в больнице, — сказал Бардаш.

«Я дам тебе поговорить с нею, но ты не уведешь ее», — подумал он, отходя и останавливаясь за газетной витриной. От волнения он никак не мог прочесть даже заголовков, рука не сразу нашла сигарету...

А мать, присев рядышком с Оджизой, говорила:

— Да, доченька, я давно жду тебя здесь. Я просидела здесь много дней и ночей, но, слава аллаху, наконец-то дождалась. И счастлива, что вижу тебя живую. — Она гладила ее руку, прижимала к своей щеке, и Оджиза узнавала все ее морщинки и родинку с волоском на подбородке. — А где же этот... где этот мерзавец Хиел?

— Мы поссорились, — прошептала Оджиза.

— Аллах так захотел. Аллах услышал молитвы отца и сделал так, чтобы я увидела тебя и вырвала из рук бесчестных людей...

— Мама!

— Подумай, твой отец не снесет такого позора, как бегство дочери. Самый достойный человек в Бухаре, а ты подвергла его неслыханному осмеянию... Поедем домой. Я куплю тебе красивые серьги, туфли, в каких ходят ташкентские модницы, все, что хочешь... Отец простит тебя. Утешь его. Идем!

— Зачем мне туфли и серьги, если я их не увижу?

— Разве тебе плохо жить с нами? — заплакала мать. — Уж мы так стараемся. Разве отец не возил тебя к лучшим табибам, которые готовы целовать полу его халата? Аллах лишил тебя радости видеть, надо смириться. Кто же сильнее аллаха? Вставай. Слышишь?

Но Оджиза, кажется, не слышала.

— Слышишь, идем!

— Нет, — сказала Оджиза.

Убежать из дому ей было легче, чем сказать это. Тогда рядом был Хиел. И не было матери. А сейчас мать сидела у ее плеча. Сейчас ей было труднее всего на свете сказать «нет», потому что она говорила это всей прежней жизни и вдруг поняла, как была несправедлива к Хиелу. Она не должна была поворачиваться и уходить. Она могла пожалеть раскаявшегося старика, но надо было пожалеть и Хиела, понять его тогда так, как понимала сейчас. Если бы он был рядом!

— Нет! — повторила она тверже. — Бардаш-ака сильнее аллаха! Он добывает бухарский газ, несмотря на то что отец проклял всех газовиков. Он поведет газ на Урал. И он привез меня к врачу. Он сильнее аллаха и добрей вас!

И в тот же миг звонкая пощечина обожгла ее.

— Тварь! — кричала мать. — Ты уже не слушаешься родителей? Тебе стыдно идти домой. Наверно, валялась с этой дрянью на одной подушке, а теперь он тебя бросил.

— Мамочка! — Оджиза хватала ее руку и целовала. — Что вы говорите? Опомнитесь... Я хочу видеть! Я хочу видеть! — повторяла она.

Старая женщина тяжело повернула голову, чтобы посмотреть на ноги Бардаша под витриной. Они стояли на месте. Но сквозь туман слез она разобрала, что это были другие ноги — в желтых ботинках и серых брюках, а те... Она повернула голову... Укоряющие глаза Бардаша вглядывались в нее из-под густых бровей. Он стоял рядом. Она поникла, притихла. И только пробормотала:

— Пожалей отца... И меня... Отец убьет твою мать.

— Я хочу увидеть его, — сказала Оджиза.

— Кого?

— Хиела.

И мать поняла, что Оджиза была уже далеко от прежней жизни, далеко, как никогда. Она поняла то, что может понять только женское сердце, даже если это сердце старой женщины. Ее Оджиза любила... И хотела видеть его.

Мать стала гладить ее волосы, повторяя:

— Бедная моя... Бедная... Доченька моя!

И еж лелеет своего ребенка, называя его «мякенький», и медведица ласкает малыша, называя его «беленький»...

— Врач сказал, что я буду видеть.

— Разве ты уже была у врача?

— Да. Вчера. Мы были у нее дома с Бардашем-ака. И она сказала...

Оджиза прижалась к груди матери, пахнущей ташкентской пылью и домом, может быть, домашней лепешкой с тмином, спрятанной за пазухой, а может быть, так пахли ее руки, не терявшие этого запаха с самых молодых лет...

— Скажи этому Бардашу-ака, что отец ездит по всем кишлакам... Он собирает народ... Народ не хочет, чтобы газовики разрушили Огненный мазар... Это святое место... Если его разрушат, мы останемся без куска хлеба... Отец бережет святыню... Скажи ему, что он ездит по кишлакам и поднимает верующих... Они придут защищать мазар все, сколько их есть... Их будет много... Скажи!

Оджиза молчала, прижавшись к ней.

— А теперь иди... Иди с ним.

Она сама еще не понимала, что делала, но не могла поступить иначе. Руки ее подталкивали дочь к чужому человеку...

— Может быть, аллах простит меня.

Не волнуйся, старая. Обязательно простит. Аллах прощал и не такое. А ведь это доброе дело. Удивится, но простит.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

1

Этот дом и не ждал, что в него вернутся хозяева. Он забыл, как звучат людские голоса, как смеются гости... Он забыл, как дымит очаг, рассыпая угольки возле топки...

Пришлось вспоминать. Хозяева вернулись.

Правда, не очень-то они щадили терпеливые старые стены, а дети, те и вовсе не берегли ни дверей, ни окон, толкали их изо всех сил и били кулаками. Оказалось, что двери чересчур сильно скрипели, а оконные рамы ссохлись, обшелушились...

Хазратов доверил ремонт дома жене, а сам без проволочек погрузился в дела колхоза. Ему не хотелось терять ни дня. В Бахмале обрадовались земляку, но слухи вместе с ним пришли разные. Кто говорил: спасибо, прислали толкового человека на работу, кто говорил: перевели, а кто поправлял без лишних фраз: турнули. Хазратов сразу заметил это — люди не очень-то выбирали выражения, не церемонились. Ну что ж... Тем крепче он закусил удила и потянул вперед, мысленно уже видя тот день... тот день, который только и служил ему утешением.

Будет еще такое, что и Сарваров пожмет ему руку. И Бардаш подойдет поздравить. И все, кто хмурился вокруг него на бюро обкома, заулыбаются, будто сроду не умели хму-

риться. Этот день обязательно придет, иначе не стоит не только жить, но и думать о жизни. А за этим днем придет возвращение... Чего? Потерянного... Славы, почета, доброго имени?.. Да, да, доброе имя вернется на крыльях славы. Разве вы не знаете, как они высоко поднимают? Мелких пятнышек прошлого на них не видать...

Он знал, какой он сделает колхоз в Бахмале. Сюда будут приезжать за опытом со всей республики, а не со всей округи. Будут приезжать ученые. И руководители. В гости, как домой. И в один прекрасный момент они увидят, что Бахмал слишком маленькое дело, ну, просто пустячное хозяйство для хазратовских рук...

Землякам понравилось, что председатель не бегал вокруг собственного дома. Там хлопотала Джаннатхон, и каждый, кто мог, был рад помочь ей, и вот уже и окна заиграли свежей краской, и новые двери в пятнах шпаклевки повисли на петлях, а потом и они маслено засияли, как в больнице, белым светом, и над высокой трубой нового очага во дворе взвился первый дымок, а под свежим навесом плотно улеглись распиленные коряги саксаула.

Хазратов вроде бы и внимания не обращал. Только про саксаул сказал жене:

— Зачем столько? До зимы у нас газ будет.

Он решил, что Бахмал будет первым газифицированным кишлаком — в Фергану за плитами уже поехали откомандированные доставалы на двух грузовиках, а бухгалтер, покряхтев, снабдил их наличными, вырученными от продажи меда.

Бахмал издавна славился пасекой. И бахмальский мед на бухарских базарах знали. На мед всегда был спрос. Это ведь восточное лекарство. Другие пускают мед в производство — в пироги, в печенье, а бухарцы едят его так. Они хитрецы. «Мед и сам сладкий, — говорят они, — зачем его еще чем-то подслащивать? Только аромат перебивать...» Мед ели с горячей лепешкой. И румяная хлебная корочка держала прозрачный наплыв пахучей и липкой медовой массы, а та растекалась, торопя едока поскорее отправить лакомый кусочек в рот, и аромат хлеба и аромат меда уживались так дружно, что от их объятий чуточку кружилась голова.

Правда, на выручку от меда давно хотели расширить ясли, но и с газом отставать не стоило, и бахмальцы не сердились на председателя.

Им понравилось и то, что важный зять не прогнал от себя Сурханбая, история которого стала известна каждому встречному-поперечному. Не то чтобы в кишлаке забыли, кем он был и как он бежал с родной земли, а видели, что человек хватил горя и вернулся без камня за пазухой. Нужда учит... Видели в нем просто старика. У кишлачных жителей глаз прост, как у детей: здорового — в поле, больного — в постель, обманщика — под палку... А стариков не обходят вниманием, помня, что все будут стариками.

Сурханбай работал на пасеке, качал мед, а вечерами помогал прибираться в доме и во дворе. Хазратов словно и не замечал его. Ему, собственно говоря, было все равно. Но бахмальцы-то этого не знали...

Хазратов спешил: еще до уборки хлопка были созданы две строительные бригады из нанятых рабочих. Ремонтировали гараж, пристраивали к нему мастерские, навес для тракторов и сельскохозяйственных машин. Главный механизатор из недавнего посыльного на побегушках вдруг стал важной фигурой с ключами в руках от всей техники и горючего. В машинах чуял Хазратов силу и твердой рукой вводил в колхозной жизни промышленные порядки. На любой рейс — путевка, на каждую каплю бензина — наряд...

Как-то вечером к нему прибежал домой возбужденный колхозник, стал рассказывать, что получил телеграмму — сын возвращается из армии, зарезал барашка, зовет к себе председателя, будут соседи, а сейчас просит машину к поезду, встретить сына. Ему пришлось раза три повторить, пока Хазратов понял, в чем дело. Машины он не дал.

— Опоздаю, — сказал колхозник.

— Надо было раньше...

— Работал.

— Где?

— На автобазе.

Широколицый, в фуражке с глянцевым надломленным козырьком, он улыбался, объясняя все сначала в четвертый раз, ругая почту, радуясь приезду сына, который, конечно, будет работать механизатором, подсчитывал, сколько километров до вокзала и обратно, и не знал, куда кидаться — бегом на вокзал или готовить плов. К тому же мать собирается, она тоже на Доске почета... Хлопчатница...

Но Хазратов не привык менять решений. А закон для всех один: для личных нужд колхозный транспорт не давался. На плов он не пошел и уж не знает, как они там встретили демобилизованного. Да и самого солдата не видел; вместо того чтобы стать механизатором на уборке хлопка, солдат ринулся строить газопровод, деньга прельстила, конечно... Вот вам и родители на Доске почета! Он позвал партийного секретаря, чтобы обратить внимание на возмутительный факт, а тот, пощипывая усы, сказал:

— Обиделись они.

— На кого?

— На вас, Азиз Хазратович. Сына встретили на дороге, со станции шли пешком, плов соседи доваривали. Зря вы к ним не заглянули, хоть бы скрасили... Сказали словцо для сердца.

— Мое сердце на работе. И их должно быть там.

— Акбар Махмудов передовик... И жена тоже... Как назло! — улыбнулся секретарь, подхлестывая то ли невольно, то ли намеренно самолюбие Хазратова. — А сердце, оно не только на работе, оно и дома...

— Значит, мне ходить по улице и нюхать, из какой трубы идет запах плова? Не буду.

— Не войдешь в дом — не войдешь и в сердце, — только и заметил секретарь. — Плохо получилось.

— Плохо получилось, что их сын уехал из колхоза. Из-за обиды сразу бежать!..

— Он экскаваторщик.

— У нас для него дело есть.

— Говорит, не хочу я золотым карасям пруды рыть, когда в колхозе ни лишней копейки, ни лишнего грамма горючего...

Вон как уже заговорили! Золотым карасям!

Возле чайханы начали рыть большой, как Ляби-хауз, водоем. Не понимали, как его не хватало Бахмалу. Не понимали, что изменения должны быть на виду, иначе что же это за изменения?.. Конечно, хауз мог бы и потерпеть, но Хазратову не терпелось. И в том далеком дне он видел, как сидели гости на паласах возле пруда, нахваливали Хазратова и кормили рыб, а те угодливо виляли хвостами. Рыбы виделись золотые и красные... И эта фраза о золотых карасях особенно задела Хазратова.

— Без него построим, — оборвал он разговор.

Но к Акбару Махмудову решил присмотреться.

До сих пор, глядя в тот, одному ему ведомый день, он как-то не видел лиц. Автомобильного слесаря, бывшего арбакеша, он рассмотрел на Доске почета, и хорошо, что случай привел его сюда. Все, все нуждалось в обновлении! Если они передовики, то надо сверху золотом написать: «Слава передовикам!» И выглядеть они должны как передовые люди. Что это за обросший человек в клетчатой рубахе, без одного зуба? Бригадир-овощевод? Разве ему некогда побриться и не на что вставить зуб? Безобразие! Старуха с кипой хлопка у груди... Чего она его так обнимает? Никто не собирается отнимать. Косынка на самых глазах. Нет, нет!

Он велел пригласить хорошего фотографа и всех переснять в праздничных платьях и костюмах. Стариков и старух вообще поменьше... Щит для Доски сделали новый, красиво выкрасили, все чин чином. Только одного он не заметил, что так удивило Сурханбая... На прежних снимках были живые люди, уставшие и счастливые от работы, и Сурханбай жадно завидовал им и понимал, откуда у них берется счастье. А эти не знали, куда смотреть, куда деть руки, не занятые ничем, и выглядели парадно и жалко... Но, может быть, так и требовалось — ведь Хазратов был большим начальником, он лучше знал. Кишлачные остряки бросали на ходу:

— Нашу Доску теперь из Бухары видно.

Но это были еще не главные беды.

Сельхозбанк, который не жалел кредитов, видя, как разворачивается колхоз, вдруг прикрыл кассу. Строили молочную ферму с автопоилками, рыли пруд, строили новое здание правления, привезли и сложили под навесом две сотни газовых плит, и — на тебе, ни гвоздя, ни плотника!

Хазратов три часа тряс душу из бухгалтера.

— Они ставят палки в колеса! — кричал он. — На словах они за развитие села!

— Они хотят, чтобы мы развивались за свой счет.

— У нас хорошее хозяйство!

— В хорошем хозяйстве и козел должен давать молоко!

Бухгалтер подсчитывал убытки.

Он, этот тощий человек с гуляющим кадыком, тоже не хотел понимать, в чем дело. Необходимы расходы! Но ни дома, ни в банке крик не помог, и Хазратов сразу приостановил выдачу авансов колхозникам. На него насело до сих пор послушное правление. Каждую графу расходов он должен был защищать, как диплом. В полях и на фермах начались разговоры о том, что председатель думал о костюме, а не о желудке. Вспомнили о невыполненном обещании расширить ясли. Жаловались, что молодым женщинам приходится носить с собой люльки с детьми и вешать их на ветки тутовых деревьев возле хлопковых полей.

— Рожали бы меньше! — ворчал Хазратов.

Молодухи стали смеяться, что нарушили планы председателя.

Хазратов попросил секретаря пресечь позорящие его разговоры, а тот ответил, что лучше всего это сделать, поговорив с людьми. Назревало собрание, на котором, как слышал Сурханбай, будет разбираться конфликт между председателем и колхозниками. Он не очень понимал значение слова, но зато видел, что делается. Глаза у колхозников зорки, язык язвителен, руки крепки, трудно вести дела, не считаясь с людьми... А на чьей же стороне он, Сурханбай? «Как бы то ни было, он мне зять, муж моей дочери... А вдобавок, в этом богатстве и мой хлеб насущный...»

Жили они на разных половинах, но в этот вечер Сурханбай забрел в комнату зятя, постучав в дверь. Вопреки ожиданию Хазратов был весел. И Сурханбай сразу увидел отчего.

— Давай еще рюмку! — скомандовал Азиз жене.

Вся семья сидела за столом, перед главой желтела бутылка коньяка. Азиз налил себе, запах напитка ударил в нос, и старик невольно поморщился.

— Жена, — засмеялся Азиз, — наш отец — набожный ходжи. Воздержанный человек. Когда

он будет переступать порог в рай, у него понюхают рот...

— Оставьте его, не настаивайте, — попросила Джаннатхон.

— Выпьем за здоровье детей!

— Мне как раз не хотелось бы, чтобы дети смотрели в эти рюмки, — пробормотал Сурханбай.

— А ну, марш отсюда! — прикрикнул Азиз.

Дети, шумевшие вокруг стола, не поняли, за что их гонят, но подчинились жесту и словам отца. Словно он смахнул их рукой.

— Ну?

— За детей я рад выпить, — неожиданно сказал старик. — Пусть будут счастливы.

Он взял свою рюмку и перелил из нее коньяк в пиалу. Потом протянул руку за бутылкой и наполнил пиалу до краев. Азиз смотрел с восхищением. А старик, закрыв глаза, поднял пиалу обеими руками, пригубил и выпил все до дна, как кислое молоко.

— Видала, как пьют святые! — засмеялся Азиз.

— Если ты считаешь это геройством, зятек, то с сегодняшнего дня я буду выпивать за тебя всю твою водку и весь твой коньяк. Пускай в ад отправят меня, а не тебя.

— Не наливайте больше! — звенящим голосом сказала Джаннатхон.

Но Азиз уже наполнил пиалу и рюмку.

— Вы станете обыкновенным пьяницей! — закончила она и вышла, хлопнув дверью.

Сурханбай ухмыльнулся и сказал:

— Если урожая не будет, то и жена слушаться перестанет...

Слова его застряли в возбужденном и туманном мозгу Азиза.

— Еще и вы будете учить меня? Все умней председателя! Все до одного.

С непривычки у Сурханбая немного заплетался язык, но мысли были ясные, а в горьких глазах прыгала какая-то смешинка.

— Я не умней, — ответил он, простодушно покачав головой. — Я старше, очень длинную жизнь прожил, очень... Добрый ангел не знает того, что знает старый человек. Сказать — мое дело, прислушаться или нет — твое.

Азиз скрестил руки на груди, отставленными локтями уперся в край стола и, нагнув голову, изобразил терпение.

— Может быть, слова мои будут колки, — продолжал Сурханбай, — но ведь враг утешает, а друг говорит прямо... Ты прими мои горькие слова, как мед, зятек. Я вижу на пасеке, как трудятся пчелы. Собирая по капельке нектар, они накапливают богатство.

— А у вас все богатство на уме?

— Не мое, зятек, не мое. А ты знаешь, почему прежние люди, например мой отец, были богатыми?

— Еще бы не знать! Они драли с нас, бедных, шкуру!

— Это правильно. Богатых сделали богатыми бедняки. Но еще... еще они умели превращать копейку в рубль, а ты только тратишь... Они были жадными, скрягами, а ты очень уж разбрасываешь деньги. Лопатой! Сыплешь зерно, а яйцами не интересуешься.

— Что, что? — не понял Хазратов.

— Настоящий дехканин левой рукой дает курице зерно, а правой берет у нее яйцо. А ты...

— Хватит! — Азиз ударил кулаком по столу. — Мне не интересны ваши байские советы!

— Блеск наводишь, — договорил Сурханбай.

— Да, навожу! Где я, там все должно блестеть!

— Вот и получается: на брюхе — шелк, а в брюхе — щелк...

— Вы просто пьяный! — Азиз еще раз трахнул кулаком по столу, и в комнату тут же влетела Джаннатхон. Видно, она обеспокоенно подсматривала в замочную скважину. — Вы слышали, что болтает ваш отец?

— Нет, я мыла посуду и не слышала... А что?

— Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке, — сказал Сурханбай и замолчал.

Джаннатхон растерянно смотрела на них. Хазратов налил себе, быстро выпил рюмку, не закусывая, и, загремев стулом, встал и забегал по комнате. Джаннатхон знала такие минуты — он искал повод для бури. Гнев его требовал выхода, как подземный газ, от которого трескалась почва. Джаннатхон замерла, не зная, защищать ли отца или выдворить его, чтобы успокоить мужа. Но Азиз вдруг повернулся и сказал:

— Хорошо, все это и без вас легко понять, а что делать?

— Свинарник, — просто ответил Сурханбай.

— Что?

— Свинарник. Свиньи быстро растут и дают много мяса. Мясо нужно и строителям газопровода, и горожанам.

— А вы будете возиться со свиньями?

— Конечно, буду, — так же просто сказал Сурханбай. — Я ведь хочу помочь тебе.

— Ну и пойдите к свиньям! К свиньям!

— Спасибо, что доверяешь.

— Отец действительно думает о вас, а вы на него кричите! — вмешалась Джаннатхон.

— Неважно, доченька! — засмеялся Сурханбай. — Это вино кричит. Вино только в бутылке держит себя спокойно, а внутри человека оно бунтует.

И Азиз подивился и позавидовал тому, как старик умеет вести себя. Он пил до утра. Он думал. Может быть, свинарник и был выгодным делом, но ему требовался такой ход, чтобы одним ударом вывести колхоз из финансового прорыва и всем заткнуть глотку. Обещаниями не отде-

лаешься. Если бы что-то придумать, он мог бы оттянуть собрание... Ведь сейчас уборка... А там!

Думалось о том, как уберут хлопок... Как придут газопроводчики, а у них в домах уже газовые плиты... Как газетчики приедут в Бахмал... Газопроводчики могли бы сняться с Азизом, как со старым другом. Скоро они уже будут здесь.

И тут спасительная мысль пришла в голову Хазратова. Вот где можно выудить большую золотую рыбку! Он припомнил, о чем говорили газовики — им придется сломать в Бахмале несколько общественных построек и домов, стоящих на трассе газопровода. Трасса не умела петлять. За это они щедро платили. Шли по кишлакам с растопыренными карманами.

Утром он позвал к себе тощего бухгалтера. Тот гнулся, словно за эти месяцы еще больше постарел от неудач. Боязливо стоял и не смотрел в глаза. Азиз смолоду запомнил, что таких людей надо сламывать, не давая им опомниться.

— Дела у нас неважные, — начал он.

Бухгалтер кивнул.

— Значит, надо брать у того, кто богат.

Бухгалтер пожал плечами: он не знал, у кого брать.

— Газопроводчики, — сказал Хазратов. — Они сломают у нас кое-что... Так вот... Надо оценить это повыше, чтобы покрыть прорехи. Сломают, а деньги в колхоз, и следа не останется. Можем сделать?

Он говорил об этом, как о нужде насущной, как о единственном спасении.

— Можем, конечно, можем, — ответил бухгалтер, вздохнув, как на похоронах. — Одна только есть помеха.

— Большая, маленькая? Обойдем!

Бухгалтер стрельнул кадыком, сглотнув слюну, и прикрылся рукой: от председателя пахло капитально.

— Говори, какая помеха!

Тогда бухгалтер сунул руку под китель и вынул партбилет в синей обложке.

— Вот эта. — Он показал и стал поправлять загнувшиеся уголки обложки. — Простите, Азиз Хазратович. Я никому не скажу. Вы нетрезвый. Но я... не обходил этого и не обойду никогда. — Он спрятал партбилет. — Стар уже...

2

В благословенные времена не надо было затрачивать слишком много усилий, чтобы узнать будущее. Стоило только взять карандаш, клочок бумаги, написать на нем волнующий вопрос и засунуть записку в ветровое отверстие надгробия Исмаила Самани в парке культуры и отдыха нашей Бухары, полной самых неожиданных чудес. Через некоторое время с другой стороны в таком же отверстии появлялся ответ. Если он вам нравился, вы одаривали монетой одного из мальчишек, обтирающих спинами кирпичные стены мавзолея. Вы не скупились...

Обожженный кирпич мавзолея золотился... Разбегаясь, плоские плитки вычерчивали затейливый орнамент, нежный и неповторимый. В оные времена народные мастера не знали других украшений, кроме этой узорчатой кладки. Ночами под молодым месяцем бледный кирпич завораживающе голубел. Красив и загадочен мавзолей Самани, и недаром его ветровые отдушины назвали воротами судьбы.

В самом деле недаром, если вспомнить, что за каждый ответ в руки мальчишек ложилась мзда, а из их рук, как и полагается, она попадала к автору ответов.

Сколько-то лет назад археологи, изучающие гробницу, обнаружили подземный ход и солидное вместилище под узорчатой кладкой, где, кроме двух гробов, мог спокойно усесться в предначертанный аллахом вечерний час кто-то живой. Например, автор ответов. Но ведь его никто не видел...

И когда подземный ход был замурован, ответы стали приносить, как вестники судьбы, те же мальчишки. Наступление науки религия истолковывала, как преследование, и добивалась снисхождения. Ведь преследуемых жалеют. Она тоже ученая, эта религия...

В один далекий тоскливый вечер Джаннатхон прошла по тенистой аллее к стрельчатой арке мавзолея, полюбовалась им и сунула в руки мальчишки записку, адресованную прямо аллаху, не кому-нибудь. «О аллах! Будет ли у моей подруги Яганы ребенок?» Может быть, с тех пор все и не клеилось у нее в доме оттого, что аллах рассердился на нее? «У таких богомерзких людей не бывает детей», — ответил он. Но ведь Джаннатхон послала записку от доброго сердца. Ее никто не просил об этом. Просто Ягана сидела вечером в гостях и так завидовала, глядя на живот Джаннатхон, беременной последним сыном, что подруга не выдержала... И за плохой ответ она хорошо заплатила...

Было это давно, уж и сын пошел в школу, уж и о записке она забыла, но один человек не забыл о ней.

— Старуха! — кричал он сейчас. — Где ключ от моего сейфа?

В последние недели Халим-ишан стал рассеянным и сердитым. Жена принялась искать, но ключ оказался у него в поясном платке. А сейф был самый настоящий, небольшой, но крепкий, он стоял в нише за подушками. Раскидав подушки, ишан открыл дверцу железного шкафчика. Жена следила, обомлев и молясь аллаху. Она знала, что в этом шкафчике не хранятся добрые бумаги. Муж нашел, читал и перечитывал записку, и она не выдержала, спросила:

— Что это?

— Очень сильная записка. С этой запиской я весь их род смешаю с грязью. И верну Оджизу домой.

Больше он не сказал ни слова, и так было много сказано для женщины. А жена трепетала: она не призналась своему господину, что видела Оджизу, и опять стала молить бога, чтобы дочь скорее вернулась домой, но уже здоровой, и чтобы ишан этому не помешал. Трудно приходится аллаху, даже в одной семье просят его о разном!

Трудно приходится и Халиму-ишану.

До Огненного мазара он добрался на «москвиче», а там пересел на ишака. Зад его отвык от жесткого ишачьего хребта. Но туда, куда направлялись мысли Халима-ишана, «москвичу» не пробраться. А ишачок не увязнет в песках...

И вот топали шустрые ноги по зыбучим барханам, терлись о верблюжью колючку, разгоняя ежей, а ишан все думал и думал свою думу. Жизнь учит, что за пазухой надо держать камень, а в руке пряник. И раньше, чем вынуть камень, стоит поманить пряником. Халим-ишан рискнул разыскать Хиела и миром покончить дело. Пусть к нему придет Сурханбай. Пусть попросит о свадьбе. Пусть все будет, как угодно аллаху, он не станет противиться его воле и желанию молодых. А тогда уж он сумеет заставить новых родственников поработать на него...

Он может отдать дочь за газодобытчика. Он ведь не какой-нибудь современник Исмаила Самани, а ишан двадцатого века.

А в том, что Хиел вернулся к газодобытчикам, ишан не сомневался. Куда же ему было деваться? Люди, предавая новых друзей, ищут прибежища у старых, а в прибежище Хиел нуждался, потому что с ним была Оджиза.

Вышки буровиков тянулись к солнцу и бросали длинные тени под ноги ишачка. Вышки со всех сторон окружали Огненный мазар, еще недавно тонувший в пустых песках, и Халим-ишан скоро нашел бригаду Шахаба Мансурова. Подгоняя пятками своего ишачка, он подъехал к сходням, ведущим на буровую площадку, от которой вверх ввинчивалась лестница. Приставив ладонь ко лбу, ишан смотрел туда, то ли разыскивая Хиела, то ли удивляясь творениям рук человеческих. Аллах дал слишком много своим противникам. Разве не соблазнительно для молодого парня вот так болтаться посреди неба, раскачивая длинную плеть трубы, как камышинку?.. О, проклятье! Это же твои враги, аллах! Пошли на них кару!

Те, что работали на площадке, стояли спиной к старику, не видели его и не слышали его заклинаний. Он мог бы кричать — шум дизеля и грохот ротора заглушали все на свете.

Пошли на них кару!

Вдруг звуки изменились, они стали резче, перешли в свист и стихли. С перепугу ишан подстегнул ишачка и отъехал. Тишина насторожила всех. Из вагончика выбежал заспанный здоровяк в грязных штанах, бывших когда-то голубыми, и крикнул:

— В чем дело?

— Сломалась труба!

«О аллах, ты услышал меня!» — удивился ишан.

Было так тихо, что стали различаться шорохи песка. На площадке кого-то ругали. Ишан смотрел то туда, то на вагончик, надеясь, что сейчас увидит знакомое лицо.

— Ого! Кого я вижу! Салям!

За его спиной свешивался с лестницы парнишка с обожженными руками. Он спустился сверху словно бы только для того, чтобы поздороваться с ишаном.

— А ваш автомобиль сломался, муддарис? Кого вы ищете, пересев на ишака?

— Я ищу человека по имени Хиел Зейналов.

— Ого! Его давно у нас нет!

— А где он?

— Думаю, в Ташкенте.

— Откуда вы знаете, что в Ташкенте? — сразу ухватился за эти слова ишан.

— Мне кажется, он хотел там лечить глаза вашей дочери.

— Ах, шайтан! — вырвалось у старика.

Тут было все — и гнев на себя за опоздание, и злость на старуху за ее неповоротливость, между тем Куддус — а это был он — смотрел и улыбался.

— Разве можно, отец, ругать человека, который хочет, чтобы ваша дочь увидела мир? И вас в том числе?

— Можно ругать человека, который украл девушку из дома родителей!

— Без выкупа! — засмеялся Куддус. — Зрение — хороший выкуп. А вы устройте им свадьбу.

— У меня нет денег для такого непослушного жениха.

— А вы продайте автомобиль.

У Куддуса было время, пока выясняли причину остановки, он догадался, что ишан ищет беглецов, и отвадить старика считал даже не удовольствием, а важным делом.

— Вы знаете, — рассказывал он. — Вот я сначала хотел купить себе велосипед, потом мотоцикл, потом автомобиль, а теперь ничего не покупаю. Женюсь. Вот, оказывается, для чего я копил деньги!

— Стыдно смеяться над стариком.

— Да я не смеюсь! Честное слово, я говорю правду. Клянусь аллахом!

— Аллах уже наказал вас. Это он сломал вашу трубу!

Халим-ишан хотел добавить: потому что я попросил его об этом, но благоразумно промолчал. А Куддус ответил:

— Нет, ишан... Аллах тут ни при чем. Это или попался твердый пласт, или плохая труба. Сейчас мы опустим метчик, нарежем в обломке резьбу, ввернем туда другую трубу, как штопор, и выдернем. А потом...

— Куддус! На место! С кем ты болтаешь?

Голоса заставили Куддуса по-обезьяньи побежать наверх. А Халим-ишан заколотил пятками по бокам ишачка.

— Приезжайте, я вам объясню! — крикнул сверху Куддус.

Ишан ехал, прикрыв глаза. Он думал о том, что для этого мальчишки не существовало ни тайн, ни страха. На чем же тогда держаться вере? Впервые он думал об этом серьезно и не успокоился, пока не нашел ответа: на несчастьях. Вера была нужна несчастным людям. В несчастье люди обращались к аллаху. И поскольку он и себя чувствовал сейчас несчастным и пришло время молитвы, он остановился, бросил подстилку на песок и стал отбивать поклоны.

Следующим вечером он сидел в доме Шербуты и слушал бахмальские новости. Шербута жаловался, что приношения бахмальцев скудеют. Он показал в подтверждение черствые лепешки и пахнущий плесенью кусочек ситца.

— Принимайте и малое за большое, — посоветовал ему Халим-ишан. — Мы служим не себе, а аллаху.

Но слова эти не очень-то успокоили Шербуту.

— Сурханбай, этот ходжи, хуже агитатора. Говорит, что пророки, предписавшие молиться пять раз в день, беспокоились, чтобы людям не надоело безделье. Одних зовет кормить птиц на ферму, других продавать молоко в лавке... Скоро и меня усадит за шило! А сам...

— Может, вы не поделили с ним чего, Шербута? И он переманивает людей к себе?

— Что вы! Этот ходжи сидит в грязи по пояс...

— Где?

— Стыдно даже сказать... В свинарнике!

— Его послали туда в наказание?

— Он сам себя послал! Люди, сжигавшие все на улице, по которой прошла свинья, теперь чешут ей спину.

Вряд ли другая новость могла бы так ошарашить Халима-ишана. Нет, что-то тут не понимал Шербута! Зять председатель, а тесть в свинарнике? Не поладили! Халим-ишан посасывал бороду, незаметно запихнув ее в рот.

— Где найти Сурханбая?

— В свинарнике! Он там днюет и ночует... Да будет путь ваш добрым, господин...

Шербута долго удивлялся. Ишан, у которого раньше слово «свинья» застревало, как кость в горле, теперь пошел к свинарю? Поистине мудра поговорка: «Делай то, что ишан говорит, но не делай того, что он сам делает»!

Сурханбай лопатой накладывал навоз на тачку. Из свинарника тянуло кислым теплом.

— Да поможет вам аллах! — сказал ишан, превозмогая себя.

— Халим-ишан? — удивился Сурханбай. — Добро пожаловать.

Ему хотелось спросить про письмо, на которое ишан испугался ответить, рассказать про жуликов Мекки, на которых был похож и этот бухарский жулик, но к чему зря тратить слова? Хватит насмешливого «добро пожаловать». А постарел, поник ишан, поистаскался. Да и сюда его привела не простая нужда.

— Если время на тебя не смотрит, ты смотри на время! — шутил ишан, не зная, куда присесть.

— Похоже, и вы стали смотреть на время, ишан?

Сурханбай шлепнул полную лопату навоза на тачку.

— Иначе нельзя жить, — то ли изрек очередную мудрость, то ли пожаловался ишан. — Жизнь пропускает нас через свое сито... Вот вас она сделала свинарем.

— Если бы вы прошли через такое же сито, ишан, как я, то я бы и вас взял своим помощником.

— Вы не потеряли чувства юмора, ходжи, это хорошо.

— А вы пришли посмотреть, что это за работа? Чем будете заниматься, если занятие ишана не прокормит вас?

Ишан встретил эти обидные слова со спокойным достоинством — он уже овладел собой.

— У нас есть другой разговор, брат, — сказал он сердечно.

Значит, он пришел не зря. Сурханбай воткнул лопату в гору навоза и вытер руки о тряпку, висевшую на двери. Они присели в трех шагах на траве. И здесь держались стойкие запахи свинарника, но Сурханбаю некогда было уходить далеко.

— Не смущайтесь, ишан, — только и сказал он. — Конь пахнет конем, собака — собакой, а свинья — свиньей... Она тоже животное... И, знаете, очень ласковое и умное. Меня эта работа нисколько не оскорбляет. Все дело в привычке.

— Наши дети мыкаются где-то неустроенные, — сразу перешел к делу ишан. — Мы должны им помочь. Как говорится, шайтан портит, умный налаживает.

— Вот как! — удивился Сурханбай. — Не знал я, как переменилось время... Оказывается, сваты приходят от невесты?

— Да, — сказал ишан, — время новое... Если вы согласны, скажем «аминь» и подумаем о свадьбе... — Сурханбай молчал, и Халим-ишан быстро спросил: — Где Оджиза?

Э, да ты ничего не знаешь, старая лиса!

— Может быть, она уже прозрела.

— Прозрела?

Ишан вздрогнул. Разные чувства боролись в его душе, радость и горе столкнулись в ней. Ведь прозрение дочери подписывало смертный приговор его власти. Ислам твердит: «Семиэтажное небо держится без подпорок», но власти нужны подпорки. Он знал, что есть врачи и больница, но не вез и не пускал туда Оджизу, потому что хотел уберечь от позора веру, которой служил всю жизнь, раз она не могла сделать то, что могли врачи. Ах, ишан! А разве ты не заворачивал в молитвы из Корана лекарства безбожников? О, аллах!

Лицо его было неподвижным. Умение скрывать свои душевные бури — последний признак власти. Ишану только и осталось, что пользоваться им. Он смотрел перед собой, ничего не видя и загоняя тревожные мысли на самое дно души.

— А Хиел? — спросил он.

— Мы в ссоре с Хиелом, — горько признался Сурханбай.

— Вот будет счастливый случай, и я помирю вас. — Ишан тут же поднял руки вверх, как для молитвы.

— Неужели вы и вправду хотите счастья нашим детям? — спросил Сурханбай.

— Вы не верите мне, ходжи?

— Когда лжец говорит правду, ему не верят.

— Давайте поговорим о детях.

Сурханбай подумал, кинув под язык щепотку табаку.

— Мир под вашей рукой я считал бы несчастьем, — проговорил он, устало опустив голову.

— Для себя? — спросил ишан.

— Для них.

Сурханбай посмотрел в лицо ишана долгим непрощающим взглядом. Ишан невольно провел ладонями по лицу, словно хотел закрыть его от Сурханбая.

— Я вижу, скитания ничему не научили вас.

— Нет, ишан! — Сурханбай усмехнулся, показывая, как много зубов растерял на чужбине. — Там я понял, как не ценим мы воду, текущую у дома... И плачем только тогда, когда высохнет источник. Я хочу одного — честно умереть. А для этого нужно честно жить.

К Хазратову ишан шел, уже не веря, что найдет в нем союзника, но отчаяние подгоняло его. Что же, он скажет себе, что сделал все мыслимое и немыслимое, а тогда останется одно — как ишан Дукчи, поднимать народ.

Хазратов встретил ишана насмешливо.

— Что случилось? — спросил он, стоя на пороге своего дома. — К человеку, которому уготовано место в аду, идет будущий житель рая!

Кланяясь ему с приложенной к сердцу рукой, ишан уловил запахи спиртного и обрадовался. Это всегда способствовало разговору.

— Я всегда прихожу, чтобы помочь грешным, — улыбнулся он, давая понять, что шутит, но не без тайного смысла.

— В чем помочь? — грубо спросил Хазратов и брезгливо скривил уголки рта.

— Избежать ада.

— Я не люблю богословских разговоров.

— А я не люблю разговаривать стоя на ногах, — жестко сказал старик.

— Проходите, садитесь...

Ну вот! Это другое дело. Хазратов отступал, да оно и понятно. Не так-то шикарны были его дела, чтобы куражиться. Кто отступает, тот может и сдаться.

— Мне известно, что судьба не улыбается вам, хотя вы заслуженный и умный человек, — польстил ишан для начала, и Хазратов не ответил, а это уже было хорошо. — Представляете себе, что будет, когда вести о ваших неудачах дойдут до Бардаша? О, я понимаю, — приподняв ладонь, предупредил он взрыв ярости собеседника, — вы старались для народа, но ведь сейчас и народ недоволен вами, люди говорят то да се... — Он хорошо использовал информацию Шербуты. — А Бардаш! От его ног поднялась вся пыль на вашей дороге. Если вы его не остановите, он доломает лестницу, по которой вы поднимались столько лет.

Человеческие страсти тоже были давним оружием ишана, и он умел пользоваться им.

— Вы что-то мне хотите сказать, ишан? — прищурясь, спросил Хазратов.

— Показать.

Ишан выдернул из поясного платка кожаный кошелек, достал оттуда записку и положил на стол перед председателем колхоза. Тот сразу узнал почерк Джаннатхон, да и записка была подписана. Речь шла о ребенке Яганы.

— Я думаю, член партии Дадашева не должна была обращаться к подруге с просьбой разведать ее судьбу у аллаха через гробницу Самани?

Ишан, не стесняясь, усмехался. Эта записка, конечно, могла повредить Бардашу.

— Что вы хотите за этот документ, ишан? — спросил, еще больше прищуриваясь, Хазратов. — Ведь вы и куриного помета не отдадите даром.

— Я хочу свадьбы, — сказал ишан. — Свадьбы Хиела и Оджизы. Это в ваших руках.

Он и забыл, что в руках Хазратова была записка. Хазратов держал ее долго в неподвижных пальцах, потом разорвал пополам и стал все быстрее рвать на мелкие клочья. Он стиснул их в потной руке и всем корпусом повернулся к ишану.

— Прочь отсюда! — крикнул он визгливо. — Прочь! Значит, это ты сидел в мавзолее Самани? Наглый плут, обманщик, вымогатель! Тебя будут судить. — Голос его дрожал. — Прочь! Торгуешь святой почтой, сволочь!

Ишан попятился, а Хазратов все кричал. Ишан скрылся за дверью, побежал через двор, а голос Хазратова догонял его.

Замолчав, он обессиленно привалился грудью к столу и, как часто с ним случалось теперь, долго смотрел пустыми глазами в прошлое. Каждый вчерашний день казался ему лучше сегодняшнего. Кто искал у него поддержки?

Ишан! Как это случилось? Почему? Надо было испить всю чашу, чтобы увидеть, на какое дно ты упал.

3

Оджизе всегда казалось, что в эту минуту Хиел будет рядом с ней. Не мать, не отец, а Хиел. Плохо ли, хорошо ли, но так уж устроена жизнь. Я думаю, что это хорошо, потому что в жизни самое главное не терять, а приобретать друзей. Это, собственно, и есть жизнь.

Но Хиела не было сейчас рядом.

С глаз Оджизы только что сняли повязку, и Зинаида Ильинична просила ее открыть глаза, а она боялась...

— Ну же, Оджиза, ну, глупенькая, ну, смешная... — уговаривала тихонько сестра.

Хорошо, что рядом была эта сестра.

Они подружились не сразу. Оджиза узнавала ее по громким шагам.

— Ну, до завтра, — говорила она и убегала, а туфли стучали, как будто куры клевали пустую миску.

— Почему у вас такие громкие туфли? — спросила как-то Оджиза.

— Потому что они на гвоздиках, — засмеялась сестра.

— На гвоздиках?

— Ну да! Я коротышка, а за мной ухаживает один очень высокий парень. И вот я купила туфли на таких высоких каблуках, чтобы доставать ему хотя бы до плеча.

— Вы одна в таких ходите?

— Нет! Все ходят! Сейчас это модно.

— Я тоже коротышка... — сказала Оджиза.

— И вы купите себе туфли на гвоздиках.

Сестра часто присаживалась возле ее кровати в свободную минутку, и Оджиза перебирала ее мягкие и теплые пальцы. Однажды спросила:

— А у меня не останется шрамов на лице?

— Нет, вы станете еще красивее!

— Вы сказали, что я красива? — не поверила Оджиза.

— Была бы у меня ваша красота! — просто воскликнула сестра.

Оджиза все собиралась с духом попросить ее написать письмо Хиелу, но стеснялась. Сказать о любимом... Это было труднее всего. А в последнее время ею начали овладевать тревога и тоска. Зачем ей глаза? Может быть, Хиел забыл ее?

И вот ее просят:

— Ну открой глаза... Открой же!

С ней все говорят на «ты», как родные, и больше нельзя ждать и обманывать себя и их, если ей так и суждено прожить, не узнав, какие они все. Она открывает глаза, и в них льется свет, и в слезах и тумане перед ней расплываются лица, из которых, еще не веря себе, она первыми узнает полное, круглое лицо Зинаиды Ильиничны и длинное, долгоносое, большеглазое, самое красивое на свете лицо «своей сестрички».

Потом ее снова бинтуют, но неудержимый свет остается в ее глазах, забыть его невозможно, и только в палате Оджиза вспоминает, что, кажется, никому не сказала ни слова, а ей хочется кричать, что она видит, и она ждет сестру... Но все уже и так поздравляют ее.

Нет, мы не знаем, что мир полон чудес на каждом шагу. Розы, воробьи, молодые тополя... Все это чудеса. В разрывах тени у ног Оджизы лежит солнце, и это тоже чудо. Раньше она ощущала солнце как сплошной поток. А солнце разрисовало всю землю узорами! В выгоревших халатах больные сидят под деревьями. У кого повязки, у кого костыли. Оджиза желает им всем выздоровления. Самое главное чудо на земле — этот дом. И она прощается с ним. В палате она погладила всю постель, ставшую для нее второй колыбелью. А сейчас целует и целует Зинаиду Ильиничну, проводившую ее до ворот, как свою вторую мать. Ведь она правда же будто бы второй раз родилась на свет.

Ей были знакомы многие слова и кое-какие предметы. А теперь... Вся природа, вся вселенная, от муравьев до птиц, точно свалилась с неба. А трава, а деревья, а цветы на больничных клумбах, они будто только что выскочили из земли. Все потерянное однажды вернулось.

Сестра показала ей обувной магазин напротив больницы. Здесь на деньги, оставленные матерью, Оджиза купила себе красные туфли на гвоздиках. Не будем ее осуждать за это. Ведь она девушка... А туфли такое чудо! И то, что она едва не упала в них, тоже не заслуживает осуждения. Ведь она надела такие туфли первый раз.

Оджиза не сомневалась, что в этих туфлях ходят быстрее, но не смогла ступить и шагу и понесла их в руках, а сама пошла босиком. Сестра ругала ее, а она смеялась. Ей хотелось и видеть, и чувствовать землю. Она словно бы узнавала без слов: это камень, это трава... Люди! Посмотрите на это чудо! Девушка, которая не видела вас, теперь видит, видит!

Они сели в троллейбус.

— Куда же мы приедем? — спросила Оджиза. — Ведь он привязан к проводам. Мы вернемся сюда?

— Мы сойдем, где нам нужно.

— А зачем он привязан?

— В проводах электричество.

Мир был слишком обширен, чтобы сразу так много узнать о нем.

Она увидела электрические часы, большие, как колесо. А до сих пор время определяла по пению птиц, по солнцу на щеках. Увидела зонтик из разноцветных долек над тележкой с газированной водой.

— Что это?

— Зонтик.

— Зонтик?

Оджиза вспомнила трассу.

Она сделает такой зонтик Хиелу!

Вчера она видела в больнице в комнате отдыха телевизор. В маленький, меньше подноса, экран влезли и дома и люди... А тут, на улице, один дом стоит такой высокий, что его никак не оглядишь!

Сестра проводила ее до аэродрома. И долго Оджиза махала ей рукой, глядя в крохотное окошко самолета на загородку, у которой толпились люди, хотя соседка сказала ей:

— Не машите. Она вас не видит.

Но ведь и девушка на гвоздиках махала ей оттуда. Значит, они видели друг друга...

И Оджиза полетела за своим сердцем, потому что сердце ее уже давно было далеко.

В Самарканде к самолету подъехал бензовоз, и, гуляя под диковинными арками виноградных беседок, Оджиза наблюдала, как заправляют горючим быструю птицу. Один молодой узбек в тюбетейке и комбинезоне стоял на крыле самолета, другой, совсем парнишка, на бензовозе. Что-то гудело. Она выбирала, на кого похож Хиел. Она не сразу поняла, что они делают, ей рассказал об этом попутчик. Мир вырастал из прежних рассказов отца и матери, как из детских одежек.

К крылу самолета была приставлена лесенка.

Объезжая ее, мимо прокатилась тележка без верблюда, без коня и без ишака. Она катилась сама собой. И на ней лежали чемоданы и сумки. И стоял еще один парень в комбинезоне, но на черной-пречерной голове его была не тюбетейка, а голубая фуражка с серебристой птичкой, и Оджизе подумалось, что он похож на Хиела, потому что он пел.

Она обязательно вышьет Хиелу серебристым шелком такую птичку.

Оджиза подошла к парню и улыбнулась ему, а он, кончив петь, даже не посмотрел на нее и широко зевнул. Все зевал и зевал... Наверно, вчера поздно гулял с девушкой...

Гул самолетных моторов превращался для Оджизы в непрерывную свадебную песню «Ёр-ёр», а пассажиры будто бы сопровождали ее в дом жениха. И этот чернобородый индус в тюрбане такого цвета, как лепестки самых бледных роз, и эта маленькая японочка в черных очках, и эти ребята, шумной ватагой сидевшие сзади всех, в хвосте самолета. Наверняка летят со своими рюкзаками и простенькими чемоданами в пустыню, а не к памятникам древней Бухары...

Самолет обгонял землю. Как солончаковая река, она текла назад, отставая. Родная земля... Приникнув к круглому, как блюдце, окну самолета, Оджиза смотрела... По этой земле она ходила, эта земля кормила ее, но, оказывается, есть голод, которого не утолить... Не насытишься взглядом. Это чувство всех охватывает после долгой разлуки с родной землей...

Как мифический конь Дулдул, самолет донес Оджизу до Бухары.

К самолету спешили люди. Ей казалось, что все бегут к ней. Но ее встречал один Бардаш, которому Зинаида Ильинична дала телеграмму...

В тот самый день в Газабаде праздновали свадьбу Раи и Куддуса. Свадьба считалась комсомольской, но плов готовил старый Бобомирза. И хотя пот катил с него ручьями, он бы не управился, если бы на помощь ему не подоспел Надиров. Два бывалых человека повязали головы платками, животы полотенцами, закатали рукава и пошли резать мясо и рубить морковь, пока в котлах топилось сало, а подруги где-то принаряжали невесту. Известно, что в четыре руки дело идет быстрее.

— Давай! — подгонял Надиров помощника, сразу захватив командование.

Мельчайшие морщинки, покрывавшие лицо Бобомирзы, обычно лучились, а сейчас застыли, храня выражение какой-то невосполнимой потери. И если раньше никто не видел такого веселого лица, как у него, то теперь никто не увидел бы такого горького. Оно было удивительно искренним. И хорошо, что видел его пока один Надиров.

— Эй, Бобо, — окликнул он, смахивая ножом со стола морковные крошки. — Не праздничный у вас вид. В чем дело? Вы как будто бы постарели.

— Наоборот, помолодел, Бобир-ака.

— Как вам это удалось?

— Сам не знаю. Вчера зашел в спортивный зал, а там ребята забавляются гирями. В молодости я такие камни еле поднимал, когда возили их в крепость, где строили дворец эмиру. И вчера попробовал — едва поднял гирю. Выходит, помолодел...

— А-ха-ха! — засмеялся Надиров, стуча ножом по новой груде моркови.

— О-хо-хо! — подхватил и Бобомирза.

Но смеялись они недолго. Надиров понял старого дизелиста и замолчал.

— Стареем, — сказал он, подумав и о себе.

— Да, — сказал Бобомирза. — Хорошая будет жизнь. Лежи дома и кушай плов, как тунеядец.

— Скоро? — спросил Надиров.

Бобомирза виновато развел руками и покивал головой. Когда-то он чернорабочим нанялся на бухарские стройки, потом был водовозом на арбе, а потом арбакешей направили на курсы шоферов, и его направили. Так открылась самая большая любовь в его жизни — любовь к мотору, но не много ей было дано лет... Передвинутся вышки в глубь пустыни, переползут на полозьях по песку тяжелые уральские дизеля, чтобы раскопать газ для Урала, а Бобомирзы уже не будет возле них, старик уйдет на покой...

— Я вот думаю, — сказал он лукаво, — может быть, произошла ошибка? Когда я родился, грамотных не было так много, как сейчас. Возраст человека исчисляли, как хотели, а вдруг мне еще нет шестидесяти? Будет стыдно перед собесом, а?

— Конечно, — поддержал Надиров, зло и жестко постукивая ножом. — Могли запросто ошибиться. Считали на глазок.

— Все равно когда-то будет шестьдесят, — грустно вздохнул Бобомирза.

Надиров повозил ножом морковные дольки по столу взад-вперед, ничего не ответил и застучал снова. Да, все равно когда-нибудь будет...

— Будем спать вдоволь, — сказал он наконец, — и просыпаться не спеша...

Говорить он мог, но представить себе, как они будут это делать, люди, которые считали себя дармоедами, если после многих дней, а то и лет скитаний по пустыне и тяжелых бессонных буровых работ в лицо им не ударяла нефть, не бил газ, представить себе эту голубиную жизнь: захотел — поклевал, захотел — полетел, они не могли...

— Какая беззаботность! — попытался вообразить Надиров. — Ходи-гуляй куда глаза глядят и никому ничего не должен.

Бобомирза вспомнил, как он был в отпуске. Ночами разговаривал с женой, лениво вставал, когда солнце сквозь шелковицу у окна уже смотрело в комнату, и до полудня все ходил то из дома во двор, то со двора в дом. Заметив, что ему некуда деться, жена послала его на базар. Он подивился тому, что под рыночными куполами — в Бухаре сотни лет рыночные лавки прячутся в тени, как бы под глухими каменными зонтами, — торговые ряды отделаны заново, как городские улицы. Понес домой полные сумки — стал задыхаться. Все недуги, как ищейки, начали находить его на отдыхе.

— Вы знаете, отчего это, Бобир-ака? — спросил он сейчас.

— Нет.

— Это от тесноты. Сердцу моему стало тесно.

Жена заметила, что ему скучно, и посоветовала сходить в чайхану стариков. Пошел он туда, надев на себя белые одежды, как мулла, и положив на плечо ватный халат. Под сенью густых деревьев все старики, кому было не лень добраться сюда, сидели и пили чай. К ним прибавился еще один чаевник. Старики беседовали. Здесь обсуждалось все — и газетные и дворовые новости. А когда не о чем было спорить, говорили о походке тех, кто проходил мимо чайханы.

— Нет, Бобир Надирович, это место не для меня.

— И не для меня, — сказал Надиров, — Можно в гости ходить.

— Ходил. Куда ходил, там мне не нравилось, где не был, там меня упрекали. А жена мне говорила: «Стареешь!»

— Ну, и что вышло дальше? — с интересом спросил Надиров.

— Перестал смеяться... И не смеялся до тех пор, пока не вернулся сюда и не зажил с молодыми, как молодой.

Ах, молодые! Понимали бы они, как это непросто — прощаться с жизнью.

— Вот что, — сказал Надиров, — пока я управляющий трестом, вы, Бобо-ака, можете не волноваться... Пойдете на пенсию, когда захотите...

...За столами по рукам ходила гармошка. На ней играли то лявониху, то гопака, то лезгинку, то яблочко, то другой плясовой мотив, в зависимости от того, кто брал ее в руки. Тут были ребята отовсюду, а откуда — можно было судить по песням. За свадебными столами расселись и газопроводчики бригады Сергея Курашевича.

Сейчас они гуляли. Плясала гармонь на коленях музыканта, и плясали люди — буровики, сварщики, изолировщики, слесари, мотористы, да так плясали, словно они целыми днями ничего не делали, а только ждали приглашения на свадьбу.

Девушек было мало, и многие ребята для смеха надели косынки.

Солнце опускалось все ниже, словно садилось за край стола. Город газовиков не мешал ему. Город рос, как растут современные дети, быстро оснащаясь всем, что ему нужно. У него еще не было ни горсовета, ни милиции, но были уже и спортзал, и кинотеатр, и библиотека, и танцевальная площадка, и бильярдная, и столовая, грозившая вот-вот превратиться в ресторан, и много всего другого. Но он был еще молод, и солнце свободно перешагивало через крыши его домов и заглядывало в его просторные улицы. А свадьбу устроили на центральной площади, где хватало места и гостям и солнцу.

Когда натанцевались, Хиела попросили сыграть на дутаре и спеть. Он возил с собой дутар Оджизы. Пел он тихо, но слушавшие его сидели еще тише. «У каждого есть своя любимая, — пел он. — Моя любимая далеко от меня, как солнце... Весь день она со мной, а не достать...» Кажется, он пел свою песню.

— Хорошая песня у тебя, Хиел, — похвалила Ягана, румяная и нарядная.

Многие газопроводчики подходили пригласить ее на танец, но, увидев, что она собиралась стать матерью, танцевали друг с другом.

И настала пора тостов. Все желали счастья молодым и себя не забывали. Не думайте, что эти люди умеют только двигать машины, сваривать трубы и прочее. Придет час, они так заговорят! Эти молодые мастера не чета прежним молчунам!

— Рая и Куддус! — говорил Пулат, косясь налево и направо режущим взглядом своих узких глаз. — Мы гуляем свадьбу в Газабаде. Очень хорошо! Но мы хотим, чтобы и ваш сын родился в Газабаде! Товарищ Надиров, молодежь Газабада вызывает вас на соревнование!

— А что я должен сделать? — спросил Надиров, только что оставивший котел с пловом на попечение Бобомирзы.

— Построить родильный дом!

За столами захохотали.

— И широкоэкранный кинотеатр, — подсказал кто-то.

— К тому времени, как их сын пойдет в кино?

— Хорошо бы пораньше.

Надиров смотрел на них и думал: кино! А знают ли они, что на свой первый киносеанс он пробивался вместе с комсомольцами Бухары, как в осажденную крепость? Шли, как в атаку. И потом еще три дня и три ночи вокруг Лябихауза не утихали баррикадные бои.

— Вы не знаете, что кино требовало кровопролития?

— Когда это было?

— В моей молодости, — сказал Надиров, и стало тихо. — Да, в моей молодости... Мы по очереди смотрели кинофильмы... Одни смотрят, а другие лежат в обороне. Верующие люди под командованием мулл и шейхов шли на нас с камнями... И однажды кинотеатр вспыхнул. Люди кидались в окна... Мы тушили огонь сами... Многие погибли. Говорили, их покарал аллах, но кинотеатр подожгли эти... ну, как их... слуги аллаха...

— Попы, — сказал Курашевич.

— Муллы...

— Одним словом, духовенство двадцатых годов.

— С тех пор, — закончил Надиров, — я не могу видеть ишанов, мулл, шейхов, а кино смотрю сколько угодно!

— Значит, у нас будет широкоэкранный?

Опять захохотали.

— Пожар! Пожар! — начали кричать с дальнего конца стола.

— Какой пожар? — испуганно выпрямившись, спросила Ягана.

— Залить надо!

Под общий шум она передала туда две бутылки:

— Вот вам огнетушители!

— Горько! — по-русски кричали газопроводчики.

Ягана сидела рядом с молчаливой и крохотной старушкой — матерью Куддуса, вчера приехавшей сюда из Катартала. Спросила, понравился ли ей Газабад. «Очень», — ответила старушка, засияв лицом. Если бы не свадьба, она никогда не увидела бы новой жизни в пустыне, а это так интересно. А если бы не новая жизнь, подумала Ягана, никогда бы не встретились Рая и Куддус. А сейчас целуются, счастливые, и мечтают вместе учиться. Мечтают вслух. И ведь сбудется! Все сбудется, потому что все в их руках!

И тут поднялся Куддус. Рая и без того сидела пунцовая, а теперь покраснела до ушей, словно вся зажглась изнутри. И тихонько постучала кулачком по краю стола.

— Куддуска! Помолчи!

— Скажу!

Зазвенели ножи по горлышкам бутылок, по тарелкам, по графинам. Кое-как добились тишины — это было все более трудным делом.

— Я хочу сказать, что у нас был хороший пожар... — улыбнулся Куддус. — Плохой, но хороший... Я не очень понимал, что такое один за всех, все за одного. А на пожаре... — Он не договорил и умолк, глядя через столы в конец площади, где остановился газик, засыпанный песком. Из него вышли девушка и Бардаш, а следом выпрыгнула юркая фигура Алишера. — Эй! — крикнул Куддус. — Вы смотрите, кто приехал!

— Бардаш! — обрадованно сказала Ягана.

— Нет, — сказал Куддус, — кто идет впереди-то!

— Она сама идет, — сказал Курашевич.

Это было так необыкновенно и так наполнило праздник ощущением живого чуда, что они уже не могли оставаться на местах. Все, кто знал Оджизу, вышли вперед, и она шла к этим разным ребятам разного роста, с разными прическами, разноглазым, разве только солнцем обожженным одинаково. И одинаково безмолвно стоявшим. Было в них что-то зачарованное...

Оджиза держала туфли в руке, забыла их надеть. Она остановилась и стала смотреть не на всех сразу, а на всех по очереди, и когда глаза ее встретились с глазами Хиела, тихо сказала:

— Хиел!

Вы простите, читатель, что он не кинулся к ней, не поднял на руки, не стал целовать при всех. У нас это пока еще не все умеют. Он шагнул к ней и протянул руку с пальцами, сжатыми в кулак, а когда разжал их, там что-то блеснуло.

— Это я берег для вас, — только и сказал он.

На его ладони лежали старинные кашгарские сережки матери.

4

Странная толпа застыла у Огненного мазара. Казалось, не из разных кишлаков и городов сошлись люди, не из разных мест, а из разных лет. Белые старики с белыми бородами и в белых одеждах хранили строгое воодушевление

на лицах, как при святом таинстве, при высшем обряде. Опираясь на палки, они стояли, готовые умереть, но не сойти с места. Ветер, переметая песок, шевелил края их одежд. Ветер, как ящерица, полз по земле, был бескрылым и тощим, никто не обращал на него внимания. Но если бы он не шевелил стариковских одежд, их можно было бы принять за видение, этих седобородых мучеников, верящих, что они пришли защищать святыню.

Их не остановило солнце, им не помешало бездорожье. Дошли, добрались и встретили это утро здесь...

Рядом с ними трусливо топтались юноши в пестрых рубашках, с засученными до локтей рукавами и сигаретами в зубах. Похоже, они курили для храбрости, небрежно выстреливая струйки дыма перед собой. Но чем небрежней делали это, тем меньше оставалось от их вызывающей боевитости и лоска. Это были студенты бухарского духовного училища. Они больше походили на парней с танцплощадки.

Были больные. Как одержимые, они напирали, и в их группах то и дело вспыхивали крики, как сухой хворост, облитый керосином, от прикосновения огня. Больные думали не о вере, а о себе. Ишану даже не надо было особенно внушать им, что у них отнимают последнюю надежду. Он испугал их, что ее отнимают навсегда, а ведь еще могут заболеть и дети этих больных... Втайне люди полагали, что ишан увидит их преданность и допустит безвозмездно к источнику, а аллах расплатится исцелением.

А еще были и одержимые, самые настоящие... Те уже давно жили вокруг мазара табором, жгли ночами костры и, если бы им ишан сказал, пошли бы и подожгли вагончики буровиков, и сам Газабад, и все на свете, только бы ишан сказал...

Ишана пока не было видно, он прятался за толпу, и люди кричали бессмысленно и тупо, готовясь встретить бранью и камнями всех, кто осмелится пойти на них.

А навстречу толпе шла девушка.

Она двигалась по горячему песку тихо, оступаясь, как слепая, но выискивая глазами кого-то в толпе. Лицо ее было бесстыдно открыто, но к этому давно привыкли даже одержимые. Иногда она останавливалась и смотрела через головы людей на шест, густо обвитый разноцветными ленточками и несущий над мазаром жесткий, негнущийся флаг со звездой и полумесяцем, смотрела на забор, скрывающий могильные плиты и стены домика, возле которого изнемогали от жары две акации.

Девушка снова переводила глаза на толпу, сближаясь с ней.

Оджиза искала отца.

Он не хотел показываться. Люди пришли защищать то, что им было дорого. А Халим-ишан с удовольствием уехал бы отсюда, чтобы не разжигать и не сдерживать страстей. И за то и за другое могли заставить отвечать. И если он не уехал в последний миг, то лишь потому, что появилась эта девушка...

Ишан и не заметил, как растолкал людей и вышел на два-три шага перед ними.

— Господи боже мой!.. — воскликнул он, пораженный.

Оджиза посмотрела на него, да, она посмотрела... она его видела.

— Дочь моя! — крикнул ишан, и толпа затихла и слилась с тишиной пустыни, слабый ветер теперь только подчеркивал эту тишину, потому что шелест его падал в ее глубину и никак не мог упасть.

— Ата! — крикнула Оджиза. — Отец!

Никогда еще Халим-ишан не испытывал такого беспокойства. И он забыл, для чего собрались эти люди, для чего сам был здесь. Он помнил только ночи, проведенные без сна в тоске по дочери, и дни, полные обиды... Сколько раз он мысленно выручал ее из беды и сколько раз он думал, что, может быть, дочери сейчас лучше, чем было. Но с этим рушилась вся опора его собственной жизни, и он тряс головой, отгоняя от себя дурные мысли, и растил в себе злость, пока душа не закипала...

В одно мгновение эти мысли промелькнули в голове Халима-ишана, и случилось это раньше, чем он и Оджиза дотянулись друг до друга руками.

— Ты зачем пришла? — спросил он, остановившись.

— Папа, — сказала она. — Папа! Я вижу вас! Мне вернули зрение!

— Никто не может вернуть того, что отнял аллах, — величаво сказал ишан, с трудом удерживая равновесие на трясущихся от волнения ногах. — Раньше ты не видела ничего, кроме бога. Теперь ты видишь мир, но не стала ли ты слепой? Остался ли в твоей душе бог? Отвечай! Зачем ты пришла?

— Папа! Я вижу вас!

— Отвечай!

Лицо ишана помертвело, как кусок глины, но сейчас он не был больше только ее отцом, он был наставником многих. Он чувствовал себя последним оплотом веры, некогда сиявшей над Бухарой венцом ее славы для всей Азии.

— Отвечай!

— Скажите всем, что хорошие люди вернули мне счастье. Хорошие люди! Они хотят сделать жизнь лучше для всех. Пускай ваши старики помолятся за них, если им так нужно молиться!

— Эти хорошие люди настраивают детей против родителей! — закричал ишан. — Ты не дочь мне! Ты мне больше не дочь!

Чем выше он поднимал руки для проклятия, тем истошней и уверенней становился его крик.

— Гоните ее! Гоните ее! Проклинаю! Проклинаю!

Толпа очнулась. В Оджизу полетели комья глины. Она не закрывалась от них руками. Первый же комок, попавший в нее, она подняла с песка и приложила к лицу. Земля рассыпалась в ее пальцах и потекла по щекам, повиснув белой пылью на ресницах. Люди замешкались, не понимая, что она делает.

— Уходи отсюда, дочка! — мирно посоветовал ей один из седобородых. То ли он был потрясен тем, что произошло на его глазах, то ли видел в ней все же дочь ишана, то ли просто пожалел хрупкую девушку.

— Это моя земля, — ответила Оджиза. — Никто не может меня прогнать отсюда.

С ревом и натугой разбрасывая из-под колес песок, к ней приближались два самосвала с людьми.

— Оджиза! Оджиза! — встревоженно кричал с подножки Хиел.

Еще вчера Надиров сказал Бардашу, что тот придумал плохую шутку. Бардаш в обычной своей манере ответил, что не он придумал ее. Но Надиров не был намерен шутить. Воспоминание о пожаре в кинотеатре у Ляби-хауза, когда погибли его товарищи, взволновало его. Он повысил голос. Всем было известно, что когда Надиров расстроен, он кричит громче всех.

— Мазар — это вонь! — кричал он. — Вонь! Его надо засыпать землей, и все! А вы хотите затеять вежливые разговоры с ишаном. Веером над вонью помахивать... Я пущу бульдозеры — сразу разбегутся. А потом пусть жалуются на меня куда хотят.

— Ну так что же получится? — улыбался Бардаш. — Конечно, от бульдозеров старики и больные разбегутся и еще долго будут рассказывать, как их разгоняли. Вы хотите отогнать их от себя, и только. А я хочу, чтобы они сами ушли. И задумались.

— Динамитом надо разнести этот мазар! — кричал Надиров.

Так уж вышло, что Оджиза услышала этот крик и утром, никому не сказав ни слова, ушла к мазару пешком. Пока Хиел догадался, пока Бардаш собрал тех, кто был под рукой... Одним словом, началось иначе, он даже не знал пока, как там началось, но лишний раз убедился, что жизнь частенько идет не так, как прикидываешь...

Самосвалы заслонили Оджизу от орущих людей, Хиел втянул ее в кабину, опасаясь, что опять полетят комки земли, машины подползли вплотную, чтобы сблизить людей для честного разговора. Толпа не дрогнула, не попятилась, она сбилась плотнее, давно разгоряченная и готовая к жертвам. Попранная вера требовала жертв, и многие находили в этом утешение.

Оджиза плакала в кабине, растирая грязь по лицу, Хиел совал ей в руки платок, боясь за ее глаза.

— Пусть плачет, — сказал шофер, — глаза ничем так не промыть, как слезами.

Из железных кузовов на землю попрыгали люди, которых собрала свадьба Куддуса. Бардаш говорил с подножки, чтобы его видели все:

— Халим-ишан! Вы выступаете в защиту людей... Не правда ли? Почему же вы не хотите, чтобы люди получили дешевое топливо. Почему мешаете нам, кто добыл это топливо из-под земли?

Халим-ишан заранее приготовился ко многим вопросам и заранее научил стариков, что кричать в ответ, но прежде всего и больше всего он надеялся, что дух веры будут поддерживать проклятия кяфырам, а вокруг Бардаша стояли одни узбеки... К тому же проклятиями было хорошо отвечать на проклятия, а этот Бардаш заговорил почти дружески с людьми.

— Ведь газ — доброе дело, отцы, — обратился он к старикам.

— Да! — ответил один из «отцов», взмахнув палкой. — Газ — доброе дело, но зачем же вы хотите сломать мазар? Кому он мешает?

— Хиел! — позвал Бардаш.

Хиел уже стоял за его плечом.

— Вы видели эти большие трубы? — спросил Хиел стариков. — Они идут прямо, как стрела. Когда вы копаете арык, разве он обходит каждую кочку и каждый куст бурьяна?

— Наш мазар святое место! — закричали старики и больные. — Это не бурьян!

Бардаш поднял руку, но долго ждал, пока они успокоятся. Люди видели, что их не теснят бульдозерами, с ними хотят говорить, и сами унимали крикунов.

— Кто вам сказал, что это святое место?

— Это все знают!

— Я лично не верю в святые места, — сказал Бардаш, — но я знаю много памятников старины, которые верующие называют святыми и которые переданы под охрану государства или находятся в распоряжении духовного управления. А Огненный мазар нигде не числится...

— Ты врешь! — закричали ему в лицо.

Он пожал плечами и вынул бумагу.

— Идите сюда, юноша, — поманил он пальцем студента духовного училища. — Прочтите.

Один стыдливо юркнул за спины других, а второй подошел.

Справка духовного управления удостоверяла, что могила Ходжи Убони находится в другом месте, а Огненный мазар не записан в инвентарной книге ни как место захоронения, ни как место поклонения.

— Получается, что это выдумка! — сказал Бардаш.

— Халим-ишан! Что же вы молчите?

— Ишан-ата! — заволновались люди.

— Кстати, — прибавил Бардаш, — Халим-ишан тоже получил такую бумагу.

Но тут ишан, собравшись с силами, снова вышел вперед.

— Это место, — проскрипел он, — освящено молитвами людей. Оно освящено народом, а не духовным управлением.

Людям хотелось верить, и его ответ понравился им. Людям не хотелось знать, что их обманывали много лет.

— Святые все это построили, а мы не дадим сломать!

Чувствуя, что толпа держится за него, как за спасательный круг, Халим-ишан приободрился, вздернул бородку.

— Нет, нет, — раздался голос, не там, где стоял Бардаш, а сбоку от ишана. — Я знаю, кто это построил, ишан-ата!

К нему приближался старый чабан, с такой же редкой и седенькой, как у самого ишана, бородкой, только с лицом более прокаленным и руками более грубыми, в мозолях. Это был наш старый знакомый чабан, нечаянный друг Хиела.

— А вы не знаете, ишан-ата, кто, например, вырыл колодец? — спросил он.

— А вы знаете? — спросил ишан, усмехаясь.

— Да.

— Кто?

— Я.

Старик чабан сказал это так просто и негорделиво, что люди с любопытством стали смотреть на него, как на человека, приобщенного к чуду.

— Мы, чабаны-каракулеводы, — рассказывал старик, — вырыли своими руками этот колодец. А я не святой. Сами видите. Я человек.

Как-то так получилось, что вокруг Халим-ишана расступились люди и он стоял в пустоте. Если раньше он держал голову высоко, как держит чуб кукуруза, то теперь опустил ее, как опускает свою метелку мягкая джугара.

— Халим-ишан, — обратился к нему Бардаш. — Вы знаете, что за вашу личную постройку у мазара газопроводчики назначили компенсацию... Хотя мне она кажется незаконной, потому что все вы нажили нечестным путем. Вы по-прежнему против сноса так называемого Огненного мазара?

— Я согласен, — выдавил из себя Халим-ишан, не поднимая глаз. — Они против...

Он обвел рукой вокруг себя, но люди отступали все дальше и дальше, освобождая дорогу бульдозерам бригады Курашевича, которые медленно приближались из-за последнего бархана.

5

Этот роман кончается, читатель, но ведь жизнь продолжается.

Газ уже стучался в Каршинские ворота Бухары. Известно, что люди, строившие Бухару, не думали об автомобилях. Тем более не думали они о трубах газопровода. Газ подстегивал мысли о реконструкции старого города, где улицы вились, как тропинки, и напоминали безводные арыки под высохшими деревьями...

Ягана, которой не сиделось дома, ходила смотреть, как над лабиринтом обреченного квартала прошлых веков строили висячий газопровод. Трубы пробегали над крышами, над перекрестками. Газ, как говорил Бардаш, никого не обходил своей заботой, но эти каркасы летучих труб словно отчеркивали и запаковывали ненужную старину для отправки в багаж памяти.

Однажды, когда Ягана смотрела на работу сварщиков, у нее закружилась голова. Очнулась уже в больнице...

Она раскрыла глаза и спросила слабым голосом:

— А ребенок? Ребенок?..

И доктор сказал:

— Сын.

В это время Дадашев, как и все отцы, уже стоял у дверей родильного дома, растерянно повторяя: «Три килограмма и двести граммов...» А когда его спросили, что передать жене, он робко, как виноватый, протянул букет цветов. Это были тюльпаны, привезенные из пустыни...

Как немеркнущий тюльпан, на площади Светоч Востока пылал вечный факел газа, добытого из-под песков. А на песках коротким цветением дрожала быстрая весна...

Тут она начинается рано. Уже в феврале пробивается травка. И вдруг на рассвете пустыня пунцовеет, словно ее всю устлали туркменскими коврами. Но стоит пробежать маленькому ветерку, и вы видите, что ковры живые. Это тюльпаны... Шесть-семь дней на восходе солнца перед вами рдеет фантастический багровый горизонт, и солнце катится по тюльпанам... Земля по краям траншей, идущих от новых вышек, становилась красной от головок срезанных тюльпанов. Парни привозили в Газабад охапки цветов и пели:

Вот тюльпаны, тюльпаны, тюльпаны,
Девушки, украсьте себя тюльпанами!

И Бардаш привез букетик в Бухару своей Ягане.

А еще через месяц они возвращались в Газабад.

Бардаш уезжал на трассу большого газопровода и зашел попрощаться с Сарваровым.

— Жалко мне расставаться с вами, — сказал тот.

— Но ведь это не такая уж для вас неожиданность, — усмехнулся Бардаш.

— Да, конечно, я сам рекомендовал вас.

Они крепко пожали друг другу руки.

Асфальтированная дорога бежала в пустыню вдоль Зеравшана. Зеравшан и сам пока еще тянулся полосой, ровной, как асфальт... Где-то река расширялась, и на ней виднелись острова, как лепешки на подносе. Иногда вода блестела узкой лентой, иногда и вовсе тесьмой среди серых песков цвета золы, будто на них никогда не цвели тюльпаны. Но река упрямо пробивалась вперед, и вместе с ней пробивалась полоса жизни, стиснутая песками, зеленея садами, растекаясь хлопковыми полями, пестрея кустарниками...

Удивительная река Зеравшан! Как легенда. С далеких гор она несет свою воду в пески, по капле раздавая ее людям и растениям, цветущим и плодоносящим для людей. Зеравшан не спешит, как Сыр-Дарья или Аму-Дарья, к Аралу. Его не ждут морские рыбы. Где-то незаметно река высыхает, отдав последнюю каплю последнему стеблю...

Редкая река! Она впадает в жизнь людей... И люди называют ее Золотоносец.

Вот и человеку бы такую судьбу, как Зеравшану.

То ли Бардаш думал это, то ли шептал сыну, которого держал на руках. Сын спал, пока еще ничего не зная ни про Зеравшан, ни про Газабад, куда они ехали, а Ягана все время поправляла одеяльце, следя, чтобы не очень дуло из окна.

На следующее утро Бардаш отправился дальше.

— Куда? — спросил Алишера знакомый водитель с бензовоза, из которого они заправились.

— В сторону Урала! — ответил Алишер и махнул рукой в глубь пустыни.

Дорог туда не было.

Алишер рассказывал, что его звали работать в таксомоторный парк на новой «Волге».

— Вернусь, успею.

А Бардаш думал, что никогда уже Алишер не захочет крутиться по одним и тем же улицам после этих бескрайних просторов. На этой свободе еще не было ничего, тут все создавалось заново, и это было интересней всего готового...

Солнце росло вширь и ввысь, словно только что вынутое из огня. Ему не мешали ни горы, ни деревья, и оно разбрасывало вокруг себя красные искры. Красный песок скрипел под колесами видавшего виды «козла». Все растения — и пушистые кустики елгуна, и жалкие ежики колючки, — словно привстав, смотрели на солнце, лицом к востоку, как будто с запада на них дул сильный ветер. Отряхиваясь от песка, они встречали с надеждой день. Кто не видел рассвета в Кызылкумах, может считать это преувеличением, ну, а кто видел, подтвердит...

А солнце желтело, расплескивалось, золотилось, как единственный подсолнух, выращенный в пустыне.

Солнце еще не поднялось над крышами, когда к Ягане прибежала Оджиза.

— Яганахон! Вы отдадите Даврана в наши ясли?

— Вам я его доверю.

Оджиза работала в яслях, но прибежала не только потому, что хотела увидеть Ягану и ее сына.

— Почему вы плачете? — спросила Ягана.

— Хиел уехал.

— На трассу?

— Да.

— Бардаш-ака тоже.

— Если бы взяли меня с собой...

— Но ведь вы ждете ребенка, милая. Мы женщины, с нами остается их любовь, и... мы гордимся ими...

— Они хитрые, — сказала Оджиза, не вытирая слез, катящихся по лицу. — Они знают, что в разлуке мы их любим сильнее.

— А когда они возвращаются? — спросила Ягана с улыбкой.

— Ох, эти мужчины, — вздохнула Оджиза. — Нет им никакого покоя!

Но, может быть, за это они и любили своих мужчин.

Авторизованный перевод с узбекского
Дм. Холендро

Ибрагим Рахим

СУДЬБА

Зав. редакцией В. ИЛЬИНКОВ Редактор О. ЖДАНКО

Художественный редактор *Г. Андронова* Технический редактор *Л. Платонова*
Корректоры *Г. Асланянц* и *Г. Сурис*

Сдано в набор 26/III 1966 г. Подписано к печати 13/V 1966 г. А-13430. Бумага 84×108¹/₁₆. 6 печ. л. 10,08 усл. печ. л. 12,43 уч.-изд. л. Заказ № 205. Тираж 2 444 000 (1 250 001—1 500 000) экз. Цена 25 коп.

Издательство «Художественная литература».
Москва, Б-66. Ново-Басманная, 19.

Главполиграфпром Комитета по печати при Совете Министров СССР. Отпечатано в Ленинградской типографии № 2 имени Евгении Соколовой, Измайловский проспект, 29, с матриц Ленинградской типографии № 1 «Печатный Двор» имени А. М. Горького, Гатчинская, 26.
Обложка отпечатана на Ленинградской фабрике офсетной печати № 1. Кронверкская, 9.

ИЗДАТЕЛЬСТВО
„ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА“

Вышли в свет:

КОНСТАНТИН ЛОРДКИПАНИДЗЕ. Заря Колхиды. Роман. Перевод с грузинского Э. Ананиашвили. Вступительная статья Г. Маргвелашвили. М. 1966. 312 стр. 66 к.

Нелегкий путь вел нищих, забитых крестьян к новой, достойной человека жизни. Разрушая устои прошлого, в борьбе утверждая справедливые отношения, люди обретали новое миропонимание. Главный герой романа Лордкипанидзе „Заря Колхиды“ — батрак Меки, забитый, придавленный непосильным трудом, превращается в смелого, активного, сильного духом человека.

Многообразие характеров, раскрытых с глубоким знанием крестьянской психологии, острота столкновений, напряженность повествования определяют художественную значимость и увлекательность этого романа.

РОМЕН РОЛЛАН. Воспоминания. Перевод с французского. Составление и послесловие И. Анисимова. Комментарии Е. Вансловой. М. 1966. 391 стр. 1 р. 18 к.

В книгу входят автобиографические произведения Ромена Роллана, созданные им в последние годы жизни и вышедшие во Франции частично в 1942 году, частично после смерти автора.

Тяжелое иго немецко-фашистской оккупации не могло сломить престарелого писателя. Он сохранил любовь к жизни, преданность родине, благородные идеи дружбы и единства всех народов земли, веру в силу и величие человеческого духа.

„Воспоминания“, охватывающие в основном годы молодости Ромена Роллана, дают много нового и крайне важного для понимания всего творческого развития великого французского писателя-гуманиста, рисуют яркие картины духовной жизни Европы конца XIX — начала XX века, а также портреты многих выдающихся людей того времени.

АЛЕКСАНДР ЧУРКИН. Стихи и песни. М.-Л. 1966. 188 стр. 28 к.

Чуркин — поэт-песенник. Песни, написанные на его слова, облетели всю страну. „Вечер на рейде“, „Далеко-далеко“, „Вечерняя песня“, „Я иду по зореньке“, „У рябины родной“, „Себежанка-себежаночка“ — кто этих песен не знает?

В сборник вошло все лучшее из того, что создано поэтом почти за сорокалетний период: стихи о революции, о суровых и героических днях гражданской войны, о Великой Отечественной войне, о мирном созидательном труде наших людей.